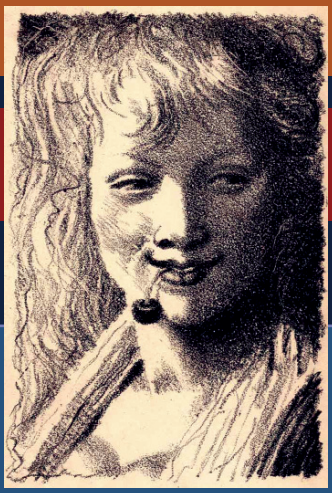
Одесский альманах

№72

I / 2018

ДЕРИБАСОВСКАЯ ↓ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (72), 2018
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»
65023 Украина Одесса, ул. Нежинская, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Тираж 500 экз.
Заказ № _____

accredited
FSC Trademark © 1996
Forest Stewardship Council A.C.
FCS-ACC-015

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (72), 2018
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «Плутон»
65023 Україна Одеса, вул. Ніженська, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Наклад 500 прим.
Замовлення № _____

accredited
FSC Trademark © 1996
Forest Stewardship Council A.C.
FCS-ACC-015

© АО «ПЛАСКЕ», 2018
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2018

От редакции

Вот уже восемнадцатый год кряду первый номер альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» выходит в марте, знаменуя начало весны, как календарной, так и творческой. Разумеется, второе определение доминирует. Речь ведь идет не о погоде – еще молодой Пушкин заметил: «Здесь долго ясны небеса…» – а об особом состоянии, которое царит в эти дни в нашем южном городе.

Одесса, как и многие приморские полисы Черного и Средиземного морей, лежащих по дуге Ойкумены (так древние эллины называли территорию, населенную разумными людьми), носит женское имя в ряду: Варна, Констанца, Генуя, Ницца, Барселона, Жирона, Латакия, Ла-Валетта, Александрия, Хайфа…

Вот почему, опять по традиции, литературные разделы нашего издания – «Проза» и «Поэзия» – в мартовском номере отданы творчеству женщин. При этом мы сохраняем дефиницию: не писательниц, а писателей, не поэтесс, а поэтов.

Более того, в нынешнем номере они полностью представлены и в разделе «192 слова», где публикуются произведения участников одноименного конкурса. Рассказы не должны содержать более 192 слов – по числу ступеней Потемкинской лестницы. Поскольку ранее она была длиннее на восемь ступеней, мы предоставляем милым дамам бонус: в следующем году они получают право на 200 слов.

И среди юных авторов, публикующихся в разделе «Первые шаги», есть школьницы, за творческим ростом которых мы внимательно следим.

Весом и вклад наших постоянных авторов, известных специалистов.

В разделе «Публикации» заместитель директора Литературного музея Алена Яворская рассказывает о творческих взаимоотношениях будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Иван Бунина

и трагически погибшего в 1918 году молодого одесского поэта Анатолия Фиолетова.

Уже много лет заведующая отделом Областной научной библиотеки Татьяна Щурова ведет в альманахе раздел, посвященный истории одесских периодических изданий и книг по искусству. На сей раз ее публикация посвящена легендарным одесским куплетистам.

Уже стала традиционной рубрика «Одесские музы поэтов». Леонид Авербух рассказывает о романтических отношениях, которые связывали Владимира Маяковского и Евгению Хин. Она славилась красотой и обаянием. Ставший впоследствии знаменитым, в то время – студент худучилища, Евгений Кибрик рисовал с нее Ласочку, героиню повести Роллана «Кола Брюньон». Эту легендарную прелестную работу мы поместили на обложке нынешнего номера.

Наши землячки радуют премьерами книг. В традиционном разделе «Издано» рассказывается о новинках – о сборниках рассказов Ганны Костенко «Цурки – гілки» и Майи Димерли «Смерти нет».

Весной пробуждается не только природа, но и интерес к Одессе – у путешественников и туристов из многих стран. Для них и для постоянных наших читателей – материалы по истории города.

Уже несколько лет Литературный музей и АО «ПЛАСКЕ» выпускают ко 2 сентября «Одесский календарь», посвященный одной из улиц. В 2018 это – Еврейская, о которой рассказывается в нынешнем номере.

Продолжается публикация Пушкинского путеводителя, над которым работает Олег Губарь. Мы получаем уникальную возможность увидеть молодую Одессу глазами молодого Поэта, прожившего у Черного моря всего 13 месяцев и создавшего здесь шедевры.

Названия курортных районов Одессы запечатлены во многих литературных произведениях и фильмах. Об одном из них рассказывает Александр Дорошенко в эссе «Фонтанский трамвай», основанном на личных воспоминаниях.

На противоположном берегу Одесского залива расположена Лузановка – место отдыха жителей Пересыпи и нынешнего поселка Котовского. Мы завершаем публикацию статьи Олега Сивирина, содержащую обширный краеведческий материал.

В номере – публикации о выдающихся ярких личностях, родившихся, учившихся, работавших в Одессе в разные годы: о молодых Ильфе

и Петрове – постояльцах «Общежития им. монаха Бертольда Шварца»; о семье художника Васнецова, жившей в нашем городе…

И в завершение – о монологе Михаила Жванецкого, которым открывается номер. Он озаглавлен одним, но таким емким словом: «Дар».

Было бы странным пересказывать мастера, тем более что на сей раз он доверительно говорит с нами об ответственности тех, кто наделен способностью и возможностью размышлять о самом сокровенном, о том, что волнует – радует и тревожит всех нас, независимо от возраста, социального положения, национальной и религиозной принадлежности и, разумеется, пола.

И еще один дар от земляка – новые стихи Юрия Михайлика. Он живет в Австралии, но пишет об Одессе.

Побережье. Мы все – побережье,
и куда бы нас не занесло,
мы где прежде и с теми, кто прежде
окунал в эту вечность весло…

Михаил Жванецкий

Дар

Этот дар тебе от Бога…

Ты себя им можешь поддерживать и защищать.

Он освежает тебя.

Он вылечивает тебя.

Он делает тебя независимым.

Я не знаю, заслужил ли ты его.

Все, что ты приобрел и достиг, не стоит того, что имеешь с детства.

Через тебя говорят с людьми.

Тебе повезло. Ты сам радуешься тому, что говоришь.

Ты понятен почти каждому.

А кто не понимает, тот чувствует, и чувствует, что не понимает.

Перестань переживать и сравнивать себя.

Или переживай и сравнивай.

Ты и сравниваешь, потому что не понимаешь дара.

И не понимай.

Господи! Как ты проклинаешь свою мнительность, впечатлительность, обидчивость, ранимость.

Как ты проклинаешь себя за вечно пылающее нутро. Эту топку, где мгновенно сгорают все хвалы и долго горят плохие слова.

Как ты проклинаешь память, что оставляет плохое.

Как ты проклинаешь свое злопамятство, свой ужас от лжи.

Ты не можешь простить малую фальшь и неправду, а как людям обойтись без нее?

Ты же сам без нее не обходишься…

Как неприятен ты в своих нотациях и поучениях.

И как сражен наповал ответным поучением.

Как ты труслив в процессе и неожиданно спокоен у результата.

Как ненавистно тебе то, что ты видишь в зеркале.

Ты все время занят собой.

Ты копаешь внутри и не можешь перекопать.

Существует то, что волнует тебя.

И те, что волнуют тебя.

Ты так занят этим, что потерял весь мир.

Ты видишь себя со стороны.

Ты слышишь себя со стороны.

Ты неприятен окружающим, которым достается результат этой борьбы.

Ты внимателен только к тому, что нужно тебе.

Ты вылавливаешь чужую фразу или мысль и не можешь объяснить себе, почему именно ее. Как гончая, как наркоман, как алкаш, ты чуешь запах чьей-то мысли.

И ничего не можешь объяснить.

Ты молчалив и ничтожен за столом.

Все охотятся за тобой, а ты охотишься за каждым.

Но ты профессионал.

Они не подозревают, что твои одежды сшиты из их лоскутов.

К тебе невозможно приспособиться – ты одновременно приспосабливаешься сам. Перевитое вращение червей.

И этого требуешь.

И это ненавидишь.

Ты издеваешься над глупостью, над жадностью.

А кто сказал тебе, что это они?

И кто может существовать без них?

Ты их распознаешь по своему подобию.

Ты передразниваешь манеру собеседника вслух, делая его врагом.

Ты уверен, что разгадываешь обман, от этого обманут и бит сто раз на дню.

Тебе забили рот простым комплиментом и всучили, что хотели.

Не зная, что из всех этих несчастий выгоду извлекаешь ты.

Весь этот ужас дает тебе возможность писать и волновать других.

И весь этот ужас люди называют талантом.

Весь этот ужас переходит в буквы, представляешь!

Просто переходит в буквы, которые передают только то, что могут.

И вызывают ответы.

Хорошие сгорают мгновенно.

Плохие горят долго, сохраняя жар в топке, называемой душой.

P. S. Автор – единственный, кто может стать лучше, прочитав это!

М.М. Жванецкий

Юрий Михайлик

Только новое

* * *

Можно медленно жить, постепенно
уходя в полутьму налегке,
как морская веселая пена
растворяется в темном песке.

Побережье. Мы все – побережье,
и куда бы нас ни занесло,
мы где прежде и с теми, кто прежде
окунал в эту вечность весло.

Не судьбою, о нет! – но собою,
на рыбачьем откосе пустом
ритм дыхания с ритмом прибоя
совпадает, не помня о том.

Не ищи, мы следов не отыщем,
это врезано в нас – как стилом –
то ли греческим лодочным днищем,
то ли чаячьим острым крылом.

Не спеши, здесь нельзя торопиться.
Это небо в сплетенье ветвей,
этот берег, и камни, и птицы –
стоят крови. Но только своей.

* * *

На обратном пути по прибрежной фонтанской дороге,
чуть подсвеченной снизу прибойной неровной каймой,
отраженной вверху, где разбойничий месяц двурогий
тянет тонкий, небрежный, прерывистый след за кормой,

позади в темноте разогретая глина обрыва
посылает вдогонку за нами избыток тепла,
и отгонные ветры над черным сияньем залива
убирают морщины, разглаживают зеркала.

Повторяется все и двоится, – не ждите, не скоро –
через тысячи лет аргонавтов литые следы
принесет на песок легковерным потоком Босфора
и угонит в Элладу глубинным уходом воды.

Прочтено и записано, стерто и снова забыто,
этот берег оплыл и под гуннским копытом зачах…
Да и как угадать, что ушедшая рыба-бонито
и дельфиний плавник, словно парус, возникнут в ночах?

1.

Города, расположенные по краям земли,
погружаются в море, тонут, как корабли.
Финикийские, греческие, сарматские города –
и ни праздновать там, ни пьянствовать никому никогда.
Потому что масло прогоркло, прокисло вино,
а самим амфорам, в сущности, все равно,
в котором веку и с какой задачей
их поднимут на свет, похваляясь удачей,
и лишь наверху, при телекамерах, на свету, извне
обнаружат, что истина не в вине,
да и древность – лишь повод для удорожания,
а форма сама и есть содержание,
поскольку все, что было внутри,
давно прокисло – как ни смотри.

Наши когда-то любимые города
ушли на дно, их покрыла вода
наших когда-то любимых морей,
и северный ветер, когда-то Борей,
охлаждает лица, прилетев издаля,
матросов утонувшего корабля.

2.

Сквозь мелкую рябь воды кто бы увидеть смог
жизнь в плюсквамперфекте, легкий ее дымок.
Словно в детской присказке растворяется под водой
то, что было победой, обидой, бедой,
улицы, лестницы, белый огонь в ночах,
позабытые руки, все еще лежащие на плечах,
а на все, чем жил, что успел, что натворил,
опускается темное плотное облако – это ил.
Чтоб батискаф прожектором с океанского дна
считывал круглые горы или бывшие письмена,
на каком языке – олхой или санскрит? –
специалист догадается, но никто уже так не говорит.
Города уходят на дно, их очертания смягчает ил,
в темных улицах шастают темные рыбы, но эту улицу я любил.
Там, светясь, колышется память – теченье ее шевелит.
Извините нас, доктор Вегенер, угадавший тектонику плит,
и когда океанский цунами извергает глубинный свет,
это вовсе не к нам, не с нами, нас давно уже нет.

* * *

Полуночного моря сияние,
полуночного неба экран,
и рукою подать – расстояние
до любых экзотических стран.
А в тумане, огнями распоротом, –
расставания ломкий ледок,
там плывет над исчезнувшим городом
теплоходный отходный гудок.

Улетают над памятью давнею,
над прошедшею жизнью моей,
не вернувшись из дальнего плаванья,
капитаны открытых морей.
Улетают над темными водами –
вы не знали таких моряков –
молодые, бесстрашные, гордые –
Голубенко, Никитин, Дашков.
Вспомни всех, кто во мраке разглядывал
проблесковый огонь маяка,
кто чужие созвездья угадывал
из-под ллойдовского козырька.
Эта жизнь – от киля и до клотика,
если память как якорь поднять,
извините, такая экзотика, –
никому на земле не понять.
Тьма бездонная. Море бессонное.
Может, что-нибудь да сохранит
под асфальтами и под бетонами
синеватый портовый гранит.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

14 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

46 **Олег Сивирин**
Кисёлова гора и Лузановка

73 **Евгений Деменок**
Одесские годы Михаила Васнецова

91 **Александр Дорошенко**
Фонтанский трамвай

112 **Рубен Ашрафиан**
Батюшка

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Дом Мещерского

Мы уже вкратце упоминали о нем выше, когда говорили о «Старой таможне» в доме барона Рефенштейна. Камер-юнкер князь *Петр Сергеевич Мещерский* окончил застройку места, отведенного ему инженерной командой «над морским обрывом», в июле 1806 года. Ясно, что отвод произведен не позже 1803-го, ибо далее отводы производились уже Одесским строительным комитетом. В прошении о выдаче владельческих документов Мещерский сообщает о плановой постройке двухэтажного магазина габаритами 20 на 5,5 саженей, сарая и конюшен, 10 на 5 саженей, дома с погребом, 10 на 7,5 саженей.[554] Сопоставление генпланов свидетельствует: застройка соответствует местоположению нынешнего Литературного музея.

В.А. Чарнецкий ошибался, когда говорил о том, что таможня в доме Мещерского размещалась на правах аренды с 1812-го.[555] Это произошло значительно раньше, не позднее 25 сентября 1808-го, ибо 4 марта 1809-го Строительный комитет субсидировал арендную плату, 750 рублей, за полгода, с 25 сентября 1808-го по 25 марта 1809-го.[556] В дальнейшем аренда продлевалась, деньги выплачивались.[557]

В 1811-м герцог Ришелье сообщил министру финансов о том, что Мещерский готов продать эту свою недвижимость за 50.000 рублей. «Положение сего дома самое выгодное: в лучшей части города, близ моря и при главной дороге, идущей от пристани;

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-71.

Начало 1820-х. Слева – Городской театр, правее – дом Мещерского и флигеля Черновой

корпус имеет в длину 10-ть, а в ширину 7 сажен, в три этажа, при нем двухэтажный флигель с двумя сводами, погребами и магазин в двух частях; все сие строение сделано из штучного восьмивершкового камня на извести самым прочным образом… И в 1809-м году оценен чрез присяжных оценщиков в 57.709 рублей, а после того сделана каменная ограда и другие пристройки, стоящие до 5.000 рублей». От себя прибавлю, дом Мещерского – *первый трехэтажный дом* в юной Одессе.

Дело затормозилось из-за войны. В 1816-м граф Ланжерон вернулся к этому вопросу, подтверждая мнение своего блистательного предшественника: «Дом князя Мещерского в том самом виде, в каком он есть, по вновь составленной описи и смете, ценится более 66 тыс. рублей, и что если князь Мещерский согласится уступить казне дом за сию сумму, то за такую умеренную цену едва ли можно приобресть столь прочный и выгодно расположенный дом в Одессе. Князь Мещерский уступил дом свой казне за прежде просимую им цену 50 тыс. рублей с тем, чтобы издержки при совершении крепости употреблены были из казны».

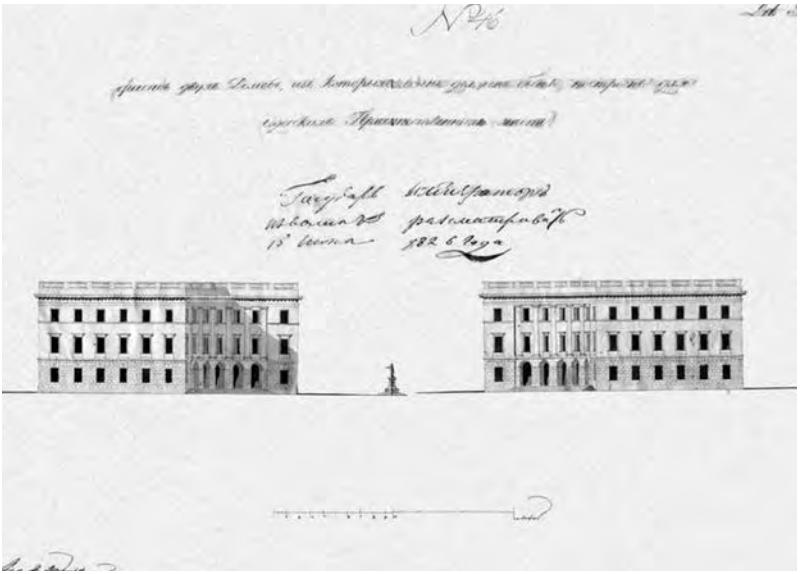
Министр финансов согласился с Ланжероном в том, что это нужно и выгодно, и 12 марта 1817 вошел с предложением в Кабинет гг. министров. 17 марта утвердил решение кабмина, а 14 мая Ланжерон получил соответствующее уведомление, и началась техническая часть производства оплаты и передачи.[558]

Для нас важно вот что: а) таможня помещалась в доме Мещерского до 1827 года; б) мы располагаем исчерпывающей информацией о характере этой недвижимости и даже о внешнем облике – сохранилась ретроспективная иконография. То есть тут очень даже зримый объект пушкинского времени, причем близкий к месту «постоянной прописки» Поэта. К слову, то же можно сказать и о флигелях Черновой, соседствующих с домом Мещерского на старых картинках. Иконография того и другого объекта открывается рисунком Ж.В. Гаюи с натуры (1819-1820 гг.) и относительно многочисленна.

Еще один момент. Слева от дома Мещерского, на подошве Ланжероновского спуска, в 1822-м построен большой таможенный пакгауз, сохранившийся по сегодняшний день: позднее надстроен вторым этажом.

Приморский бульвар

В пушкинское время пребывал в зачаточном состоянии. Бульвар задумывался задолго до того, как этот замысел стал понемногу воплощаться: еще Н.Я. Трегубов, комментируя «Письма об Одессе» Шарля Сикара (см. ниже), пишет о настоятельной необходимости создания «на горе» над морем «гулянья, усаженного деревьями, с убитыми (утрамбованными. – **О. Г.**) дорожками». Однако осуществление проекта долго тормозилось наличием здесь «военного городка»: «малой крепости», солдатских казарм, пекарни, офицерских флигелей, лазарета, полковой аптеки, недостроенной Адмиралтейской (Екатерининской) церкви и прочего, вплоть до «нужных мест». Это продолжалось до тех пор, пока казармы и другие строения были постепенно проданы на своз. Осложнения дополнялись присутствием на флангах двух значительных частных построек – Куликовского (Воронцова) и Россета (Черновой).



Автограф императора на проекте полуциркульных зданий

Вот фрагмент соответствующего директивного документа от 10 мая 1821: «Господин градоначальник объявил Комитету, что солдатские три казармы под морем близ Театра и две офицерские крайние к Театру (то есть не все еще существовавшие. – **О. Г.**) по повелению херсонского военного губернатора очищены, дабы можно было приступить к сломке их, и привесть квартал сей в образование по вновь утвержденному плану. (…) Фундамент же в сем квартале заложенной церкви, яко по сему же плану уничтоженной, разобрать и камень употребить по строениям, инженер-полковником Потье производимым, и перевозить на то место, где им назначено будет; что и поручить произвести в действие членам Комитета г-ну инженер-подполковнику Кругу чрез комиссаров Комитета Брио и Бертини, дабы один смотрел за разобранием и отпуском камня, а другой принимал, возил и сдавал в ведение производителя работ, а квитанции представлял в Комитет при рапорте г-на подполковника».[559]

Приморская часть города после постройки Бульварной лестницы

Вот так я закрыл долго мучивший меня вопрос о том, на что пошел камень от разборки *Екатерининского храма*. Все просто: на казенные строения и работы по благоустройству, скажем, штуковый камень – на устройство дренажных сооружений по Карантинной балке. Другая часть материала, а именно плитчатый, т. н. звонкий известняк-дикарь, использовалась И.И. Кругом для постройки собственного дома в будущем Воронцовском переулке. К этому сюжету мы еще вернемся.

Здесь уместно рассказать кое-что о *Николае Яковлевиче Трегубове* (1756-1845). Тайный советник, первый председатель Одесского коммерческого суда (с 1808-го), одесский градоначальник (1820-1822), сенатор (с 1830-го). Оставив Одессу, жил в Москве, где и похоронен. Состоял в военной службе (1772-1786), принимал героическое участие в боевых действиях против турок, был награжден золотой шпагой «За храбрость» и орденом Святого Владимира 3-й степени, позднее – высоким орденом Святой Анны 1-й степени, автор ряда крупных коммерческих проектов. Десять лет служил в Таганроге, в том числе директором казенной мужской гимназии (1806-1807) и главным попечителем купеческого судоходства по Азовскому морю (1807-1808).

Обязанности одесского градоначальника Трегубов принял в 1820 году в связи с разделением должности херсонского военного губернатора и одесского градоначальника, инициированным графом А.Ф. Ланжероном. Одновременно его из действительных статских советников произвели в тайные советники. Назначение это было вовсе не случайным, ибо как руководитель Коммерческого суда, как человек с широким кругозором и образованностью, Трегубов превосходно разбирался во всех тонкостях местной специфики. Кстати, именно в переводе и с обширными комментариями Николая Яковлевича вышла (1818) русскоязычная версия книги Шарля Сикара «Письма об Одессе» (1812), о которой говорилось выше.

Двухлетний период градоначальства Трегубова оказался весьма насыщен важными для Одессы событиями, как то: реформированием местного самоуправления, упорядочением городского бюджета, утверждением штата Одесского градоначальства, учреждением Врачебной управы, первой газеты, Ботанического сада, Инвалидной команды, планированием и первым обустройством Приморского бульвара и прилегающих кварталов, совершенствованием системы порто-франко, улучшением Сиротского дома и проч. Как куратор Строительного комитета Трегубов ввел немало новшеств, связанных с упорядочением городской застройки. Так, в 1820-1821 годах по его распоряжению городской архитектор Джованни Фраполли составил новый план города, на который были вынесены и вновь сформировавшиеся кварталы. При этом производилась ревизия недвижимости, выявлялось соответствие существующих построек владельческим документам, атрибуция домов и мест.

В первой декаде октября 1820 года градоначальник лично осмотрел Северную (Александровскую, Греческую) площадь и нашел, что не все лавки «имеют одинаковую архитектуру в карнизах и колоннаде; и на одной стороне оконечности дом с лавками и колоннадой, а по другой – просто дом без лавок и колоннады, и так далее разные разнообразности». А потому Трегубов велел военному инженеру Кругу и архитектору Фраполли «сообразить все с планом, и что несообразно с оным, немедленно все поправить». Наводя порядок на главных рынках, он распорядился снести все несанкционированно устроенные временные лавки.

Приморский бульвар в середине XIX ст.

К лету 1821 года относится и печальное событие: первый в Одессе еврейский погром. Поводом послужила доставка из Стамбула и торжественное захоронение в пределах греческой Свято-Троицкой церкви тела казненного турецкой администрацией константинопольского патриарха Григория V. Просочились слухи, будто тамошние евреи глумились над растерзанным телом праведника. По счастью, погром обошелся без жертв, существенных разрушений, и быстро угас. Среди подлинных причин конфликта называют торговую конкуренцию греческой и еврейской общин. Это представляется маловероятным для той эпохи: численность еврейских купцов 1-й гильдии, как и капиталы еврейского общества в целом на порядок ниже, чем греческого, и даже 10-15 лет спустя мы не видим еврейских фамилий в перечне главных экспортеров сельхозпродукции.

Трегубов одно время жил в доме (нынешний адрес – Дерибасовская, № 24), приобретенном в казну у Феликса де Рибаса (1806). Любопытно, что по этому поводу Джованни Фраполли специально расписал «живописью» комнаты верхнего этажа, где обитал градоначальник. После назначения Гурьева (1822) Трегубов съехал, и дом находился в ведении комитетского прораба Луки Бертини. Чуть позже в этом здании останавливался Воронцов – по приезде в Одессу летом 1823 года. Другой одесский адрес Трегубова – дом

помещика *Николая Куликовского*, но не тот, что приобретен Воронцовым в 1820 году, а другой, одноэтажный, местоположение которого пока не поддается точной атрибуции. Во всяком случае, он находился в центральной приморской части города.

Сын Трегубова, Алексей Николаевич, коллежский советник, служил инспектором Одесского центрального портового карантина, занимался благотворительностью, скончался еще довольно молодым человеком и погребен в Одессе (1838). «Образованный ум, прямой характер и неизменное усердие к службе всегда были (его. – **О. Г.**) отличительными качествами», – написали в «Одесском вестнике». Дочь, Варвара Николаевна (1793-1851), в замужестве Телесницкая, до кончины супруга жила в Одессе, впоследствии служила начальницей Кушниковского института в Керчи.[560]

Перейдем непосредственно к устройству бульвара. Целесообразнее начинать как раз не с домостроительства, а с освобождения строительной площадки и формирования зеленой зоны.

Ликвидация «военного городка»: демонтаж казарм, екатерининского храма, временной полковой церкви и др.

Сперва – красноречивый фрагмент записок князя И.М. Долгорукова, фиксирующий положение дел в июле 1810 года: «Другая церковь в городе предполагалась при начальном его основании во имя Св. Екатерины, но что же? Заложена, застроена до половины и брошена (…) Ныне вы тут найдете недостроенные стены открытого со всех сторон храма, которые разрушает и ветр тлетворный, и морские непогоды, и пуще еще пренебрежение человеков. Вокруг его всюду настроены казармы: там живут солдаты; жены их ходят выливать в развалины храма всю домашнюю нечистоту…».[561]

Аукционная продажа строений бывшего «военного городка» активно развернулась еще в 1820-м. Скажем, в июле купец Яков Кленов за 651 рубль 35 копеек приобрел «старые казармы в *Малой крепости*»,[562] то есть в укреплении, располагавшемся

на кромке плато, примерно на месте нынешних № 1-7 по Приморскому бульвару. 19 августа Трегубов представил в Комитете предписание о продаже с публичного торга других объектов: «должно сломать прежде те казармы, что между старым укреплением, Театральной площадью и дорогою, в Карантин ведущею, исключая *военной госпитали*». Ланжерон распорядился перевести госпиталь в офицерские флигеля, «и потому все уже казармы уничтожить; сверх того есть предположение уничтожить начатую церковь, но между тем пока последует о том окончательное утверждение, делать только опись и оценку материалу». Определили: «сделать опись всем казармам, кроме *офицерских флигелей*, где *инженерная казарма*» – через присяжных оценщиков оценить материалы от оных казарм. «То есть *4-х больших*, *4-х малых* и одной *одноэтажной, где полковая аптека*». «Равным образом сделать особую опись и оценку начатой постройки *церкви*».[563] Торги назначили на 6, 9 и 10 сентября 1820-го.[564]

Следующий документ датируется 23 мая 1821 года: «Предложение господина градоначальника тайного советника и кавалера Николая Яковлевича Трегубова, в коем изъясняет, что в плане части города Одессы высочайше апробированном назначены к снятию казармы, при них небольшое здание, в коем была *временно полковая церковь*, и начатая постройка большой церкви. Сделав распоряжение на продажу с торгов в Комитете казарм, предлагает Комитету начатое строение церкви разобрать, записав материал с нее в приход; а вышесказанное небольшое здание продать вместе с казармами. Предварительно снестись с духовною частью, чтобы они с своей стороны распорядились при разобрании церкви исполнить, что постановлено на таковые случаи. А по справке оказалось, что строение, в коем была прежде полковая церковь, в здешнюю полицию опись с оценкою казарм не вошло; заложенная же церковь оценена в 800 рублей. Определили: 1-е инженер-подполковнику Кругу поручить договорить рабочих, и под своим распоряжением и присмотром разобрать заложенную церковь; сложить с нее материал и о количестве оного, как и о расходе денег на разобрание оной, донести Комитету. Для исполнения по сему случаю порученностей употребить чиновника, в Комитете служащего, Бертини. По получении оного донесения доложить

для определения о записке материала в приход. 2-е между тем сообщить благочинному протоиерею Куницкому, чтобы он с своей стороны распорядился о исполнении правил, на таковые случаи постановленных. 3-е господину Кругу поручить сделать опись вышеобъясненному строению, в коем была церковь, положить оному оценку и донести Комитету; по получении донесения продать оное здание вместе с казармами».[565]

В аукционном торге приняли участие довольно известные строительные подрядчики того периода: Монако, Росси, Томазини, Коклен, да еще дворянин Якубовский, у которого был другой интерес – он один из первых застройщиков территории бывшего «военного городка» в начале Екатерининской улицы, но этот сюжет мы рассмотрим по ходу дальнейшего маршрута. Предложенные участникам торгов цены Комитету показались недостаточными,[566] а потому он обратился в Ремесленную управу – с тем чтобы та вызвала на разборку казарм рабочих людей.[567] По той же схеме решили разобрать и недостроенный Екатерининский храм, что и было сделано. Анализируя ситуацию, прорабы определили, что есть смысл разбирать построенную до карниза церковь, не касаясь фундамента: в противном случае материал от его разборки («дикий камень, залитый известью») не компенсировал бы затрат. Что касается материалов от разборки, то их «положено употребить на канавы при шоссе, а подрядчик Коклен подал сего числа прошение об отпуске камня, о чем сего числа особо доложено».[568] Речь идет о выкладкой камнем сточных канав по обочинам шоссе, прокладываемого Варфоломеем Кокленом к Карантину, согласно контракту от 17 мая 1821 года.

После демонтажа большей части казарм, летом 1822-го, подверглись слому и три относящихся к ним «нужных места», которые мешали продолжению планировочных работ.[569] 13 июля Круг и Бертини сообщают Комитету о затратах на разборку военной церкви, трех солдатских казарм и перевозку материала от разборки.[570] 31 июля 1822-го детально рассматривается вопрос о разборке предыдущим летом Екатерининского храма, затратах и полученных материалах. Прораб Кривчиков принял тогда 5.000 штук кондиционного камня от разборки, и этот материал был отпущен на устройство шоссе к Карантину. Оставшийся

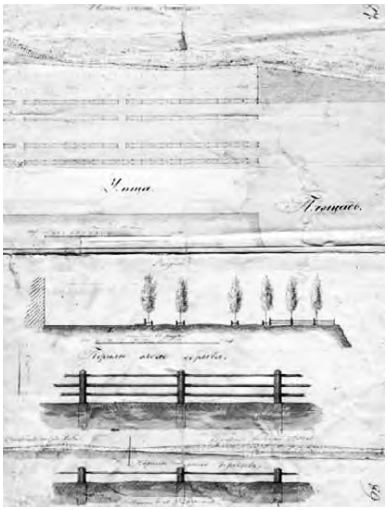
на данный момент разновеликий камень определили сложить в сажени и продать с публичного торга.[571] Очевидно, что в итоге он достался И.И. Кругу, и тот употребил его для сооружения дома по соседству. Но об этом ниже.

Планировка, мощение, озеленение, ограждение бульвара

План и смету на устройства бульвара как такового в мае 1821-го составил *Шарль Мишель (Карл Иванович) Потье* и передал Трегубову, а тот 2 февраля 1822-го предложил Строительному комитету вызвать подрядчиков. Комитет сделал соответствующее объявление, назначив торги на 20, 23 и 27 февраля.[572] Поскольку смета несколько устарела, то ее откорректировал военный инженер, чрезвычайно полезный для юной Одессы человек *Жюст Валентинович Гаюи* (о нем мы еще поговорим): масштабы работ в принципе не изменялись, но повышалась расценка работы землекопов. Что касается высадки 257 деревьев, исчисление возлагалось на другого специалиста, директора ботанического сада Карла Десмета. Окончательные торги назначались на 16 марта, общий надзор возлагался на Гаюи, замещавшего Потье.[573] Земляные работы приняли на себя подрядчики Исаак Потапов и Иван Подсолнохов (Подсолнухов).[574] С этими работами особых проблем не намечалось, а вот с высадкой деревьев случилась заминка.

Во-первых, Десмет в ту пору был серьезно задействован в устройстве ботанического сада. Во-вторых, намеченные к высадке деревья из казенных лесов деревни Слободзеи по освидетельствовании заведующего одесской Городской плантацией садовника Германа оказались непригодны. Он объяснил, «что для бульвара потребны деревья довольно толстые, каковых на слободзейских лесах нет; но что оные есть в лесах, военному поселению принадлежащих». Комитет решил обратиться за отпуском деревьев к начальнику военных поселений генерал-лейтенанту Витту через пришедшего на смену Трегубову градоначальника Гурьева.[575] Меж тем время торопило, шел уже октябрь, и с высадкой следовало поспешить «до морозов и дурной погоды».

Количество потребных деревьев исчислили уже в 454, прибавив 10% в запас, что с учетом расходов на прогоны и доставку привело к увеличению сметы.[576]



Начало 1820-х. Планирование ограждения и озеленения Приморского бульвара

Изучение большого массива архивных документов свидетельствует о том, что в 1822 году деревья так и не были высажены, а планировочные земляные работы завершились только поздней осенью. Заминка связана с разборкой «нужных мест». В январе-феврале 1823-го Потье докладывал Комитету об окончании работ Потаповым и Подсолноховым, ссылаясь на рапорт своего подчиненного, инженера корпуса путей сообщения капитана *М.М. Бугайского* от 9 ноября 1822-го, после чего подрядчикам полностью выплатили предусмотренную контрактом сумму.[577]

Меж тем 13 марта 1823 года в заседании ОСК обсуждались проект и смета бульвара «с сделанием близ оного двухаршинного тротуара», представленные инженером Потье градоначальнику Гурьеву: 1) перемена земли – привоз хорошей; 2) перевозка из Казенного сада 454 дерев, насаждение, поливка, укрепление оных подпорками и окраскою зеленою краскою на масле; 3) дерновая работа с поливкой; 4) обнесение бульвара перилами на 416 погонных саж., «с обнесением восьмигранно с наружной части столбами»; 5) рытье 282 ям; 6) «сделание при входе на бульвар 3-х крестов с вырытьем для оных ям» (символическая композиция?); 7) «обнесение каждого ряда дерев перилами» плюс восьмигранно наружно 760 столбов; 8) рытье 760 ям для столбов; 9) окраска всех перил в три слоя зеленою краскою на масле; 10) «разбивка 150 саженей крупного дикаря камня в мелкий щебень с пропущением чрез грохот (металлический барабан. – **О. Г.**)»;

Одесская гавань и в середине XIX ст.

11) «разбивка и разравнивание на площадке 30 саженей щебня, высыпка 306 квадратных сажен площадки, подвозка, разброска, выравнивание по 3-м аллеям и посыпка 3-х аллей гравием»; 12) «забутовка для тротуара фундамента – 146 квадратных саженей»; 13) «сделание тротуара на 220 саженей шириной 2 аршина плитным камнем». Общая сметная стоимость составила 22.063 руб. 90 коп. Определили: отдать работу в подряд, торги назначить на 15, 19, 22 марта.[578]

В итоге 5 мая 1823 года был заключен контракт с одесским купцом *Ильей Орловым*, который обязался окончить перечисленные работы к 1 сентября за исключением высадки деревьев: «Дерева же посадить осенью, когда приказано будет».[579] Но уже 21 мая в Комитете обсуждали протест Орлова в связи с непредвиденными обстоятельствами: «некоторая часть (бульвара. – **О. Г.**) к морскому обрыву засыпана навозом и всякою нечистотою», что препятствует работе. Определили: писать в Городскую полицию, дабы навела порядок.[580] 14 июня инженер Гаюи освидетельствовал ход работы, производимой Орловым, отметил активную за-

готовку подрядчиком стройматериалов. На этом основании Комитет распорядился выплатить производителю работ 25% от суммы подряда.[581]

Что до высадки деревьев, то она как-то не заладилась с самого начала. В октябре Орлов просил об отпуске 454-х саженцев из Казенного сада, каковые получил и высадил, однако приживались они плохо: и почва была неподходящая, и сами деревца. Формально подрядчик выполнил все работы, за исключением укладки дерна, поскольку годного в окрестностях Одессы не нашлось. Дерн уложили не скоро, но не позднее 21 апреля 1824-го.

Кроме того, пришлось изменить протяженность бульвара. Почему? Потому что уже после составления проекта и сметы «на одном месте устроена морская батарея при обрыве», и бульвар несколько продлили в направлении старой таможни,[582] то есть к Ланжероновскому спуску. Неудачная высадка деревьев осенью 1823-го привела к тому, что следующей осенью процедуру пришлось повторить. По приказанию Гурьева садовник Ганс Герман получил у заведующего Ботаническим садом Карла Десмета новую порцию деревьев, организовал выкопку засохших и высадку свежих.[583]

Устройство нового бульвара осложнялось и другими проблемами: обвалами кромки плато и разрушительной деятельностью ливней. Поэтому необходимо было устроить дренаж и укрепить склоны. 2 октября 1824-го инженер-капитан *Григорий Сергеевич Морозов* (впоследствии генерал, один из видных фигурантов истории Одессы) докладывал Комитету о сложившейся ситуации и о своем видении выхода из оной. Морозов предложил устроить водоотводы, которые обеспечат сохранность территории бульвара, палисадов, укрепить «в некоторых местах (сделавшегося уже обрушения) деревянными кольями и земляною насыпью… Часть земли, для сего потребная, будет взята с улицы, идущей на средину бульвара, где прежде были солдатские казармы, чем самым будет сбережена казенная издержка, на очистку оной улицы необходимая». Комитет нашел эти соображения резонными, и назначил торги.[584] На торгах соперничали уже известные нам Илья Орлов и Исаак Потапов, причем подряд остался за вторым,[585] который завершил работы к 20 ноября 1824 года.[586]

Все изложенное дает превосходное понимание того, *какой «бульвар» открывался взору Пушкина*. Во все время его пребывания в Одессе это была грязная строительная площадка, а появившиеся в ее недрах осенью 1823-го чахлые саженцы очень созвучны с метафорой о «насильственной тени». К слову, перед самым отъездом Поэта из Одессы, в июле 1824-го, городской садовник Герман по словесному указанию Гурьева руководил переделкой дорожек на бульваре: убирали крупные камни, привозили и утрамбовывали глину, насыпали песок, доставлявшийся из немецкой колонии Люстдорф.[587]

Первичная застройка бульвара

Как было сказано, она сильно тормозилась наличием фрагментов «военного городка». Это касается и территории нынешней Екатерининской площади, примыкающих кварталов одноименной улицы, пространства меж теперешним Воронцовским переулком и Военной балкой. Сама же идеология застройки была для Одессы инновационной.

Строительный комитет предложил: «по горе к морю *застроить места с особенным старанием сплошным строением, дабы город со стороны моря имел лучший вид*». Места следует отводить тем, кто в состоянии соответствовать этой цели. В дальнейшем сделать правилом, «чтобы сия новая часть города со стороны моря была застроена сплошным строением», «писать всем архитекторам, чтобы планы для сей части города были составляемы на сплошные двухэтажные строения, наблюдали бы неупустительно за исполнением того, о чем равно сообщить и в здешнюю полицию».[588] Это и в самом деле была новость, ибо еще нигде, даже в центральных кварталах, сплошная застройка в ту пору не практиковалась.

В принципе, места на территории «военного городка» стали отводить еще в 1800-х, когда определениями от 14 августа 1805-го и 13 мая 1809-го регламентировалась застройка этих мест после окончания устройства линии новых оборонительных казарм и демонтаж старых.[589] Но поскольку процесс сильно затянулся, лица, формально получившие тут участки, в большинстве от-

казывались от них и искали новые либо оставляли Одессу в связи с переводом по службе, личным обстоятельствам. В их числе немало известных фигур: граф И.А. Безбородко, тайный советник Филипп Штиглиц, А.И. Геннади (дед выдающегося библиографа), княгиня Зинаида Волконская, аббат Николь, генералы Е.Ф. Геккель и К.Ф. Левенстерн, баронесса Мария Розенкампф, тайный советник действительный камергер И.М. Муравьев-Апостол и другие.

Граф Карл Сен-При

Проще, пожалуй, перечислить тех немногих, кому вопреки всему застроиться все же удалось. Получили участки и застроились: гоф-маклер одесской биржи *Федор Андре* (соответственно в 1811 и 1814 гг.) – на углу Екатерининской, а поблизости, на одноименной площади – капитан над портом *Степан Телесницкий* (1810 и 1815 гг.), первый председатель Одесского коммерческого суда, кавалер ордена Св. Анны 1-й степени граф *Карл Сен-При* (1810 и 1816 гг.) – в Театральном переулке,[590] на месте нынешнего дома № 16.

Все эти дома заслуживают, понятно, пространного описания, хотя бы уже по значимости домовладельцев в региональной истории. Но такое описание потребовало бы, пожалуй, отдельного издания. О семействе Сен-При разыскать информацию нетрудно и в справочниках. Здесь замечу только, что в 2-этажном доме Карла Францевича в 1818 году жил *К.Н. Батюшков*, бывали *Н.М. Муравьев*, *М.С. Лунин* и многие другие известные люди. «Здесь нашел я графа С. При, – пишет Батюшков из Одессы 12 июля 1818-го, – и живу в гостеприимном его доме. Он ко мне ласков по-прежнему и все делает, чтобы развлекать меня, возит по городу, в итальянский театр, который мне очень нравится, к иностранцам, за город на дачи. Одесса – чудесный город, составленный из всех наций в мире и наводнен итальянцами. Итальянцы пилят камни и мостят улицы:

так их много! Коммерция его создала и питает».[591] Нелишне прибавить: ранее Сен-При и его супруга княгиня Софья Алексеевна Голицына (скончалась в 1814-м) нанимали «небольшой, но изрядный дом», очень хорошо обставленный. По понедельникам устраивали немноголюдные журфиксы, на которых бывали герцог Ришелье, австрийский консул фон Том и др., в общей сложности с полдюжины лиц.[592]

К.Н. Батюшков

Осенью 1820-го Муравьев и Лунин посещали также и обширный хутор Сен-При близ нынешней Аркадии, на территории будущего санатория «Россия».[593] Согласно раскладочной ведомости на 30 апреля 1824-го, хутор этот оценивался в 10.000 рублей и давал 1.000 руб. ежегодного дохода, а сказанный дом – 50.000 рублей и соответственно 5.000 дохода.[594] Территория хутора составляла 50 десятин удобной земли, и была отмежевана 10 марта 1811 года.[595] То есть, отсутствуя в Одессе и находясь во Франции с 1821 года, Сен-При получал доходы от своей одесской недвижимости.

Что до Телесницкого, он, к сожалению, незаслуженно забыт – личность неординарная, масштабная. Посвятил ему главу в одной из предыдущих книг,[596] но и здесь позволю себе немного распоясаться.

Телесницкий

Степан Михайлович Телесницкий – без преувеличения эталонный, идеальный российский морской офицер. На сегодняшний день я знаю о нем гораздо меньше, чем хотелось бы. Однако зверь бежит на ловца: когда настойчиво интересуешься чьей-нибудь судьбой, рано или поздно получаешь информационный бонус.

Пока неизвестен даже год его рождения, не обнаружена и метрическая запись о кончине, хотя по косвенным данным их можно почти наверняка воспроизвести. Дворянин Телесницкий поступил в Морской кадетский корпус в 1773 году, но учился в нем дольше других – гардемарин лишь с 1 января 1782-го. Из этого можно сделать вывод, что учение его началось в очень юном возрасте. В 1782-1784 годах на корабле «Давид Солунский» совершил переход из Кронштадта в Ливорно и обратно в составе эскадры под началом знаменитого впоследствии победителя шведов адмирала В.Я. Чичагова (1726-1809), уже ходившего тем же маршрутом в 1772-м. 1 мая 1784 года произведен в мичманы, и в течение нескольких лет, до 1788-го, служил на Балтийском море. 1 января 1787 года получил лейтенантский чин.

В этот период его военная карьера приняла довольно занимательный оборот. Шла русско-турецкая война, и в 1788-м молодому, способному и уже опытному морскому офицеру (с особым учетом его практики при Чичагове) поручили крайне опасное и важное задание. Ввиду намеченных в Средиземноморье военных операций Телесницкого под видом коммерсанта сухим путем через всю Европу направили в Италию и Левант для рекогносцировки и секретного составления планов Мессины, Сиракуз и других городов. Подробности исполнения до нас не дошли, но мы знаем наверное: он блестяще выполнил свою миссию, и планы эти впоследствии не раз использовались по назначению, в том числе – им самим. На этом роль военного лазутчика не закончилась. Напротив, действо только разворачивалось. Не успел Телесницкий перевести дух, как его командировали из Санкт-Петербурга на Мальту. Тут необходимо хотя бы несколькими штрихами, лапидарно очертить сложившуюся в тот момент на Средиземноморье ситуацию.

Искавшая союзников в борьбе с Оттоманской Портой Россия опиралась на единоверных греков, в свою очередь стремившихся обрести независимость и, разумеется, тяготевших к россиянам. В предыдущих походах российского флота был наработан некоторый опыт совместных боевых действий с греками Архипелага, то есть островной Греции. Многие выходцы из благородных греческих семейств воспитывались в Петербурге, становясь офицерами, в том числе – морскими. На водных коммуникациях тогда

чрезвычайно успешно действовала целая каперская, по существу корсарская (чтобы не сказать пиратская) флотилия небезызвестного Ламброса Кацониса (1752-1805), на итальянский лад – Ламбро Качиони. Кацонис, на манер будущих фанатичных террористов, постоянно держал в напряжении своего заклятого врага – Турцию, не брезгуя никакими методами. Для российской императрицы он был тем же, кем был Фрэнсис Дрейк для английской королевы, а потому пользовался ее покровительством, состоял офицером русского флота, а суда его ходили под российским флагом.

Обаятельному пирату посвящено немало исследований, да изучение его биографии и не входит в нашу задачу. Однако нельзя не уточнить: фанатизм его сочетался с подлинным флотоводческим талантом, невероятной дерзостью, изобретательностью, да еще удачливостью. Лично меня весь этот «мужской набор» вводит в сомнение как раз в связи с первым из перечисленных компонентов – фанатизмом. Ну, никак не похож этот более чем разумный деловой человек на твердолобого ограниченного «патриота». Если же этот пункт отбросить, то все станет на свои места, и мы получим корсара, искателя приключений в чистом виде, включая честолюбивое стремление никогда и никому не уступать, быть максимально независимым лично. Впоследствии Кацониса беспрерывно обвиняли, говоря современным языком, в серьезных финансовых нарушениях и, так сказать, злоупотреблениях служебным положением. В итоге он был не только оправдан, но даже получил компенсацию от казны, и под конец жизни показал себя весьма состоятельным промышленником.

Так или иначе, отправка Телесницкого на Мальту преследовала цель усилить давление на Порту умножением корсарских крейсеров. Для этого доверенные лица или лазутчики покупали суда (иногда не только на казенные средства, но и на пожертвования сочувствующих) в нейтральных странах, набирали команду и выходили на тропу войны. Следуя тем же курсом, Телесницкий набрал на острове в русскую службу команду из 115 человек, вооружил корсарский фрегат «Лабонданц» (в военных реляциях – примитивная транскрипция французского слова «Изобилие»), совершил переход в знакомые Сиракузы, а оттуда к Ионическим островам. Здесь наш герой, подобно Кацонису, занялся любимым делом – нападением

на турецкие суда. Хотя основное, не афишируемое предназначение корабля заключалось совсем в другом, но об этом ниже.

Имею все основания сравнивать Телесницкого с Кацонисом. Русский офицер ни в чем не уступал прославленному корсару, был столь же разносторонне одарен, и при этом куда более щепетилен и менее кровожаден. Правда, уступал он в честолюбии, и, кроме того, не обладал того же масштаба материальными ресурсами и связями. На них были сделаны разные ставки, хотя выигрыш в том и другом случае, по меньшей мере, пропорционален, вероятно, даже в пользу Телесницкого. Между прочим, в феврале 1788 года сам Кацонис купил в Триесте трехмачтовое купеческое судно с парусной оснасткой фрегата, вооружил его 28-ю пушками, и с этого корабля, поименованного в честь императрицы «Минервой Северной», началось формирование его флотилии. Позднее, в 1791-м он купил за российские деньги 21 судно, создав новую эскадру.

Хроники сохранили подробности необычного морского сражения, состоявшегося в мае 1789 года. Тогда близ острова Сифанто (Сифнос) «Лабонданц» под командой лейтенанта С.М. Телесницкого был обнаружен отрядом из 14-ти (по другим сведениям – из 16-ти) турецких кораблей. Не смутившись колоссальным численным перевесом, Степан Михайлович принял бой, понимая, что неприятельские суда все равно не сумеют одновременно противостоять ему. Более трех часов продолжалась неравная перестрелка, в которой «Лабонданц» потерял 19 членов экипажа и получил некоторые повреждения. В это время к нему приблизилось два турецких фрегата с намерением взять на абордаж.

С близкого расстояния враги потребовали сдаться. В ответ бесстрашный Телесницкий открыл огонь и закричал, что при попытке высадить десант взорвет свой корабль вместе с нападающими. Вид его, с горящим факелом приближающегося к запасам пороха, опаленного боем, был так грозен, а намерения столь решительны, что противник поспешил удалиться. Воспользовавшись этим, Телесницкий немедленно произвел необходимые исправления фрегата и хорошенько подготовился к продолжению боя. Судя по всему, турецкие шкиперы не рискнули больше связываться с полоумным русским, отказались от намерения получить дорогою ценою малоценный приз (никакого коммерческого груза явно не было) и оставили оборонявшихся в покое.

Но вернемся к упомянутому предназначению фрегата и его шкипера. Это был, по существу, военный транспорт-разведчик. В случае надобности он мог войти в какую-либо акваторию под флагом нейтральной страны, имея на борту необходимые документы. В 1790 году Телесницкий не единожды выполнял тайные поручения командования, заключавшиеся в доставке, высадке и возвращении лазутчиков, топографической съемке, промерах дна на удобных для десантирования войск участках, составлении планов укреплений и т. п. С этой целью он обошел остров Корфу и береговую линию Мореи, курсировал меж Ливорно и Левантом. В 1791-1792 годах командовал уже другим корсарским кораблем, под экзотическим названием «Лафам» (то есть «Дама», очевидно, пиковая: хотя Пушкин еще не родился, но семантика карточных фигур была той же), обошел все Средиземноморье, беспрестанно попадал во всякие передряги, но всегда умел выйти из любой ситуации победителем или, во всяком случае, без проигрыша. Другими словами, некоторое время находился в состоянии войны с Портой даже после заключения Ясского мирного трактата. Возможно, находясь в автономном плавании, он не сразу получил приказ прекратить боевые действия. Кацонис, однако, приказу о разоружении своей флотилии в Триесте и ее продаже не подчинился, пытался продолжать борьбу, был окру-

жен, едва спасся, подвергнув преследованиям свою семью. Впрочем, многие из его подчиненных тоже вырвались из окружения, еще раньше в Севастополь вернулись три судна. Захваченных моряков турки жестоко казнили или сослали на галеры.

Телесницкий же, проведя пять лет кряду в опаснейших предприятиях на море, наконец вернулся в Санкт-Петербург в 1793 году, снова совершив путешествие по суше от Ливорно, через всю Европу. Тогда становилось неуютно не только в Италии, но даже в австрийском Триесте. 2 февраля 1794 года Степана Михайловича произвели в капитан-лейтенанты и перевели в Херсон, чтобы иметь универсального специалиста поближе к театру с завидной регулярностью повторяющихся военных кампаний. Чуть позже сюда же прибыл призванный и прощенный императрицей Кацонис, а равно оставшиеся в живых члены его семьи.

Вскоре в нарождающейся Одессе сформировали греческий дивизион, куда входили преимущественно моряки его флотилии. Мало кому сегодня известно о том, что офицеры с греческими фамилиями, которым еще в сентябре 1794 года отводились места под застройку, – боевые соратники легендарного корсара, георгиевского кавалера. По всему видно, Кацонис и Телесницкий сотрудничали не только на море, но и на суше. Они, несомненно, причастны и к переселению в южный регион греков и арнаутов. В 1795-1796 годах Кацонис обитал в столице, был приближен императрицей. После кончины Екатерины с его финансовыми делами разбиралась специальная комиссия, а Павел I настаивал на его отправке в Одессу, в созданную ранее Иосифом де Рибасом гребную флотилию. Разбирательства, впрочем, завершились более чем позитивным для Кацониса решением – ему даже вернули потраченные на правое дело личные сбережения.

Но вернемся к Телесницкому, которого изредка вспоминают в контексте событий 1798-1800 годов, когда его назначили на место историографа флота в ходе экспедиции адмирала Ф.Ф. Ушакова в Архипелаг. Разумеется, официальная должность далеко не в полной мере отражает ту поистине выдающуюся роль, которую Степан Михайлович тогда сыграл. Мало того, что он как никто знал гидрографию бассейна, береговую линию, местные особенности, нравы, языки, имел своих доверенных людей и проч., вспомним о выполненных им картах и планах главного объекта этой военной операции против

французов – острова Корфу. Он мог одновременно исполнять обязанности штурмана, лоцмана, десантника, драгомана, интенданта, разведчика, секретаря дипломатической миссии. Пишут об очевидном расположении и большом доверии Ф.Ф. Ушакова к Телесницкому. Заслуга Степана Михайловича в создании греческой Республики Семи Островов под протекторатом России и Турции несомненна.

Узнав о начале этой военной кампании, нестарый еще и полный сил Ламброс Кацонис обратился к императору с просьбой разрешить ему на собственный кошт оборудовать корсарский корабль и принять участие в боевых действиях против французов. Парадокс (возвращаясь к вопросу о «фанатизме») заключается в том, что Россия действовала на этот раз в союзе со всегдашним своим и Кацониса заклятым врагом, Турцией. Но последнего это нисколько не смутило. Павел I нашел сказанное предложение вполне приемлемым, согласился выдать патент на каперство, однако война не приняла затяжного характера, и заядлый корсар так и не успел выйти в море.

Вскоре после возвращения эскадры Ушакова в Севастополь началась собственно одесская биография Телесницкого: в 1801 году его назначили капитаном Одесского порта. То был самый ответственный для города момент, когда, наконец, возобновлялось замороженное еще с кончины благословенной императрицы строительство гидротехнических сооружений и в целом портовой инфраструктуры. И Телесницкий был как раз тем человеком, который наилучшим образом мог реализовать себя на этом месте.

Капитаном порта тогда называли начальника двух гаваней – Карантинной и Практической. Затем должность эта именовалась «капитан Карантинного порта», хотя фактически под началом капитана состоял и Практический порт. Впоследствии ввели дополнительную должность, и тогда параллельно служили «два капитана». Еще позже оба капитана получили помощников. Но Телесницкий должен был справляться со всем один – на фоне тех грандиозных преобразований, которые осуществляла в это время Комиссия отстройки гавани в Одессе под руководством талантливого военного инженера Е.Х. Ферстера: расширение порта (1802) предшествовало созданию Одесского строительного комитета. В это время созидательная деятельность Телесницкого ознаменовалась присвоением ему 15 января 1803 года чина капи-

тана 2-го ранга. 26 ноября 1804-го он получил высокую награду – орден Святого Георгия 4-го класса, похоже, за участие в обеспечении деятельности российского гарнизона и флота на Ионических островах, когда численность войск и пушек увеличилась вдвое.

Степан Михайлович в это время вновь остро понадобился на флоте по следующим причинам. В 1805 году Россия в составе третьей коалиции вступила в войну с Францией. База русского флота находилась на острове Корфу, входившем в упоминавшуюся выше Республику Семи Ионических Островов, в создании которой опосредованную, но чрезвычайно значимую роль сыграл Телесницкий. Государство это, понятно, было эфемерным, формально находилось под протекторатом Оттоманской Порты и фактическим контролем России. Сближение Турции с Францией и появление флота последней в Адриатическом море грозило серьезными неприятностями. По этому поводу вице-адмирал Д.Н. Сенявин, согласно императорскому рескрипту, повел из Кронштадта на Корфу эскадру, состоящую из пяти линейных кораблей, фрегата и двух бригов.

Эскадра Сенявина соединилась с черноморской эскадрой контр-адмирала А.С. Грейга, которая базировалась на Корфу. Совместно им пришлось воевать на два фронта – против французского и турецкого флота. Телесницкий мог временно прибыть на Корфу на борту одного из кораблей, входящих в состав отряда, отправленного туда из Севастополя в 1804-м, – двух линейных, двух фрегатов, шести корветов и четырех бригов. Мало что известно о конкретном участии Степана Михайловича в этой экспедиции русского флота, получившей в исторических штудиях название Второй Архипелагской. Однако вполне очевидно, что в ходе планирования и осуществления военных операций использовался его огромный многогранный опыт. Ясно также и то, что здесь его пути пересеклись с другими персонажами ранней истории Одессы – Белли, Достаничем, Колонтаевым, Попандопуло. Оценка участия Телесницкого объективно иллюстрируется присвоением ему 28 мая 1808 года чина капитана 1-го ранга.

1 марта 1810 года он уволен в отставку с чином статского советника, соответствующего флотскому чину капитан-командора, то есть с повышением. 27 октября в Строительный комитет, членом которого Телесницкий был на протяжении ряда лет, поступило его прошение об отводе места под домостроительство. Участок

под застройку на углу Дерибасовской и Итальянской улиц ему был отдан еще в первой половине апреля 1804 года,[597] но тогда воинский долг оторвал его от решения бытовых проблем. Новое место, которое Степану Михайловичу отдали в 1810-м, было занято старыми воинскими казармами, а потому он мог приступить к строительству лишь после их сноса, с обязательством окончить возведение дома в два года.[598] Тогда же он просил отдать ему одно место под строительство лавки на Греческом базаре.[599]

Предпринимателя из Телесницкого не получилось, одаренный как будто всесторонне, он, видимо, был лишен коммерческой жилки. Возможно, просто недоставало стартового капитала: честный благородный служака толком ничего не нажил, а семью приходилось содержать. Надо полагать, все дарованное ему судьбой *изобилие* заключалось в одноименном казенном корсарском корабле. Как бы то ни было, торговое место отошло другому лицу. Многострадальный же дом его (один из плановых флигелей и службы) был построен в июне 1815 года[600] впритирку к руинам казарм, разобранных лишь на рубеже 1810-1820-х. Находился он примерно в пределах нынешнего здания по Екатерининской площади, № 3, и фактически принадлежал его дочерям – *Ольге Солодовниковой, во втором браке Морозовой, и девице Софии*. Почему обзываю это строение многострадальным?

Как было сказано, переустройство и перепланировка территории нынешнего Приморского бульвара развернулись после сноса воинских казарм. В связи с этим планировщики Потье и Шааль составили новый план «вновь прожектируемых кварталов», в который реально существовавший дом Телесницких четко не вписывался. То есть на момент выдачи первичных владельческих документов место имело другие нумерацию и габариты. Разбирательство затянулось на десятилетие! Просто диву даешься, как злосчастная Ольга Степановна, к слову, супруга весьма влиятельного человека, крупного военного инженера, а впоследствии даже руководителя Одесского строительного комитета, генерал-майора Г.С. Морозова, раз за разом объясняется с тем же Комитетом и владельцами смежных домов и участков. Из этой переписки, кроме всего прочего, видно, насколько образован, культурен автор эпистолярий. В этом нет ничего удивительного, если учесть хотя бы то обстоятельство, что ее отец-полиглот в начале 1820-х

был директором Одесского отделения Библейского общества. Территориальные споры удалось урегулировать лишь в феврале 1830 года. Какие-то неувязки возникали и гораздо позднее. Даю ссылки на целый ряд архивных документов 1820-х годов.[601]

Прибавлю любопытную цитату Гавриила Геракова от 8 октября 1820 года: «Вечер у гр. Ланжерон. Тут молодая вдова Солодовникова несколько рассеяла мою грусть приятным разговором и прелестным пением».[602]

В метрических книгах греческой церкви Святой Троицы зафиксировано рождение 15 апреля и крещение 25 апреля 1807 года младенца Платона, сына капитана над портом Стефана Телесницкого и его жены Марии. Занятно, что восприемник записан так: «Таганрогский, капитан над портом».[603] Совершенно очевидно, что речь тут идет не о мифическом Таганрогском, а о капитане над таганрогским портом, то есть о генерал-майоре Петре Федоровиче Бачманове. О дальнейшей судьбе Платона пока ничего не знаю. Не исключено, умер в малолетстве.

По стечению обстоятельств, Телесницкий изредка проявляется где-то на задворках истории Одессы не как героический моряк, а лишь как масон нескольких лож. Удивляться нечему, обывателя больше привлекают окутанные таинственным маревом масонские ритуалы, связанные с этим легенды, небылицы, вплоть до замков с привидениями и прочей чертовщины. Так вот, старый дом Степана Михайловича вошел в регионально-исторические анналы как первый масонский адрес города. В его подвалах, собственно говоря, и проводились первые собрания сформированной в конце ноября 1817 года местной *ложи «Понт Эвксинский»* (античное название Черного моря). Показательно, что на лицевой стороне знака этой ложи изображен парусник на фоне башни, вероятно, маячной.

В ее состав входили многие влиятельные лица, начиная с градоначальника и военного губернатора графа Ланжерона. Можно начать с уже не раз упоминавшегося Достанича, перечислить военных – одесского коменданта Силина, командира одесского артиллерийского гарнизона Облеухова, адъютантов Ланжерона Волконского, Дункеля, Флуки, затем офицеров Вегелина, Мейера и др. В ложе состояли профессора Ришельевского лицея Пиллер, Виард и др., врачи Вицман, Стуббе, Эпитес, Камоэн и др., чиновники

Неженец, Шмидт (фармацевт), Голиков, Гибаль (один из первых одесских журналистов), Шааль (архитектор), Гельмерсен (военный инженер), Десмет (знаменитый садовод), да и сам Телесницкий, негоцианты Кортацци, Ксенис, Гогель, Андре (гофмаклер одесской биржи), Пасто (биржевой маклер), Коллен (один из первых книготорговцев и содержателей частных библиотек), Вальб, Этлингер, Гаторно и др. Официально деятельность масонских лож прекращена в январе 1822 года, и с тех пор все государственные служащие подтверждали неучастие в каких-либо тайных обществах стандартной распиской.[604]

Дом Телесницкого обрел ореол таинственности при следующих обстоятельствах. От Морозовых (генеалог С.Г. Решетов нашел метрическую запись о кончине Ольги Морозовой, урожденной Телесницкой, 25 января 1858 года, в возрасте 65 лет) он перешел во владение известного медика, общественного деятеля, мемуариста Э.С. Андреевского и пошел под снос для постройки более солидного здания. Тогда-то и был вскрыт обширный сводчатый подвал, разграниченный на несколько отдельных помещений, с расписными стенами, соответствующей символикой, предназначенный для проведения масонских ритуалов. Сам Андреевский сообщает по этому поводу: «Видно, когда последовал высочайший воспрет против масонских лож, закрыли подземелье и забили наглухо входы к нему, сохранили, однако, помещения, на всякий случай».

Авторитетный краевед В.А. Чарнецкий пишет: «По сведениям масонских архивов, масонская ложа «Нептун» отрядила в 1818 году своего «брата» Телесницкого в Одессу, вероятно, для оказания помощи и организации ложи в этом городе. С другой стороны, по данным Государственного архива Одесской области, Телесницкий в 1810 году сделал заявку на тот участок земли в Одессе, на котором был построен его дом. По существующим тогда правилам, дом должен был быть возведен в срок не более двух лет, следовательно, он был готов не позже 1812 года. Каким образом увязываются об эти сообщения, пока неизвестно».[605] По имеющимся у меня данным, дом все же не был построен в срок – очевидно, помешала чума, и строительство завершилось к середине 1810-х. Но суть не в этом. Два указанных сообщения увязываются очень легко, поскольку речь идет о двух разных Телесницких.

Один из них – наш Степан Михайлович, другой – Владимир Николаевич, титулярный советник, надзиратель таможенной заставы. Какова меж ними родственная связь, неясно, но она несомненна. Известно, что у первого было два брата, оба флотские – Иван, капитан-лейтенант, и Михаил – лейтенант. Можно лишь предположить, что был еще и другой (другие) брат (братья), Николай. Как бы то ни было, второй Телесницкий, значительно моложе и ниже по чину, действительно появился в Одессе около 1818 года.

Путаница, кроме всего прочего, объясняется еще и тем, что дом Владимира Николаевича находился поблизости от дома Степана Михайловича. Сохранилось прошение жены отставного лейб-гвардии ротмистра Варвары Телесницкой от 6 сентября 1820 года об отводе места в LXVIII квартале, то есть по четной стороне первого квартала Екатерининской улицы, на котором тоже существовали казармы. Назначался двухлетний срок постройки, считая с того момента, когда они будут демонтированы.[606] Опасаясь проволочек, 6 июня 1821-го она попросила отвести другое место, «во вновь прожектированном квартале», которое «никому еще не отведено». Отводом занимался архитектор Ф. Шааль.[607] Из архивных документов 1822-1823 гг. четко видно, что дом Варвары Телесницкой построен по Театральной площади (то есть по Театральному переулку), по смежности с *первичным домом архитектора Боффо*, построенном в июне 1823-го.[608]

Та же история и с хуторами. В архивном фонде Одесского коммерческого суда зафиксирован акт продажи титулярным советником *Владимиром Николаевичем Телесницким* своего хутора небезызвестной помещице *Каролине Адамовне Собанской*, урожденной графине Ржевуцкой, 16 июня 1822 года.[609] Дочери С.М. Телесницкого владели совершенно другим хутором, отведенном под хозяйственное освоение еще в августе 1812-го.[610]

Итак, дом Степана Телесницкого находился на Екатерининской площади, а дом Владимира Телесницкого – неподалеку, в Театральном переулке. В оценочных ведомостях одесской недвижимости первой половины 1820-х значатся: скромный дом титулярного советника Телесницкого, оцененный в 5.000 рублей, не приносящий дохода, и куда более солидные постройки статского советника Телесницкого, с оценкой в 15.000 рублей и доходом в 400 рублей.[611]

О времени кончины Степана Михайловича надежных данных пока не обнаружено, но следы его теряются после 1821 года, когда он значится вице-инспектором Одесского портового карантина и директором Одесского отделения Библейского общества. Что касается его родственника, Владимира Николаевича, тот ушел из жизни в 1831 году, после чего его супруга уехала в Москву. Варвара Николаевна Телесницкая, урожденная Трегубова, – дочь председателя Одесского коммерческого суда, градоначальника (1820-1822), сенатора Николая Яковлевича Трегубова (1756-1845). В брак со штаб-ротмистром лейб-гвардии уланского полка Телесницким вступила в Одессе 24 сентября 1817 года. Причем поручителями выступали статский советник Степан Телесницкий и действительный статский советник Василий Новосельцев.[612] После кончины мужа на ее попечении оказалось пятеро малолетних детей, оттого, конечно, пришлось перебраться к отцу. Между прочим, в Одессе по карантинной части служил ее младший брат Алексей (умер 7 мая 1838 года на 42-м году жизни). С 5 июня 1832 года Варвара Николаевна служила старшей надзирательницей в Московском доме трудолюбия, а с 15 августа 1835 по 22 января 1851 – директрисой Кушниковского благородного института в Керчи, где и умерла 5 апреля 1851-го, похоронена в Москве, рядом с отцом.

Внешний облик домов Телесницкого и Андре можно видеть на рисунке В.А. Жуковского начала 1830-х годов.

Места, предназначенные для домов генерал-губернатора и градоначальника

Поскольку для жительства высших администраторов дорогою ценою нанимались частные дома, постольку при планировании бульвара таковые места были зарезервированы. Первое занимало территорию застройки одним из полуциркульных зданий, № 7, и часть смежного места, где теперь дом № 6. Однако с вступлением в должность М.С. Воронцова этот проект был пересмотрен: для нового губернатора нанимали особняк Фундуклея лишь на то время, пока обустраивалась ранее приобретенная графом усадьба Куликовского, которая и сделалась резиденцией гене-

рал-губернатора. Часть места сперва отдали чиновнику Аврамопуло,[613] затем Зонтагу, который и застроился,[614] а рядом возвели более необходимое здание Присутственных мест.[615]

Для градоначальника оставили место в будущем Театральном переулке – ныне пер. Чайковского, № 10 и 8.[616] Однако значительную часть этого места передали в частные руки, поскольку было принято решение строить градоначальницкий дом в начале четной стороны Ришельевской улицы (№ 2). Этот проект и был осуществлен во второй половине 1820-х.[617] Впрочем, градоначальник там никогда не обитал: власти сочли более выгодным сдавать это колоссальное по тем временам сооружение в аренду, а для администратора оставить часть прежнего места в Театральном переулке.

В 1830-м первым арендатором так называемого Дома градоначальника по Ришельевской сделался знаменитый пушкинский ресторатор Цезарь Отон.[618] Что до солидной части бывшего градоначальницкого места в Театральном переулке, оно, судя по имеющимся данным, надолго оказалось во владении отца и сына Фонтон, Петра Антоновича и Феликса Петровича, известных российских дипломатов французского происхождения.[619] В 1848-м эта недвижимость оценена в 11.330 рублей серебром,[620] что может указывать на неизменность первичной постройки. Из этой оценочной ведомости, между прочим, видно, что впоследствии «Дом градоначальника» и принадлежащая к нему земля были распределены меж Фонтоном и Боффо.

Примечания

554 ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 17, л. 117-118.

555 В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Друк», 2001, с. 36.

556 ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 134.

557 Там же, д. 267, л. 212.

558 Там же, д. 287, л. 637-646.

559 Там же, д. 279, л. 403.

560 Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 386-389.

561 И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – М., 1870, с. 144-145.

[562] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 278, л. 57.

[563] Там же, л. 154 – 155 об.

[564] Там же, л. 190 об. – 191.

[565] Там же, д. 279, л. 495 об. – 496 об.

[566] Там же, л. 535.

[567] Там же, л. 545-546.

[568] Там же, л. 619 об., 629 об. – 631.

[569] Там же, д. 282, л. 31, 172.

[570] Там же, л. 115 об. – 116 об., 117-118.

[571] Там же, л. 177-179.

[572] Там же, д. 281, л. 91.

[573] Там же, л. 172-173.

[574] Там же, л. 195 об. – 196.

[575] Там же, д. 282, л. 345-346.

[576] Там же, л. 377.

[577] Там же, д. 283, л. 141-142.

[578] Там же, л. 253.

[579] Там же, л. 555-557.

[580] Там же, л. 655 об. – 656.

[581] Там же, л. 804-805.

[582] Там же, д. 287, л. 119-121.

[583] Там же, л. 224; Там же, д. 286, л. 464-465.

[584] Там же, д. 287, л. 4 об. – 5 об.

[585] Там же, л. 29-30.

[586] Там же, д. 288, л. 134 об. – 135.

[587] Там же, д. 286, л. 131 об. – 133 об.

[588] Там же, д. 283, л. 11-14.

[589] Там же, д. 262, л. 62, 233.

[590] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 24-29; Там же, ф. 2, оп. 5, д. 262, л. 233; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 88, л. 213; Там же, д. 96, л. 450, 451, 452.

[591] Русский архив. – 1867, кн. 5, с. 1521.

[592] И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – М., 1870, с. 162.

[593] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Другк», 2001, с. 92.

[594] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 215, л. 8-14.

[595] Там же, оп. 3, д. 570А, л. 17 об.

[596] Олег Губарь. Энциклопедия забытых одесситов. – Одесса: Optimum, 2011, с. 280-299.

[597] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 4, л. 45.

[598] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 262, л. 233.

[599] Там же, л. 235.

[600] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 268, л. 542; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 88, л. 213, 214, 215.

[601] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 278, л. 89; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 186, л. 149, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462; Там же, ф. 2, оп. 5, д. 279, л. 198, 702-705; Там же, д. 281, л. 4; Там же, д. 286, л. 182 об. – 183 об.; Там же, д. 288, л.173-174; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 614, л. 35-54.

[602] Гавриил Гераков. Продолжение путевых записок по многим российским губерниям 1820-го и начала 1821-го. – СПб., 1830.

[603] Труды Государственного архива Одесской области. Т. XXXVIII. – Одесса, 2014, с. 468-469.

[604] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 319, л. 1, 2.

[605] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: «Друк», 2001, с. 102.

[606] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 278, л. 211 об.

[607] Там же, д. 279, л. 598 об.

[608] Там же, д. 281, л. 37 об. – 38, 95; Там же, д. 283, л. 862.

[609] Там же, ф. 18, оп. 3, д. 7, л. 85, 86.

[610] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 264, л. 271; Там же, ф. 59, оп. 4, д. 179. – 5 л.

[611] Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 215, л. 8-14. – № 108 и № 110.

[612] Там же, ф. 37, оп. 3, д. 199, л. 40.

[613] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 288, л. 193.

[614] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 532. – 21 л.

[615] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 288, л. 5-6.

[616] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 281, л. 95; Там же, д. 283, л. 862.

[617] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 668. – 505 л.

[618] Там же, оп. 2, д. 195. – 93 л.; Там же, оп. 1, д. 1405. – 319 л.

[619] Там же, ф. 4, оп. 8, д. 942, л. 29 об. – № 79; К. Висковский. Путеводитель по городу Одессе. – Одесса, 1875, с. 75.

[620] Список домам и прочим строениям в 1-й части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., Б. г., с. 10.

Олег Сивирин

Кисёлова гора и Лузановка*

Из документального цикла «Лузановка и окрестности»

Помимо постоянного нахождения в комфортных дачах Лузановых военных формирований разных стран, республик, держав и прочих разбойников всех мастей, неистово враждующих друг с другом, данный участок местности, как выяснилось, для всех без исключения воюющих сил имел еще и важное стратегическое значение. Достаточно взглянуть на топографическую карту, чтобы увидеть, что здесь проходит единственная дорога в Одессу с северо-востока: из Вознесенска и Николаева. И тот, кто ее контролировал наряду с соседней железной дорогой, тот держал под своим контролем все движение из внутренних губерний в город и порт и в обратном направлении. Убедительным доказательством важного военного значения местности могут служить созданные в Лузаново в период Гражданской войны полевые фортификационные сооружения. Расположение здесь трех линий оборонительных траншей совершенно неожиданно для нас открыл план данной местности, составленный археологами в 1929 году.[29] Так совпало, что в одном месте переплелись культурные слои из разных эпох, и одно открытие – обнаружение античного поселения – невольно притянуло за собой другое, раскрывающее стратегическую роль местности в военных событиях 1917-1920 гг. Группа трудившихся здесь археологов, среди которых был известный исследователь античности Северного Причерноморья В.Д. Блаватский, с научной точностью фиксировала все элементы, расположенные на исследуемой территории, используя их в качестве современных ориентиров при составлении письменного от-

* Окончание. Начало в кн. 71.

чета о проводимых раскопках античного поселения. Так на план местности и попали фортификационные сооружения, определенные археологами как «траншеї часів громадянської війни».[30] Здесь важно подчеркнуть еще и то, что в точной датировке возникновения траншей археологи для нас однозначно могут являться заочными экспертами по этому историческому периоду, так как к моменту составления плана прошло всего около десяти лет со времени окончания военных действий, и многие участники раскопок, особенно привлеченные из местных жителей, безусловно, были если не прямыми участниками происходивших здесь событий, то уж точно их свидетелями.

Укрепрайон в Лузаново состоял из трех линий траншей, проходивших по склону Кисёловой горы с восточной стороны от Николаевской дороги. Первая траншея, общей длиной в 22 сажени (около 47 метров), находилась в 60 метрах от подножья склона и имела форму кривой линии, преломленной в трех точках, из которых отрезок траншеи в 2 сажени был развернут фронтом в сторону Пересыпи, а другая часть, в 20 саженей, была обращена фронтом к морскому побережью. Вторая, изогнутая в середине траншея длиной в 17 саженей (около 36 метров), проходила посередине склона Киселевской горы перпендикулярно Николаевской дороге. Третья траншея являлась самой протяженной – 43 сажени (более 91 метра) и была вырыта у самой вершины горы, недалеко от места, где сегодня расположен центральный вход в детский центр «Молодая гвардия». Большая часть этой траншеи тянулась в сторону моря, то есть проходила перпендикулярно дороге, ведущей в Николаев, и лишь небольшой отрезок в 10 саженей был развернут фронтом к данной дороге. Стоит напомнить, что оборонительные траншеи времен первой мировой войны 1914-1918 гг. в инженерном отношении были, как правило, одного вида – окопами полного профиля, то есть с углублением в грунт до 2 метров. Что они собой представляли в реальности, можно увидеть в кадрах многочисленной военной кинохроники, снятой в период первой мировой войны.

Как мы теперь убедились, перед нами открылось достаточно мощное укрепление, состоящее из трех линий траншей, созданное по всем правилам полевой фортификации, – размещение

огневых точек на господствующей перед ожидаемым противником высоте. Но неожиданно выявленные траншеи, покрывавшие когда-то склон спуска, словно нити паутины, теперь, спустя почти сто лет, заплели для нас своим алогичным расположением настоящую военную интригу. И вправду, все оборонительные линии оказались обращенными фронтом к Пересыпи, что явно свидетельствует об их предназначении для защиты местности не от внешнего противника, наступающего на город, а наоборот, от внутреннего, идущего со стороны Одессы. Что, в свою очередь, дает основание сделать вывод об их единственной задаче, заключавшейся в защите самой по себе территории верхнего плато Киселевской горы. И именно в построении такой локальной защиты местности, возможно, и кроется разгадка появления здесь абсурдных, на первый взгляд, оборонительных линий. Эта диспозиция логически вписывается только в один военно-исторический контекст событий, происходивших в Одессе в годы Гражданской войны. Вспомним, что характерной особенностью ведения боевых действий в Одессе в 1917-1920 гг. была частая смена властей, даже современники тех событий с горькой иронией насчитывали «17 правительств, «управлявших» городом-страстотерпцем в 1918, 19 и 20 годах».[31] Более того, как мы знаем, случалось и так, что в городе одновременно присутствовали несколько противоборствующих сил, и тогда город и окрестности разделялись по праву того, кто первым сумел занять территорию и закрепиться на ней.

Так взаимосвязь местных исторических процессов и открывшейся перед нами картины разграничения локальной территории в Лузаново, относящейся к этому же временному периоду, невольно оживила в ярких красках хрестоматийную сцену территориального разграничения Одессы на «государственные образования», описанную в повести А. Казачинского «Зеленый фургон». Воспроизведем здесь ключевой фрагмент: «Половиной города владело войско украинской директории, и половиной – Добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской – параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом,

протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя. За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой».[32] Сделаем из отрывка текста произведения выжимку «жизненной картинки» сосуществования противоборствующих сил на улицах Одессы и мысленно перенесем полученную модель на обнаруженные на окраине Одессы позиции. Теперь мы получили логически обоснованную версию появления здесь линий соприкосновения неких противоборствующих сторон, где на вершине Киселевской горы господствовала одна власть, а на Пересыпи обосновалась другая. Только, в отличие от улиц города, учитывая значительную по площади территорию и количество личного состава, здесь линия разграничения могла быть обозначена не пресловутым шпагатом, натянутым между деревьями, а линиями полевых укреплений, ощетинившихся друг к другу стволами русских, французских, английских и немецких винтовок. Но поскольку все эти спонтанно образованные границы были мимолетны в своем существовании, то их просто не успевали ни наносить на топографические карты, ни фиксировать в рапортах, и поэтому так они и остались в истории Одессы границами-невидимками, подобно паутинкам, рвущимся от всякого сильного дуновения ветра.

Можно также допустить, что возведенные на склоне Киселевской горы укрепления изначально были созданы в связи с началом первой мировой войны. В этом случае укрепления являются частью некой не известной ранее системы обороны в общем стратегическом плане срочных мероприятий по подготовке отражения возможной атаки иностранного десанта с моря и его наступления со стороны Пересыпи.

Одержавшая в итоге победу в Гражданской войне советская власть частично продолжила традицию квартирного постоя военных частей в бывшем имении Лузановых. Известно, что в начале 1920-х годов здесь в нескольких домиках размещались сотрудники ГПУ[33] (Главное политическое управление – правопреемник революционной ЧК. – **О. С.**). Остались окутанными тайной задачи,

которые выполняла здесь организация, в сферу деятельности которой входила борьба с контрреволюцией и саботажем.

В следующий раз военные формирования снова заняли все здания в бывшем имении Лузановых и на остальной территории пионерского лагеря во время второй мировой войны – в 1941 году, когда Одесса вынуждена была 73 дня провести в оборонительных сражениях с немецко-румынскими войсками. К этому времени в лагере уже появился ряд новых построек, возведенных перед самой войной. В конце 1930-х годов здесь по проекту архитектора А.Б. Минкуса построили одноэтажные здания детского санатория костного туберкулеза на 400 человек и санаторий «Украинский Артек», созданный по проекту группы архитекторов: Д.М. Лихтенштуля, А.Б. Минкуса, Н.М. Каневского и Р.А. Владимирской.[34] В покинутых детьми и персоналом зданиях с июля по октябрь 1941 года поочередно размещались два штаба, сначала комбрига М.Ф. Монахова, а затем 1-го полка морской пехоты, а также тыловые службы, учебные лагеря и госпиталя воюющих в Восточном секторе частей.[35] Нахождение здесь военных госпиталей оставит в парке пионерского лагеря свое печальное наследие в виде нескольких могил умерших от ран бойцов. Только в 1973 году останки погибших с территории пионерского лагеря были перезахоронены на Латовском кладбище.[36]

Тем временем после окончания Гражданской войны, в 1923 году, на нижней террасе имения Лузановых под эгидой Красного Креста был основан детский лагерь. Вначале детский городок ютился в фанерных наскоро сбитых бараках. Но во второй половине 20-х годов здесь началось масштабное обустройство территории: «Еще год назад вся эта обширная прибрежная полоса лежала голая, ни на что, казалось, не пригодная, кроме разве что пляжа. Сейчас она неузнаваема. Год назад здесь был заложен первый камень, а несколько дней назад два каменных корпуса раскрыли свои двери для приема больных».[37] В газетной заметке 1928 года речь идет о строениях на нижней террасе лагеря, изображение которых размещено на фотооткрытке, изданной Одесполиграфом во 2-й Гостипографии им. Ленина в конце 1920-х годов. Теперь благодаря найденной информации

Общий вид нижнего санатория в Лузановке. Фотооткрытка. 1920-е годы
Из коллекции А.А. Дроздовского

стали известны функциональная планировка части внутренних помещений и профильная специализация отделений лечебно-курортного учреждения. Два новых корпуса были рассчитаны приблизительно на 150 коек, в каждом корпусе располагалось по 8 палат, операционная и столовая. Главный упор курорта был лечебным, с отделением для 50 детей, больных рахитом, анемией, золотухой, туберкулезом лимфатических желез, и дополнительным отделением для взрослых людей, больных туберкулезом.[38] Как можно было ранее заметить, все постройки детского лагеря в 1920-30-е годы возводились исключительно на нижней террасе, и такой выбор их месторасположения основывался на выводах специалистов, проводивших здесь климатические наблюдения, в том числе и при помощи метеорологической станции. Собранные за несколько лет данные показали, что нижнее Лузановское плато, защищенное с северо-востока горой, приближается по своему климату к Евпатории и Анапе. На языке цифр это выражалось так: «Наверху почва во время морозов промерзает обычно на 60 см в глубину. А здесь, в нижнем плато, только на 20. Здесь также значительно слабее сила ветра.

Когда наверху ветер дует примерно с силой 20 метров в секунду, внизу не больше 5-6 метров».[39]

Спустя пять лет после основания лагеря, летом 1928 года, в здравнице находилось 75 детей, направленных сюда ЦК помдета (Центральный комитет помощи детям. – **О. С.**). Это были дети рабочих и крестьян со всех округов Украины: Артемовска, Сталина, Луганска, Полтавщины, Проскуровщины и т. д.[40] В этом году статистика зафиксировала еще одну особенность: из общего числа детей всего лишь пять процентов малышей были местными, то есть из Одесской области. Такое соотношение по территориальному признаку сильно отличалось от данных 1927 года, когда в общем числе детей из Одесской области насчитывалось ровно пятьдесят процентов.

Очередной этап в развитии лагеря произошел в 1927 году, когда на заседании президиума окружкома обсуждался вопрос о дальнейшем продолжении курортного строительства в Лузановке (под Лузановкой имеется в виду территория лагеря. – **О. С.**). В частности, решался вопрос о передаче Красному Кресту сроком на 49 лет на договорных началах 28 гектаров земли в границах моря, пляжа общественного пользования, а также существующей дороги на Николаев и участков с домиками, освобожденными ГПУ.[41] На арендуемых землях Красный Крест планировал в течение пяти лет построить санаторий на 500 коек, а в последующие десять лет – еще один санаторий, на 300 коек. Любопытно, что в ходе обсуждения этого вопроса представители всесильного ГПУ настояли на «особых договорных началах» по срокам аренды своих участков. В итоге было принято предложение ГПУ, «от которого невозможно было отказаться», и таким образом стороны договорились, что «участок земли с домиками, освобожденными ГПУ, отдается Красному Кресту на особых договорных началах на срок до 5 лет, а не на 49 лет, как вся остальная территория. Проницательности чекистов можно только позавидовать, так как через четыре года деятельность Красного Креста в Лузановке будет полностью свернута.

Параллельно детскому лагерю, получившему в 1930-е годы название «Украинский Артек», развивался и общественный пляж. О его внешнем состоянии мы можем судить по несколь-

Лузановский пляж. Фототкрытка. 1920-е годы
Из коллекции О. Сивирина

ким сериям фотооткрыток, выпущенным в 1920-е годы тремя разными издательствами: Одесским комитетом Красного Креста, «Одесполиграфом» и московской типографией «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК». На запечатленных на фотографиях моментах отдыха граждан можно отметить, что пляж хорошо обустроен, повсюду установлены кабинки для переодевания и многочисленные деревянные ящики для мусора. Отдыхающие располагаются в сплетенных из лозы кабинках и в складных креслах, а также на подстилках, или просто лежат на песке. На прилегающей к пляжу полянке видна большая беседка, в которой также расположились отдыхающие. Бросается в глаза, что на отдыхающих преобладают купальные костюмы черных (темных) цветов, а также в широкую горизонтальную черно-белую полоску. Неотъемлемый летний атрибут пляжного отдыха – головной убор, представлен так: у женщин это косынки светлых расцветок, а у мужчин голову от солнечных лучей в основном прикрывают белые кепки. Частично разобраться в цветах курортных объектов и одежды лузановских пляжников помогает этюд

А. Мартинова, написанный им с натуры в конце 1920-х годов и позже изданный в формате цветной открытки совместно двумя издательствами – московским «Геокартпромом» и харьковским «Контрагентством друку». На миниатюрном изображении можно увидеть, что кабинки для переодевания выкрашены в сочный зеленый цвет, а стоящие повсюду ящики для мусора окрашены в светло-серый цвет, причем на боковых стенках ящиков нанесены черной краской трафаретные пояснительные надписи: «ящик для мусора». Большинство купальных костюмов на пляжниках темно-синих цветов, а покрывающие женские головы косынки пестрят белыми, желтыми и красными расцветками.

Все эти люди, запечатленные на фотооткрытках 20-х годов, были свидетелями основания еще одного курортообразующего проекта Лузановки – закладки на песчаном пустыре нового парка, получившего название Лузановский.[42] 26 апреля 1926 года была начата планировка пляжа и приморского бульвара с парком, а уже в июне и июле этого же года началась летняя посадка первых деревьев. Процесс посадки деревьев сопровождали научно-изыскательные работы, призванные учесть все особенности грунта Пересыпской низменности и приморской солончаковой и солонцеватой территории. Поэтому помимо перепачканных рабочих с лопатами в руках здесь, к удивлению отдыхающих Лузановского пляжа, появлялись научные комиссии в составе профессоров И.Я. Точидловского, А.И. Кортацци, А.В. Бертенсона, А.А. Бычихина, Г.И. Танфильева, Г.А. Бурьячека и других.[43] Создателям парка, действовавшим экспериментальным путем, предстояло, прежде всего, дать ответы на массу практических вопросов, связанных с местными природными особенностями: как на развитии растений отразятся морские туманы и соленые брызги? Как отнесутся корни к соленой подпочвенной воде и глубокой промерзаемости почвы? Какие необходимо провести мероприятия, для того чтобы насаждения не просто принялись, но были бы долговечны и не вываливались на корню во время бури? Каким способом защитить от ветров открытую местность? А учитывая, что сортов деревьев было достаточно много, то все заданные вопросы умножались на количество видов саженцев. Да и сама работа по посадке первых саженцев была

достаточно трудоемкая и со стороны больше напоминала процесс совершения некоего таинственного ритуала: для каждого деревца посадочная ямка выстилалась слоем глины толщиной в 8-10 сантиметров, образовывающего подземный «вазон», а затем, уже в этот сформированный глиняный «горшочек», закладывался чернозем, удобренный навозом.[44] Ученые считали, что только при использовании такого метода саженцы могли прижиться на солончаковых песках. И действительно, кропотливый труд десятков людей спустя три года после первых посадок уже начал приносить ощутимые результаты. Посадка, произведенная в июне и июле 1926 года, принялась на 98%, и «считается прецедентною, и в Одессе произведена впервые». Нисколько не умаляя большой труд десятков ученых и рабочих, стоило бы напомнить, что первая посадка 20 тысяч деревьев на Пересыпи была произведена осенью 1831 года по инициативе одесского градоначальника Алексея Ираклиевича Левшина. Но в то же время, возможно, что под прецедентной посадкой 1926 года подразумевалась первая посадка деревьев на более соленом грунте именно Куяльницкой пересыпи, тогда этот факт в полной мере соответствует действительности, и специалистам следовало бы просто акцентировать заявленную в публикации первичность именно в такой сравнительной исторической последовательности.

Заслуживает внимания и внедренная в 1926 году в Лузановском парке система защиты основных групп растений, для которой применялись защитные насаждения двух видов – «краевые» и «внутренние». К краевым относились т. н. живые изгороди, высаженные по краям дорог, а со стороны пляжа дополнительно еще и закрепленные обсадкой песчаного камыша (элимуса), растущего в диком состоянии на берегу моря. Защитные насаждения внутри парка, как их еще называли, «внутренние», сначала подсаживались к основным деревцам, а затем, когда приживались и крепли основные, временные удалялись. Укреплению в целом способствовало и создание на песках парка засухоустойчивых травников, в которых с дальновидным расчетом были применены местные дикорастущие растения: клевер желтый, птичья гречиха, люпин, люцерна.

Проведенная работа, растянувшаяся на шесть лет и давшая в итоге хорошие результаты в виде зеленеющего молодого парка площадью в 225 гектаров, по своему опыту ведения паркого хозяйства на приморских солончаковых песках была одобрена на самом высоком уровне, а именно – Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева в лице академика В.Г. Вильямса и Академией наук в Ленинграде в лице Прасолова.[45] В целом же за шесть лет было высажено свыше 100000 насаждений различных видов, из них наиболее солевыносливыми оказались такие сорта: маслина дикая, золотистая смородина, чумак, гледичия, платан, софора, железняк, тамарикс, тополь канадский и белый, берест и белая акация. Некоторые из этих сортов, как мы можем убедиться лично, благополучно растут в парке и сегодня, спасая нас от лучей знойного солнца. В отличие от успешно прижившихся и с годами разросшихся деревьев, практически полностью утрачены архитектурные элементы паркового благоустройства 1920-х годов. Хотя еще лет тридцать назад в парке можно было увидеть оригинальные клумбы цветников, изготовленных в виде стилизованных под античность гипсовых чаш и установленных на постаментах каменной изгороди. Теперь остается только напомнить, что закладка цветников парка также сопровождалась кропотливой работой специалистов и рабочих. Достаточно сказать, что в первые годы существования цветников они подвергались систематическому разрыхлению, чтобы не образовывалась цементирующая соленая корка, а ежедневная строго дозированная летняя поливка осуществлялась для предотвращения возможного выноса солей на дневную поверхность.

Следующим значительным шагом в развитии курорта стало проведение в Лузановку в 1927 году трамвайного маршрута, получившего порядковый номер 9. Маршрут трамвая начинался в центре города на площади Мартыновского, проходил по улицам 10-летия Красной армии, Короленко, Нарышкинскому спуску и поворачивал на улицу Краснова (Московскую), и далее шел по Николаевской дороге до конечной остановки в Лузановке.[46] Но то ли жители города относились с опаской к малознакомой и полудикой местности, то ли их смущало дальнее расстояние, которое требовалось проехать, чтобы добраться в пригород

и вернуться потом обратно, что-то вынудило электротрамвайный комбинат для привлечения сюда отдыхающих в 1927 году ввести льготный тариф, действовавший с 18 мая по 15 сентября. Льгота предоставлялась только тем пассажирам, которые ехали по этой линии вплоть до Лузановки. Согласно установленным скидкам, пассажиры, следовавшие с конечной до Лузановки, платили 20 копеек вместо 25; от Пересыпского моста – 15 копеек вместо 20; от Госскотобоен – 10 копеек вместо 15.[47]

Но даже тех граждан, кто, воспользовавшись предложенной льготой, решил впервые приехать сюда, ожидал на месте непредвиденный сюрприз – полное отсутствие жилья для отдыха и ночлега. В первую очередь это, конечно, касалось прибывших из других городов родственников детей, находившихся в лагере. Проблема обрела такую важность, что ее обсуждение попало даже на первые полосы одесских газет. Так, 17 апреля 1928 года «Вечерние известия» писали: «В Лузановке жилищного фонда, где могли бы поселиться частные лица, нет. Вот почему многие из тех, чьи дети лечатся на Лузановском курорте, обычно нанимают комнаты для жилья в селе Крыжановка либо на Сортировочной».[48] По расстоянию Крыжановка была ближе к Лузановке, и от нее к лагерю можно было пешком дойти за 15-20 минут, поэтому приезжие предпочитали искать комнаты именно в этом населенном пункте. Возникший спрос породил поднятие цен на комнаты, что, в свою очередь, не осталось не замеченным газетчиками, которые подвергли публичной критике крыжановских нэпманов: «В позапрошлом году в Крыжановке за комнату селяне просили всего 10, максимум 15 рублей в месяц. В этом году крыжановцы «взялись за ум» и требуют за маломальски сносную комнату 150-200 рублей за сезон. Эта дороговизна вынудила большинство приезжих в 1928 году снимать дешевые комнаты на Сортировочной и на Николаевской дороге».[49] Нужно напомнить, что это были годы нэпа (новой экономической политики. – **О. С.**), поэтому относительно свободно в источниках прослеживаются коммерческие взаимоотношения в советском обществе: аренда объектов разных форм собственности, обсуждение привлечения частного капитала для активизации застройки Лузановки и т. п. На рубеже 1920-30 гг. советское

правительство свернуло нэп, а заодно и отобрало у организации Красного Креста все лечебные заведения в СССР.

Когда шаг за шагом погружаешься в исторические процессы становления Лузановки как курорта в первые годы советской власти, не покидает чувство того, что как будто все эти слаженные действия происходят по кем-то заранее написанному сценарию. Как выяснилось, в этом предположении была своя доля истины. Оказалось, что старт развитию побережья как курорта был дан еще в начале XX столетия владельцем этих земель – Михаилом Фомичом Лузановым. Тогда группа одесских предпринимателей, объединившихся в акционерное общество, купила у владельца его поместье с целью постройки здесь курорта.[50] Но начавшаяся мировая война, а затем и Гражданская, разрушили планы одесских купцов.

Невероятно, но даже во время Гражданской войны тема постройки курорта получила неожиданное продолжение. То ли оттого, что детали проекта создания курорта стали известны квартировавшим здесь немцам, то ли просто оттого, что сама местность сильно очаровала оккупантов, но что-то подтолкнуло их пойти на рискованный шаг. И в то время, когда в округе еще вовсю свистели пули, а человеческую плоть рубили в сабельных стычках, одна немецкая компания внесла свое предложение, чтобы ей продали этот маленький кусочек земли с прибрежной полосой. Но сделка не состоялась, потому что, как впоследствии с ехидной иронией написали в местной газете, «оккупантам стало не до сделок».[51]

Гражданская война и сопровождавшие ее террор и насилие к определенным слоям общества вынудили Михаила Фомича Лузанова с семьей, подобно тысячам других соотечественников, навсегда покинуть родину и закончить свой земной путь на давшей ему приют земле Югославии. А здесь, на родной земле, словно сиротой при живых родителях осталась жить фамилия, у которой в это же время только начиналась уже своя, отдельная, многолетняя топонимическая жизнь.

В начале 1920-х годов Лузановка впервые обрела статус административной единицы (самостоятельного населенного пункта) в новообразованной Одесской губернии. Появление

нового населенного пункта рождало в первое время путаницу с его административным определением. Так, в справочнике 1925 года Лузановка указана одновременно и как «деревня Лузановка», и как «хутор Лузановка».[52] За первые несколько лет существования советской власти название Лузановка, несущее в себе фамилию дворянского рода, сумело так плотно укорениться в местном обиходе и официальном употреблении, что легко пережило первую волну массовых переименований, не оставивших и следа на топонимической карте Одессы от многих дореволюционных названий. С периодом активной идеологической борьбы с топонимическим наследием «старого мира» связаны и определенные пропагандистские курьезы, попадавшие даже на страницы газет. Например, 21 августа 1929 года в одесской газете «Вечерние известия» анонимный автор, вспоминая прежнего владельца этих мест, с ядовитым укором писал: «…Но было время, когда вся эта прекрасная местность с очаровательным пляжем, ровным морским дном, с безоблачно голубым небом принадлежала одному лицу – помещику Лузанову (Михаилу Фомичу. – **О. С.**). Это был типичный «земский деятель», распинавшийся раз в год на земских собраниях….».[53] И тут же в тексте автор уже в восторженном стиле пишет о «благоустройстве Лузановки», словно не замечая, что прославляет название местности, буква в букву, подобно ветхозаветному «плоть от плоти», рожденное как раз от фамилии недавнего владельца всей этой земли, причисленного советской властью к своим классовым врагам. Такое противоречивое положение имен в местной топонимике продолжилось и в дальнейшем, особенно когда на этой местности рядом с господствовавшим топонимом Лузановка внезапно возникла фамилия Котовского, тем самым словно столкнув на небольшом участке территории не просто две исторические фамилии, а два противоположных друг другу мира.

Г.И. Котовский ворвался в топонимику этой тихой местности лихим кавалерийским маршем в буквальном смысле слова. Его первое известное появление здесь было связано со стремительным вхождением в Одессу 7 февраля 1920 года.[54] На этом факте в советский период делался главный акцент при увековечении

события как решающего в победе и окончательном установлении советской власти в Одессе. Однако его жена Ольга Котовская в своих воспоминаниях, изданных в 1958 году в Кишиневе мизерным тиражом, всего 3 тысячи экземпляров, поделилась настроениями, царившими в кавалерийской бригаде накануне этого наступления. В Березовке при обсуждении предстоящего марш-броска, прежде всего, внимание бойцов акцентировалось на том, что захват Одессы служит лишь промежуточным звеном в дальнейшем наступлении. Бойцы откровенно говорили: «Ведь Одесса – это ворота, через которые мы пойдем освобождать родную Бессарабию».[55]

Как бы там ни было, но успешное вступление конницы Котовского в Одессу с северо-востока в начале февраля 1920 года действительно принесло победу советской власти в Одессе и стало достаточным основанием, для того чтобы впоследствии увековечить имя комбрига (командир бригады. – **О. С.**) в этой местности, назвав Николаевскую дорогу дорогой Котовского. И так совпало, что пять лет спустя, в 1925 году, Григорий Котовский снова оказался в этой местности, задержавшись здесь всего на несколько часов. И по роковому стечению обстоятельств, это недолгое пребывание в Лузановке стало для комкора (с 1922 г. – командир корпуса. – **О. С.)** последним официальным событием в его жизни. Описание известной части самого события уместилось в воспоминаниях Ольги Котовской в одном предложении: «5 августа Котовский был на костре в Лузановском пионерском лагере и вернулся (в Чабанку. – **О. С.**) около 9 часов вечера».[56] Место, где Котовский встречался с пионерами, впоследствии было увековечено мраморной плитой с вырезанной надписью в одиннадцать строк и закрепленной на фасаде старинного домика, стоящего слева от главного въезда в бывшее имение Лузановых.

На самом деле никто, кроме жены Ольги, даже не догадывался, что эта встреча с пионерами в Лузановском лагере оставила у комбрига тяжелый осадок. Только спустя многие годы Ольга Петровна откровенно призналась, что Котовский после этой встречи вернулся сильно утомленным. Дело в том, что беспечные и любознательные пионеры просили подробно рассказать

Домик в имении Лузановых. Место встречи Г.И. Котовского с пионерами 5 августа 1925 года. Фото О. Сивирина. 2014 г.

о Гражданской войне, в частности, «о ликвидации банды Антонова», а это, по словам Ольги, всегда значило для Котовского «вновь пережить большое нервное напряжение».[57]

Но незаживающая психическая травма, оставшаяся от участия в братоубийственном противостоянии и умело скрываемая от окружающих, была не единственной причиной, которая вызывала беспокойство у его жены в те дни. Рядом с мужем на отдыхе в военном совхозе в Чабанке ей было совсем не до покоя. Все пугало ее в Чабанке: глухое безлюдное место, густые заросли сада и даже удаленность домика, где она поселилась с мужем, от общего дома отдыха. Одна из причин тревожных мыслей была связана с недавними событиями, когда ГПУ задержало несколько диверсионных групп, планировавших ликвидировать Котовского в Умани. Находясь в постоянном напряжении, Ольга как могла

оберегала отдых мужа. Для безопасности она прикормила шаставших в округе совхозных собак и даже достала на всякий случай ручной пулемет. Когда Котовский ложился спасть, а спал он на веранде, Ольга садилась у окна и вслушивалась в звенящую тишину южной ночи. Тревожное предчувствие не обмануло женскую интуицию: как известно, в ночь с 5 на 6 августа Котовский был застрелен в Чабанке начальником охраны одного из курируемых комкором сахарных заводов.[58]

Так события того беспокойного времени оставили в наследство описываемой местности два исторических факта, связанные с пребыванием здесь Г.И. Котовского в 1920 и 1925 гг. Первый прямо, а второй косвенно предопределили на многие годы топонимическую судьбу местности, обрекая ее на участь присвоения всем значительным объектам в округе фамилии комбрига. Такая канонизация одной личности в одном месте иногда приводила и к совершенно курьезным моментам, например, когда еще лет тридцать назад мы на определенном отрезке пути оказывались в перманентном состоянии, будто взятыми в «топонимический плен» красным комкором, когда ехали по дороге имени Котовского на поселок имени Котовского мимо парка имени Котовского.

В период массовой десоветизации в 1990-е годы с карты Суворовского района Одессы официально исчезла фамилия Котовского: сначала дороге вернули историческое название – Николаевская, а затем и парк обрел свое первоначальное имя – Лузановский.

Рассказ о «фундаментальном» наследии фамилии Котовского в этой местности будет неполным, если не вспомнить, что в советский период на центральной клумбе парка имени Котовского в Лузановке какое-то время возвышался и гипсовый бюст Г.И. Котовского. Его судьба растворилась в местных политических заварухах конца 80-х годов, но мало кто знает, что за данным бюстом тянулась своя эпопея перемещений. Сразу после создания и установки могучего, как сам Котовский, гипсового изваяния в него словно вселился и беспокойный характер комбрига, двигая гипсовый образ вдоль дороги Котовского с одного места на другое. По не подтвержденным пока данным, первым местом, где был установлен бюст Котовского, была площадка в нача-

ле дороги Котовского – в районе улицы 7-й Пересыпской. Через какое-то время бюст переместили к центральным воротам завода «Продмаш». Этот факт подтверждает множество лиц, в первую очередь из числа жителей домов, расположенных в районе вышеназванного завода. И только потом бюст оказался уже в парке в Лузановке. В то время были еще живы многие котовцы – бывшие бойцы бригады Котовского, частным образом продолжавшие чтить память о своем командире. Среди семей старожилов, живущих в домах, расположенных в районе завода «Продмаш», до сих пор живет в памяти, например, такой «подсмотренный» кем-то любопытный эпизод, больше напоминающий, учитывая советскую героическую биографию главного фигуранта, финальную сцену некоего эпического полотна. Однажды к бюсту Котовского, стоявшему возле входа на завод, пришел пожилой человек и, поставив сапоги к подножью памятника, произнес фразу: «Здравствуй, Котовский, прибыл Кожуховский, принес тебе пару сапог!..».[59] Сапоги простояли у постамента несколько дней, а затем, как водится «в наших краях», их просто кто-то забрал. Что скрывалось за таинственным ритуалом возложения к каменному образу Котовского культового предмета кавалерийского обмундирования, так и осталось загадкой.

На фоне такого тотального увековечивания личности советского военного и политического деятеля на ограниченном пространстве вполне логично (и в духе времени) было бы предположить, что вскоре должен был померкнуть и вовсе исчезнуть с карты города топоним Лузановка, хранивший в себе память о фамилии землевладельцев дворянского происхождения. Но в этом, возможно, кроется определенная загадка, как удалось сохраниться фамилии, представители которой по своему сословному происхождению попадали по всем пунктам в социально враждебные советской власти классы (в роду Лузановых были судьи, помещики, генералы. – **О. С.**). И более того, еще и находиться долгий период в окружении фамилий красных командиров, коммунистических деятелей и номерных «переулков-отчеств» самого вождя мирового пролетариата (1-й и 2-й Ильичевские пер. – **О. С.**).

Вот как о подходе к переименованию улиц в Одессе в контексте советского времени писали в 1967 году авторы книги «Улицы

рассказывают»: «…Так произошло и со многими названиями улиц, рожденными в дореволюционное время. Из них выжили и получили постоянную прописку в советской Одессе только те, которые отвечают основным требованиям топонимики нового мира. Современные названия одесских улиц шаг за шагом восстанавливают путь, пройденный городом, революционную борьбу трудящихся Одессы, победу социалистической революции и все этапы славной полувековой истории советской власти».[60]

Возможно, одной из причин неуязвимости топонима Лузановка стало то, что местные авторы в своих трудах не особо афишировали корни его происхождения или вовсе обходили своим вниманием, словно соблюдая кровный «обет молчания», свято храня от недругов старую семейную тайну. Примером такого «красноречивого» замалчивания может служить даже вышеупомянутая интересная и содержательная, выдержавшая целых шесть изданий книга «Улицы рассказывают». Ее авторы по какой-то причине совсем обошли вниманием Лузановку. Причем и как популярное место отдыха горожан и гостей города, и просто как новый жилой район. К своему удивлению, вы не найдете о Лузановке решительно ничего ни в одном из шести изданий этой популярной книги, выходившей с 1960-х по 1970-е гг. Этот информационный пробел особенно контрастно чувствуется на фоне того, что на страницах всех шести изданий книги подробно и интересно описаны все другие ближайшие окрестности Одессы – Жевахова и Шкодова горы, Куяльницкий и Хаджибейский лиманы, а также другие городские пляжи – Аркадия и Отрада.[61]

И в этой связи особенно стоит подчеркнуть, что попытки убрать топоним Лузановка, оказывается, предпринимались даже спустя сорок лет после установления советской власти. Следы одной из таких инициатив неожиданно обнаружились на страницах одесского справочника 1957 года издания, в приложении которого в разделе информационных объявлений приезжего туриста и жителя города ставили в известность, что морские катера теперь приходят в Котовск, и в скобках (наверное, чтобы никто не «заблудился»), добавлено как дополнительный ориентир – «бывш. Лузановка».[62] Здесь же в точно такой же форме подана информация о «парке Котовского» как бывшем Лузановском.[63] Анало-

гичным способом в эти годы идея переименования навязывалась населению и в периодической печати. Например, 6 апреля 1956 года газета «Знамя коммунизма» информировала население о закрытии свалки строительного и бытового мусора в районе парка имени Котовского, в скобках уточняя место: «бывш. Лузановка».[64] Но по неизвестным причинам в партийных кабинетах городского руководства произошла определенная закулисная корректировка, отменившая уже «засвеченное» в печати решение о переименовании Лузановки в Котовск, что как прямое отступление от принятого идеологического решения можно смело отнести к довольно редким фактам для советского периода. Но сама идея присвоения имени Г.И. Котовского населенному пункту, как оказалось, тоже получила свое продолжение, но уже в другом месте: через несколько лет именем Котовского был назван новый поселок, основанный в полутора километрах севернее Лузановки.

Даже сегодня, спустя многие годы, когда читаешь строки о неуклюжей попытке вытравить историческое название, они воспринимаются в достаточной степени абсурдно, особенно если учесть, что к тому времени уже мало кто из обитавших здесь жителей, в большей части приехавших из разных сельских районов и областей, знал о корнях происхождения топонима Лузановка. Более того, ко времени издания справочника топоним Лузановка как место всесоюзного отдыха стал основательно укоренившимся названием среди населения и, как сказали бы сейчас, обрел статус узнаваемого «коммерческого бренда», массово растиражированного в информационном пространстве не только Одессы, но и всего СССР. За примерами можно обратиться к бытовому пространству жизни города пятидесятилетней давности. Оказавшись, например, в кондитерском магазине, на полках каждый мог увидеть в продаже печенье в жестяной коробке, крышку которой украшало красочное изображение кассового павильона с реющим на крыше красным флагом и большой фасадной надписью «Лузанівка». Попавший при оформлении упаковки на крышку кассовый павильон являлся новой совершенно постройкой, возведенной в 1950-е годы по проекту архитектора Л.М. Артемовой.[65] В это же время посетивших гостиницу или остановившихся у витрины газетного ларька одесситов и гостей города встречала

на витринах печатная продукция с неизменным названием одесского курорта. Прежде всего, это известная серия черно-белых фотооткрыток с видами Лузановки, изданных в 1957 году киевским трестом «Укрфото». На двух открытках изображены кассовый павильон и общий вид Лузановского пляжа, заполненного отдыхающими. Еще один печатный экземпляр – буклет-путеводитель «Одесса. Лузановка» – заслуживает особого внимания, так как и по качеству полиграфии, и по изложению материала был образцом сувенирной продукции. Достаточно сказать, что издан буклет был в «экспортном варианте», и весь текст в нем помимо русского дублировался еще на французском, немецком и английском языках, словно зазывая «весь мир» посетить Лузановку.[66]

Оставалось неизменным в 1950-х годах и название конечной остановки для пассажиров трамвая № 9 и рейсового автобуса, о чем, кстати, (видимо, по недосмотру редакторов) без изменений сообщает и вышеуказанный справочник.[67]

С 1956 года не только на приморской земле, но и в небе зазвучало имя Лузановка, когда, рассекая прозрачный летний небосвод, из Одессы в Лузановку стали регулярно летать винтокрылые машины. Полеты совершались по выходным дням по маршруту «Аэропорт – Лузановка». Информационное сообщение в газете «Знамя коммунизма», воспринимаемое сегодня не иначе как представление почти фантастического проекта, побудничному просто приглашало служащих и трудящихся летать на пассажирском самолете по воскресным дням в Лузановку, попутно любуясь в полете изумительными видами летнего города. Стоимость незабываемого полета в один конец составляла 15 рублей. Первый вылет из аэропорта осуществлялся в девять часов утра, последний самолет из Лузановки взлетал на закате дня – в восемь часов вечера.[68]

Таким образом, названию Лузановка удалось самостоятельно выстоять в последней закулисной идеологической схватке за право своего существования на карте Одессы, и более того, уже окончательно закрепиться в начавшемся строительстве нового жилого одноименного поселка. В 1956-57 гг. в Лузановке были построены первые девять двухэтажных домов для рабочих завода ЗОР[69] (завод им. Октябрьской революции. – **О. С.**). Одновременно

с основанием нового поселка была полностью заасфальтирована дорога от Пересыпского моста до Лузановки, общей площадью 40 тысяч квадратных метров.[70] По этой дороге сразу был пущен и новый автобусный маршрут (площадь Мартыновского – Лузановка. – **О. С.**), обслуживаемый новыми автобусами марки «ЛАЗ». С 1957 года между Одессой и курортным предместьем Лузановка было организовано сообщение морским транспортом – «морским трамваем».[71]

В 1964 году еще сотни счастливых семей стали обладателями новых квартир в Лузановке, когда по проекту архитектора М.Х. Куткиной здесь были возведены несколько новых жилых домов и детский сад для детей рабочих ЗОРа, а в 1972 году по ее же проекту был построен еще один многоквартирный дом – общежитие для рабочих ЗОРа.[72] Интенсивная застройка Лузановки продолжилась в 1970-1980-е гг. В это время здесь появился ряд пяти- и девятиэтажных домов, в частности, в 1980-е годы по проекту архитектора В.М. Шарова в Лузановке были выстроены несколько девятиэтажных домов для производственного объединения «Почвомаш».[73]

Строительство на песчано-болотном пустыре нового поселка и его интенсивное заселение также повлекло за собой административное разграничение некогда единого обширного пространства, объединенного общим названием Лузановка. С 1960-х годов Лузановкой стал называться исключительно новый жилой микрорайон с прилегающим пляжем, а с территории пионерского лагеря (где, собственно, впервые в 1920-е годы и родилось новое название), напротив, постепенно уходило упоминание топонима Лузановка. Но название так укоренилось на старом месте, что еще в 1950-е годы местность, где расположен пионерский лагерь, продолжали называть «лагерь на Лузановке».[74]

В 1956 году пионерский лагерь «Украинский Артек» подвергся третьему в своей истории переименованию и получил новое название в честь героев-краснодонцев – «Молодая гвардия».[75] Со временем это название в обиходе распространилось на все объекты, расположенные на прилегающей местности, от названия остановок общественного транспорта до топографического обозначения частных домов в этом районе. В 1970-е годы

на территории пионерского лагеря развернулось масштабное строительство новых сооружений. На прибрежных склонах по проектам архитекторов А.Я. Поварчука и А.Н. Дьяченко были построены летние корпуса «Морской» и «Звездный».[76] Тогда же к северу от корпуса «Звездный» по проекту ленинградских архитекторов построили здание школы.

Лузановка стала жить своей размеренной жизнью – жилого микрорайона и замечательного курорта, славившегося на весь Советский Союз. Лузановский пляж уже в 1950-е годы был известен своей развитой сферой обслуживания отдыхающих. Пляж имел свой график работы, согласно которому был открыт для отдыхающих с девяти часов утра до девяти часов вечера. Попасть сюда можно было четырьмя видами транспорта: приехать по суше на трамвае и автобусе, приплыть по морю на катере и даже прилететь на самолете. На пляже предоставлялся большой перечень услуг. Здесь можно было взять напрокат весь сопутствующий отдыху инвентарь и имущество, начиная от «лодок для катания» и раскладных кресел и заканчивая простынями и полотенцами. Не нуждались в особой рекламе такие новые пляжные объекты, как кабинки с пресным душем и обновленные кабинки для переодевания. Практически в любой точке пляжа можно было утолить жажду из многочисленных питьевых колонок-фонтанчиков, а также взвеситься на медицинских весах и измерить свой рост на ростомере. Сильно утомленных солнцем отдыхающих ждало укрытие на их выбор: в лозовых кабинках или на скамейках под грибками, в тени которых можно было спокойно почитать приобретенные здесь же в киосках журналы и газеты. А все те, кто предпочитал занять свое время более осмысленными или интеллектуальными видами отдыха, могли сыграть на пляже в разные игры, от шахмат и шашек до настольного бильярда.[77] Не остались обойдены вниманием и совсем юные отдыхающие: в 1957 году в Лузановке «для отдыха и оздоровления малышей» открыли специализированный детский пляж, благоустроенный грибками, качелями и скамейками.[78]

Главной особенностью Лузановского пляжа, выгодно отличающей его от всех других пляжей Одессы, являлось его уникальное природное расположение. Примыкающий к пляжу парк

и естественная близость степи создавали в теплое время года особую целебную атмосферу для отдыха – здесь в одном месте смешивались морской ионизированный воздух со степным, напоенным ароматом трав и цветов.[79] К природному происхождению относится и вся песчаная площадь пляжа, бывшая когда-то морским дном, и от этого сохранившая плавный переход с высохшего несколько столетий назад берегового участка в такое же гладкое и неглубокое морское дно. Неизменными несколько десятилетий оставались и размеры песчаной полосы Лузановского пляжа, растянувшейся на полтора километра в длину и на сто метров в ширину с общей площадью 328000 квадратных метров. По всей прилегающей к песчаному пляжу территории продолжала развиваться и совершенствоваться инфраструктура, включавшая в себя и сферу обслуживания. В 1970-е годы услуги общественного питания кроме кафе и многочисленных выносных лотков теперь предлагали ресторан «Взморье» и столовая. Развлечения обогатились теннисными площадками, большим бильярдом, тиром и павильоном игровых автоматов, а также прокатом лодок для морских прогулок и рыбной ловли. Добавился большой ассортимент детских аттракционов с качелями и каруселями. Безопасность отдыха стали обеспечивать спасательная станция, медицинский пункт и милицейский пост, а песок кроме уборщиков дополнительно стали очищать с помощью специальных машин. В начале 1980-х годов неумолимая статистика сообщала, что в курортный сезон Лузановку ежедневно посещает свыше 70 тысяч человек.[80] Без сомнения, многие из читателей во время прочтения данного текста также успели найти себя в «солнечной статистике» прошлого и настоящего Лузановского пляжа.

Время все расставило по своим местам. Рожденный в бурные военные годы по формальным обстоятельствам топоним с годами обрел смысл в своем естественном значении – фактическом увековеченье памяти фамилии семьи дворянского рода, владевшей более века данной землей. Судьба, к счастью, распорядилась так, что несмотря на все перенесенные невзгоды, род Лузановых не прервался, и сегодня потомки знатной фамилии проживают в Германии. А местность под названием Лузановка, давно ставшая

Олег Олегович Лузанов (de Lousanoff) на земле своих предков на фоне Одесского залива
Фото О. Сивирина. 2013 г.

полюбившимся местом отдыха для многих тысяч людей, сама по себе уже превратилось в имя нарицательное: мы говорим Лузановка, а подразумеваем – лето, солнце и море. Теперь название наполнилось еще и своим истинным историческим содержанием, и от этого даже наш будничный путь, пролегающий сегодня через Лузановку, стал гораздо интересней, а «лузановское солнце» стало только ярче и теплее.

Примечания

[29] Штейнванд Г. Коротке звідомлення про розвідку з розкопуваннями в Лузанівці біля Одеси р. 1929 // Вісник Одеської комісії краєзнавства. – Одеса, 1930. Ч. 4-5. Секція археологічна. – С. 135-140; Там же, см.: планы № 1 и 2.

[30] Там же, с. 135.

[31] Маневры под Одессой. / Шквал. – 1928, № 41.

[32] Козачинский А. Зеленый фургон: повесть, рассказы. – Ростов-на Дону, 1986, с. 40.

[33] Строительство Лузановки. / Вечерние Известия. – 1927, 18 апреля.

[34] Тимофеенко И.Т. Одесса. Архитектурно-исторически очерк. Издание 2-е стереотипное. – Киев: «Будівельник», 1984, с. 74.

[35] Пустовойтенко Н. По местам боевой славы. (Путеводитель). – Одесса: «Маяк», 1976, с. 44.

[36] Суховей А.Д., Суховей Л.Н. Оборона Одессы, 1941. 54-й имени Степана Разина стрелковый полк. – Одесса, 2009, с. 13.

[37] Лузановка строится. / Вечерние известия. – 1928, 23 мая.

[38] Там же.

[39] В солнечном лагере. / Шквал. – 1928, № 23.

[40] Там же.

[41] Строительство Лузановки. / Вечерние известия. – 1927, 18 апреля.

[42] Штраус А.Я. Курортный парк «Лузановка» в Одессе. – Указ. издание, с. 79.

[43] Там же, с. 81.

[44] Там же, с. 83, 84.

[45] Там же, с. 81.

[46] Довідник: Вся Одеса на 1930 рік. / Провідник у місті й на курортах та медичний покажчик. Додатки. – Одеса: Вид. «Чорноморської комуни», 1929, с. 95-96.

[47] Льготный проезд по Лузановской линии. / Вечерние известия. – 1927, 17 мая.

[48] С блокнотом по дачам. / Вечерние известия. – 1928, 17 апреля.

[49] Там же.

[50] Одесса. Лузановка. / Odessa. Luzanovka. Информационный буклет-путеводитель… Указ. издание.

[51] Лузановка. Кое-что из прошлого… Указ. издание.

[52] Вся Одесса и Одесская губерния. Адресная и справочная книга на 1925 год. – Одесса. – С. 207; Там же: Список пригородных местностей, приписанных к милицейским районам города Одессы. – С. 344.

[53] Лузановка. Кое-что из прошлого… Указ. издание.

[54] История городов и сел Украинской ССР: Т. Одесская область. – Киев: Гл. ред. УСЭ, 1978, с. 122.

[55] Котовская О. Верный сын советского народа. Воспоминания. – Кишинев, 1958, с. 13.

[56] Там же, с. 50.

[57] Там же.

[58] Там же.

[59] Личный архив: воспоминания А. Яворского.

[60] Саркисьян К., Ставницер М. Улицы рассказывают. Издание второе. – Одесса, 1968, с. 43.

[61] Там же, с. 80-89, 94-102; См. также: Саркисьян К., Ставницер М. Улицы рассказывают. Издание 6-е. – Одесса: «Маяк», 1979, с. 75-80, 84-90.

[62] Одесса: справочник. – Одесса: Одесск. обл. изд., 1957. См: объявления (лист 5, с. 255).

[63] Там же.

[64] Знамя коммунизма. – 1956, 6 апреля, № 125.

[65] Пилявский В. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Справочник. Второе издание. – Одесса: «Optimum», 2010, с. 68.

[66] Одесса. Лузановка / Odessa. Luzanovka. Буклет. Указ. издание.

[67] Одесса: справочник… Указ. издание, с. 243, 244.

[68] Знамя коммунизма. – 1956, 16 июня, № 118.

[69] Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957, с. 307.

[70] Там же, с. 309.

[71] Там же, с. 298.

[72] Пилявский В. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие… Указ. издание, с. 68.

[73] Тимофеенко И.Т. Одесса: архитектурно-исторический очерк. – Указ. издание, с. 112.

[74] Чорноморська комуна. – 1956, 29 травня, № 106.

[75] Там же.

[76] Тимофеенко И.Т. Одесса: архитектурно-исторический очерк. – Указ. издание, с. 129-130.

[77] Одесса: справочник… Указ. издание. – См: 2-й форзац – рекламное сообщение.

[78] Знамя коммунизма. – 1957, 24 июня, № 145.

[79] Курорты Одессы. Справочник. – Одесса: «Маяк», 1976, с. 51-52.

[80] Кузьмин А.С. Пляжи Одессы: фотоочерк. – Одесса: «Маяк», 1983, с. 56-57.

Евгений Деменок

Одесские годы Михаила Васнецова

О.В. Полетаева. Портрет Михаила Васнецова. Прага. 1944

У автора известных всем «Богатырей» и «Аленушки», великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова было пятеро детей. Судьба их складывалась по-разному, но все они похоронены вместе с отцом на Введенском кладбище в Москве. Все, кроме одного – Михаила Викторовича, чей прах покоится на Ольшанском кладбище в Праге.

Но еще до эмиграции – Галлиполи, Софии, Праги – Михаил Васнецов почти семь лет, с 1913 по 1920-й, провел в Одессе. Здесь у него родился сын Виктор, и знаменитый дедушка приезжал из Москвы крестить своего внука.

Биография Михаила Васнецова, ученого-астронома, ставшего уже в чехословацкой эмиграции священником, протоиереем, настоятелем Свято-Никольской церкви, воистину удивительна. В его жизни были события радостные и трагичные, судьба была к нему и жестока, и благосклонна. Но единым стержнем, который позволял ему преодолеть все трудности, была вера в Бога и Его провидение.

Ранние годы

В последние несколько лет об отце Михаиле Васнецове довольно много пишут. Однако в его биографии по-прежнему остаются лакуны, неизвестные эпизоды, связанные, в первую очередь, с допражским периодом. Меня как одессита в первую очередь заинтересовали его одесские годы, и после нескольких лет поисков мне удалось обнаружить ряд архивных материалов, касающихся как раз одесского периода жизни семьи Васнецовых.

Но – обо всем по порядку. Михаил Викторович Васнецов родился 14 октября 1884 года в Москве. В следующем году вся семья Васнецовых переехала в Киев, где прожила шесть лет, – Виктор Михайлович принимал участие в росписи стен и алтаря Владимирского собора. Младенец Христос, которого Богоматерь несет к молящимся на главной фреске алтаря собора, написан Васнецовым как раз с полугодовалого Миши. Художник Михаил Нестеров вспоминал о своем друге Викторе Васнецове: «Миша, его любимец, встречается в картинах Виктора Михайловича во всех серафимах и херувимах». Кто знает – возможно, это повлияло на судьбу сына… Все отмечали незлобивость, чуткость и скромность до стеснительности маленького Миши.

После Киева вся семья вернулась в московский дом Васнецовых и в Абрамцево, и маленький Миша сразу попал в уникальную атмосферу творчества, где декорации для постановок домашнего театра писали Серов, Поленов и сам Васнецов, а художественно-литературные и музыкальные вечера были привычными событиями. Там Михаил окончил с золотой медалью гимназию, там заинтересовался и полюбил астрономию – в Абрамцеве отец купил ему телескоп, и он впервые наблюдал и звездное небо, и солнечные пятна.

Увлечение со временем станет профессией – после окончания Московского университета по специальности «астрономия» Михаил Васнецов преподает ее в частных московских гимназиях, а затем получает должность в астрономической обсерватории в Одессе.

Астроном

В справке, которую отец Михаил готовил уже после второй мировой войны для чехословацких властей, он указал, что провел в Одессе с 1913 по 1920 год. Так и было – с перерывами. В Одессу он приехал вместе с женой Ольгой Васильевной Полетаевой – они венчались двумя годами ранее, в 1911-м.

24 ноября 1913 года ректору Императорского Новороссийского университета поступило следующее письмо:

«Физико-математический факультет в заседании 20 ноября с. г. заслушал представление проф. А.Я. Орлова на должность ассистента по кафедре астрономии Михаила Викторовича Васнецова с приложением curriculum vitae, списка его работ и печатных трудов, постановил: представить М.В. Васнецова, избранного по произведенной баллотировке единогласно 12-ю голосами на должность ассистента по кафедре астрономии и геодезии, на утверждение г. попечителя Одесского учебного округа».

В личном деле М.В. Васнецова сохранилось и представление от 23 ноября, в котором А.Я. Орлов пишет: «Имею честь представить на должность сверхштатного ассистента астрономической обсерватории Михаила Викторовича Васнецова. При сем прилагаю curriculum vitae и работы М.В. Васнецова».

Александр Яковлевич Орлов, ходатайствовавший перед ректором о зачислении Михаила Васнецова в штат астрономической обсерватории, входившей в состав кафедры астрономии Новороссийского университета, сам возглавил ее годом ранее. А.Я. Орлов – выдающийся астроном, один из создателей геодинамики, ставший уже в 1950-е годы академиком Академии наук УССР и возглавлявший Главную астрономическую обсерваторию АН УССР. Но до этого было еще далеко.

А пока – заработали бюрократические механизмы; необходимо было пройти проверку на политическую благонадежность. Ректор университета пишет 27 ноября 1913 года московскому губернатору – просит «сделать зависящее от Вас распоряжение о сообщении сведений о нравственных качествах и политической благонадежности окончившего в 1908 году Императорский Московский университет Михаила Викторовича Васнецова,

М. В. Д.

ОДЕССКАГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

КАНЦЕЛЯРІЯ

Секретно.

135

За Градоначальника:

За Правителя Канцеляріи

За Столоначальника

Справка из архивного дела М.В. Васнецова.. ГАОО

избранного на должность ассистента при астрономической обсерватории».

Ответ приходит быстро. Помощник московского градоначальника и помощник управляющего канцелярией сообщают ректору Новороссийского университета в секретном отношении, что «неблагоприятных сведений по делам политического и общеуголовного характера об обозначенном в сем запросе лице за время его проживания в Москве в управление градоначальника не поступало».

Параллельно с этим исполняющий обязанности декана физико-математического факультета направляет ректору личные документы Васнецова – метрическое свидетельство за № 7615, удостоверение Московского дворянского депутатского собрания за № 1327 и диплом за № 35109. Все эти документы вместе с прошением, в котором упоминается ответ из Москвы, ректор 16 декабря направляет попечителю Одесского учебного округа.

И наконец 21 декабря попечитель Одесского учебного округа В.Н. Смольянинов уведомляет ректора, что Михаил Васнецов утвержден в должности сверхштатного ассистента при астрономической обсерватории.

В «Формулярном списке о службе младшего ассистента при астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета коллежского секретаря Михаила Викторовича Васнецова», хранящемся в Одесском областном государственном архиве, указано, что предложением попечителя Одесского учебного округа от 21 декабря 1913 года за № 56840 Михаил Васнецов утвержден в должности сверхштатного ассистента астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета.

Во всей этой документальной кутерьме нас, в первую очередь, интересует написанный М.В. Васнецовым от руки curriculum vitae.

Вот этот документ:

«Curriculum vitae
Михаила Викторовича Васнецова

Родился 14 октября 1884 года в Москве. Среднее образование получил в 4-й московской гимназии. Окончил курс с золотой медалью в 1903 году. В том же году поступил в Императорский Московский университет на математическое отделение физико-математического факультета. Кончил университет по специальности астрономии. Зачетное сочинение было написано на тему: «Переменная звезда X Cygni». Получил выпускное свидетельство и сдал экзамены в испытательной комиссии весною 1908 года. Удостоен диплома 1-й степени. Мое внимание привлекали наблюдения солнечных пятен и переменных звезд. Наблюдения солнечных пятен, сделанные мною в 4-дюймовую трубу, отсылались в «Цюрих Вольферц» и печатались в его «Mitteilungen» в 1905-1910 годах. В 1908-09 году отбывал воинскую повинность в 5-м гренадерском Киевском полку. По окончании службы продолжал теоретическое ознакомление с небесной механикой, теоретической астрономией и астрофизикой.

В апреле 1910 года был командирован Московской университетской обсерваторией в Крым для наблюдения кометы Галлея.

В 1910-1913 годах давал уроки физики, космографии и математики в частной мужской гимназии П.Н. Страхова и женской – В.В. Потоцкой в Москве. В 1911 году вступил в законный брак.

В 1910 году мною предпринято вычисление дефинитивной орбиты кометы 1898 VIII (Chase), о чем было сделано объявление в № 4453 A.N. Работа эта закончена в августе 1913 г. и в настоящее время отослана в редакцию «Astronomische Nachrichten».

К сему прилагаются:

«Наблюдения кометы Галлея в Крыму в апреле 1910 года». Отт. Изв. Р.А.О. № 5 1910.

Три отпечатка рисунков кометы Галлея, изданные Московской обсерваторией.

«Исследования продолжительности периода изменения яркости переменной X Cygni». Изв. Р.А.О. № 3 1912.

Краткое сообщение о периоде X Cyyni. Astr. Nachr. № 4605.

Москва, 9 октября 1913 года.

М. Васнецов.

Адрес: Москва, Пятницкая ул., д. № 70, кв. 3».

Публикации Михаила Васнецова о наблюдении кометы Галлея в Крыму и об исследования продолжительности периода изменения яркости переменной звезды X Cygni до сих пор хранятся в его архивном деле. Кроме них в деле хранится еще ряд интересных документов. Среди них – удостоверение московского Дворянского депутатского собрания от 27 апреля 1913 года № 1327 о том, что потомственный дворянин Михаил Викторович Васнецов определением собрания, состоявшегося 26 ноября 1912 года, внесен в первую часть родословной книги и Указом Правительствующего Сената от 7 марта 1913 года за № 772 утвержден в дворянском достоинстве. О дворянском звании упоминается и в специальном «Формулярном списке о службе младшего ассистента при астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета коллежского секретаря Михаила Викторовича Васнецова». Там указано, что он происходит из дворян и высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 7 марта 1916 года за № 17 утвержден в чине коллежского секретаря. Дело в том, что в 1912 году получил дворянское звание Виктор Михайлович Васнецов – со всем нисходящим потомством. И заработала бюрократическая машина – дети стали получать удостоверения в дворянском достоинстве.

В «Формулярном списке» указано также жалованье, которое получал Михаил Васнецов, – сначала 800 рублей в год, а затем, когда он по предложению попечителя Одесского учебного округа от 18 апреля 1915 года был утвержден в должности младшего ассистента при астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета, – 1500 рублей в год.

У четы Васнецовых началась новая жизнь с присущими ей особенностями Юга – летними поездками на дачу, прогулками у моря… К сожалению, идиллия продолжалась недолго. В июле 1914 года началась первая мировая война.

Ворота астрономической обсерватории

К счастью, война не сразу затронула Васнецовых. Несмотря на то, что в июле 1914-го Михаил был призван на военную службу, он остался в Одессе.

2 ноября 1914-го в Одессу, чтобы проведать сына и невестку, приехал Виктор Михайлович Васнецов. Сразу по прибытии он написал в Москву супруге Александре Владимировне:

«Милые, дорогие мои мама и все. Доехал я вчера вечером до Одессы сравнительно благополучно при запоздании от Москвы до Одессы на десять часов. <…> Главная задержка, конечно, происходила от передвижения войск, которых много двигается на Запад.

В Одессу поезд наш пришел около 10 часов вечера. Я искал глазами Мишу, но не видел. Вдруг сзади меня хлопнул по плечу какой-то офицер со словами: «Папа!» – это был он. Он меня тоже искал, но увидел уже по выходе из вагона. Ну, кроме радости, конечно, ничего не было. А Оля приходила встречать меня утром на скорый, но я не приехал; по уходе публики еще долго ждала, авось где-нибудь появлюсь, и ушла разочарованная.

<…> Сегодня, 2 ноября, зашли прежде всего (близко) к обедне; немного постояли: Миша, Оля и я, и отправились в парк, на берег, к морю. Посмотрел я место боя, видел мачты затонувшего «Донца»… Грустно все-таки, что все это могло быть допущено. Затем были я и Миша – Оля ушла домой – на обсерватории у Орлова и осматривали в подробностях все учреждение. Директор очень милый и симпатичный человек, и жена его тоже».

Александр Яковлевич Орлов сдружился с Виктором Михайловичем Васнецовым. У них было немало общего – отец Орлова также был священником. Почти десять лет спустя в письме к сыну, жившему тогда в Болгарии, В.М. Васнецов упоминает, что А.Я. Орлов был у него в гостях в Москве. Письмо датировано концом марта – началом апреля 1923 года, то есть приятельские отношения продолжались все это время.

Возможно, именно во время первой встречи Виктора Михайловича с Орловым, который энергично взялся за перестройку

здания обсерватории, и родилась идея переустройства ворот обсерватории по проекту Васнецова. Виктор Михайлович имел успешный опыт архитектурного проектирования – по его эскизам и чертежам построены церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево, пристройка главного входного зала к зданию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, особняк И.Е. Цветкова на Пречистенской набережной в Москве и собственный дом в Москве, в котором расположен сейчас Дом-музей В.М. Васнецова.

Девятого августа 1915 года В.М. Васнецов писал в Одессу:

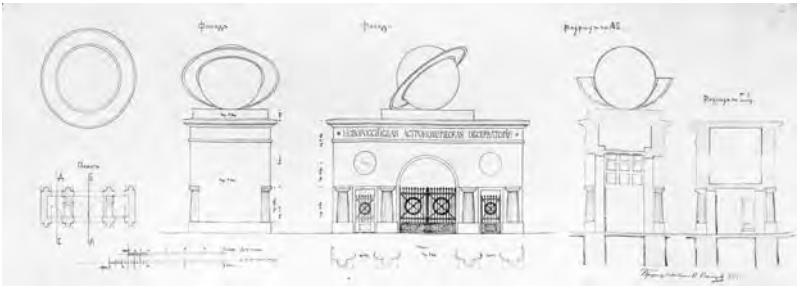
«Глубокоуважаемый Александр Яковлевич,

Согласно вашему желанию посылаю Вам небольшой набросок проекта ворот обсерватории. Конечно, если проект будет утвержден по рассмотрении утверждением, следует сделать чертеж более разработанный в деталях и в точном масштабе, для чего рисуночек нужно мне получить обратно.

<…> Очень желаю также, чтобы не чинили вам препятствий и затруднений ни город, ни университет, ни министерство – южный университет должен иметь образцовую обсерваторию.

<…> Не откажите передать поклон Дмитрию Павловичу и его супруге».

Дмитрий Павлович, которого упоминает Васнецов, – это тогдашний ректор университета Дмитрий Павлович Кишенский, профессор-патологоанатом, который в 1919 году эмигрировал из России и в 1924 году оказался в Праге. Неоднократно просил он воинское начальство по возможности не посылать Михаила Васнецова на фронт… В 1933 году Д.М. Кишенский умер, и надгробную речь произнес отец Михаил, описав там, в том числе, их одесские встречи: «На меня сразу произвело впечатление внимательное, сердечное отношение Д. П. ко мне, тогда начинающему ассистенту. Это внимание и сердечность ко мне со стороны Д. П. оставалось неизменным во всю его жизнь, хотя я этого ничем не заслуживал. Помню, во время войны, когда я уже в качестве офицера служил в Одессе, ректор университета часто приходил вечером ко мне – никому не известному прапорщику – и своей ласковой беседой ободрял и нравственно поддерживал меня».



В.М. Васнецов. Эскиз ворот Одесской астрономической обсерватории

22 августа Орлов ответил Васнецову: «Ваше письмо с рисунком для ворот я считаю за особое счастье. Приношу Вам за него мою самую глубокую благодарность. Я, конечно, приложу все старания, чтобы Ваши ворота были у нас построены».

Спустя несколько месяцев, 17 ноября, Васнецов пишет в Одессу:

«Глубокоуважаемый Александр Яковлевич!

Архитектурный чертеж ворот для Обсерватории наконец готов и я рад, что могу его Вам выслать. По сему чертежу работу можно производить вполне правильно и соответственно моему проекту…

В верхней части ворот, где предполагается устройство часов, проектированы небольшие комнатки, а во внутренней стене калитки устроена к ним лестница.

<…> Относительно небесного глобуса я присоединяюсь к мысли Михаила Викторовича. Что лучше сделать ее из меди или бронзы с золочеными звездами, а с исполнением не спешить и подождать, или поискать жертвователя, так как стоимость глобуса будет, вероятно, довольно значительна. Ворота же временно могут постоять и без глобуса.

Опасаюсь, что вообще постройка ворот, даже и без глобуса, обойдется Вам дороговато; но проектировать их в меньшем размере я не нашел возможности.

Поздравляю Вас с началом дела и кажется весьма энергичном – от души желаю Вам полного успеха как в продолжении, так и в завершении предпринятого Вами подвига!»

Ворота астрономической обсерватории сегодня. Фото автора

К сожалению, проект так и остался нереализованным – не прекращались споры с городскими властями по территории, разгоралась война, отнимавшая и силы, и ресурсы.

Военная служба. Киев и Евпатория

В «Формулярном списке о службе младшего ассистента при астрономической обсерватории Императорского Новороссийского университета коллежского секретаря Михаила Викторовича Васнецова» указано, что он был призван по мобилизации на действительную военную службу 17 июля 1914 года.

Главный свидетель последних лет жизни отца Михаила – его духовная дочь Елена Ивановна Мусатова. У нее сохранился архив

Михаила Викторовича, в котором находится в том числе отпечатанная на машинке его «Краткая автобиография». Вот что пишет о своей военной службе сам Михаил Викторович:

«В 1913 г. я получил место ассистента астрономической обсерватории в Одессе, и мы туда переехали. Но в 1914 г. началась война, и я был призван в армию. Сперва в запасной полк в Одессе; а потом, как математик, в авиационное управление в Киеве… Преподавал некоторые предметы в «Школе летчиков-наблюдателей». В 1917 году эту школу перевели в Крым и Евпаторию. В 1918 г. ввиду окончания войны демобилизовался с чином поручика и вернулся в Одессу. Там у нас родился сын Виктор. Положение наше было довольно трудное. В то время как в центре России установилась советская власть, на юге происходила постоянная смена властей: петлюровцы, гетмановцы и т. п. … В конце концов я должен был покинуть семью и родину, иначе вряд ли остался бы в живых».

Елена Ивановна Мусатова уточняет, что после призыва в армию Михаил Викторович был назначен командиром 4-й роты 46-го запасного батальона для обучения солдат перед отправлением их на фронт.

В письме из Одессы в Москву 2 ноября 1914 года Виктор Михайлович Васнецов так пишет о сыне: «О положении Миши… трудно сказать что-либо утвердительное, покуда учит новобранцев. Хотя и очень трудно по обязанности быть при этом ротным; но духом бодр. Оля тоже выглядит хорошо, хотя и бывают иногда головные боли». В следующем письме он пишет, что Михаил уходит на службу «часов в 8 утра и возвращается домой в шестом часу к обеду, страшно конечно уставший. Учит он теперь с 5 ноября новобранцев… Служба вообще у него трудная, т. к. он еще исполняет обязанности ротного командира. Это очень трудное дело – он за все отвечает, и за солдат, и за имущество, и за нравственность и т. д.».

В начале февраля 1916 года на имя ректора Новороссийского университета пришло письмо от начальника штаба VII армии, которая называлась также «Одесской армией», в задачу которой входила первоначально охрана побережья Черного моря и границы с Румынией; армия вошла затем в состав Юго-Западного фронта. В письме исполняющий должность начальника штаба

просит ректора порекомендовать кого-либо из лиц, работавших в фотографической лаборатории при обсерватории, так как «для правильной и точной постановки дела фотографирования, применительно к условиям боевой обстановки, необходимо иметь в штабе армии заведывающего фотографической лабораторией имеющего основательную научную и практическую подготовку». В ответном письме от 4 февраля 1916 года ректор рекомендует двух человек – Михаила Викторовича Васнецова, а также старшего ассистента зоологического кабинета Николая Дмитриевича Лебедева. О Михаиле Васнецове ректор пишет: «М.В. Васнецов… много занимался и общей фотографией, и специальной научной фотографией применительно к требованиям астрономии. При мобилизации он призван в войска в качестве прапорщика запаса пехоты и в настоящее время состоит в Одессе в 46 пехотном запасном батальоне, где занимает должность ротного командира постоянного состава».

Пока достоверно неизвестно, служил ли Михаил Васнецов в фотографической лаборатории штаба VII армии – скорее всего, нет. Уже 1 декабря того же, 1916 года, приказом императора Николая II он был призван из запаса армейской пехоты и прикомандирован к военной школе летчиков-наблюдателей – на должность «заведывающего аэрологической станцией и аэронавигационным кабинетом». Школа летчиков-наблюдателей располагалась тогда в Киеве, в здании Педагогического музея, прекрасно сохранившегося и сегодня.

С ходом войны потребность в летчиках-наблюдателях существенно возросла. Поэтому в декабре 1915 года было принято решение о создании в Киеве самостоятельной школы по их подготовке. Школа была рассчитана на обучение 50 офицеров в течение 6 месяцев; свой первый выпуск она произвела в августе 1916-го. В том же году управление военного воздушного флота приняло решение о переводе киевской школы летчиков-наблюдателей в Евпаторию. 1 сентября 1917 года школа (374 человека) вместе с авиационным отрядом при ней прибыла в Евпаторию. До октябрьского переворота оставалось менее двух месяцев.

В конце 1917 года в Крыму началась гражданская война, а вскоре – красный террор. В Евпатории с приходом большевиков

в январе 1918 года были арестованы, а затем убиты около трехсот человек, в том числе члены офицерской дружины.

Служить становилось небезопасно; ситуация менялась постоянно. Уже в апреле Крым заняли германские войска, и 5 мая 1918-го школа летчиков-наблюдателей была расформирована. Имущество ее позже, в 1920 году, было передано в авиационные части военного министерства правительства Врангеля.

Виктор Михайлович Васнецов
с сыном Михаилом Викторовичем в Одессе
осенью 1914 года

В звании поручика Михаил Васнецов демобилизуется и уезжает к семье, в Одессу. Судя по всему, это произошло в самом начале 1918-го – в его архивном деле находятся копии двух справок из Новороссийского университета о том, что он по-прежнему является его сотрудником.

1 (14) октября 1918 года у четы Васнецовых родился в Одессе сын Виктор.

В Государственном архиве Одесской области (фонд 37, опись N-13) хранится Метрическая книга родившихся, сочетавшихся браком и умерших в 1918 году Скорбященской (Стурдзовской) церкви города Одессы. В части первой – о родившихся – за ноябрь месяц 1918 года есть запись о рождении и крещении Виктора, сына дворянина Михаила Викторовича Васнецова и его законной жены Ольги Васильевны, вероисповедания православного. Виктор родился 1 октября, а крещен был 11 ноября по старому стилю.

Таинство крещения совершил протоиерей Иоанн Недзельницкий, а крестными отцом и матерью стали профессор живописи Виктор Михайлович Васнецов и гражданка Клавдия Николаевна

Стурдзовская церковь. Одесса. Фото автора

Штерн. Знаменитый дедушка сам крестил своего внука. Наверное, такой долгий период между рождением и крещением маленького Виктора как раз и вызван тем, что молодые родители хотели видеть крестным только Виктора Михайловича и ждали его приезда из Москвы.

Это была последняя встреча Виктора Михайловича Васнецова с сыном.

Снова Одесса

Одесса в 1918 году отнюдь не была спокойной гаванью. В ней несколько раз сменились власти. В январе-марте городом управляли большевики, и даже была образована «Одесская советская республика»; в марте в город вступили австро-немецкие войска, которые поддерживали Украинскую Народную Республику. В конце ноября немецкие войска покинули Одессу, и на несколько

дней город заняли петлюровцы, которых, в свою очередь, в начале декабря выбили войска стран Антанты – французские и греческие. В это время в Киеве рухнул режим гетмана Скоропадского, а сам он 14 декабря отрекся от власти и бежал в Германию. Попытки Скоропадского создать боеспособную украинскую армию затронули и Михаила Васнецова. Его вновь пытались призвать на военную службу.

В архивном деле сохранилось адресованное ректору Новороссийского университета прошение Михаила Васнецова от 10 декабря 1918 года с просьбой возбудить ходатайство об освобождении его от действительной военной службы:

«Согласно приказу пана гетмана об учете и призыве офицеров я освобождался от призыва как младший преподаватель университета, и соответствующее удостоверение было мною предъявлено одесскому воинскому начальнику. Но после мне разъяснили, что дальнейшие распоряжения не предусматривают освобождения преподавателей, поэтому я был призван и зачислен в херсонский авиационный дивизион. В настоящее время, как я слышал, последовало распоряжение по освобождению преподавателей учебных заведений от призыва; посему имею честь просить возбудить соответствующее ходатайство об освобождении меня от призыва на действительную военную службу».

Когда у тебя двухмесячный сын, а в стране полная неразбериха, идти на военную службу нет никакого желания. Судя по наличию в личном деле Михаила Викторовича нескольких справок и удостоверений (от 25.10.1918, 11.12.1918, 05.10.1919) о том, что он состоит в числе младших преподавателей Новороссийского университета и занимает должность младшего ассистента при астрономической обсерватории, руководство университета шло навстречу его просьбам. Но службы избежать все же не удалось.

С апреля по август 1919-го в Одессе вновь установилась советская власть, а 23 августа город заняли войска Добровольческой армии Деникина. Вскоре Михаил Васнецов вновь был призван на военную службу – и снова был отправлен в Крым, в Симферополь, в авиаполк. Жена с сыном остались в Одессе. Первые успехи армии Врангеля вскоре обернулись оглушительным поражением. К ноябрю 1920-го ситуация стала критической.

Эвакуация и первые годы в эмиграции

В своей книге «Васнецовщина» Ольга Алексеевна Васнецова, правнучка брата Виктора Михайловича, Аркадия, приводит фрагмент из воспоминаний Михаила Васнецова о самом трагичном моменте его жизни – вынужденной эвакуации из Крыма:

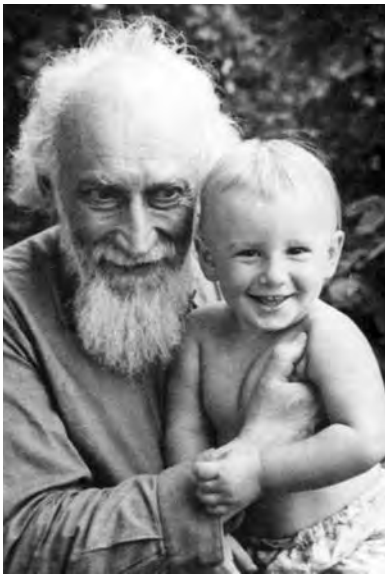
«Когда катастрофа стала неотвратимой, командир авиаполка (где я служил) стал вызывать по одному офицеров и говорил им, что средств для вывоза не хватает. Поэтому пусть уезжают только те, кому неминуемо грозит смерть. Я сказал, что останусь, т. к. думал как-нибудь пробраться в Одессу, чтобы встретиться с женой…

Вот наступила последняя ночь, все сжигали компрометирующие документы. Я лежал и думал, что мне делать. Один из служащих полка был из немцев-колонистов. Он предложил мне уйти к его родителям и делать вид, что я у них работник… Вдруг утром раздалась команда: «Кто уезжает, пусть получает винтовки». Тут я, ничего не думая, а какой-то силой встал, отдал ключи от своей мастерской своему помощнику из солдат, взял винтовку и стал в строй. Еще до этого я передал одному солдату письмо с адресом жены в Одессу (на обсерваторию) такого содержания: «Муж Ваш жив, но вы его не скоро увидите»…

Прибыли ночью в Севастополь… Нас грузили на французский угольщик. <…> Пароход был до крайности переполнен. Мы в изнеможении легли на грязный пол трюма… Не помню, когда наконец пароход отошел. Вот берег Крыма исчез за волнами. Мы плывем, куда не знаем, что нас ждет – не знаем… Настроение у меня было отчаянное. Я ни на что не надеялся…

Так мы прибыли в Босфор и стали там. <…> На берегу были видны старинные храмы. Как-то священник служил всенощную. Солнце заходило за величественные храмы. Тут впервые у меня блеснула надежда, что Господь нас не оставит. <…> Впоследствии я узнал, что оставшиеся в Симферополе офицеры и чиновники нашего полка были убиты (кроме большевиков). Так что сила, заставившая меня покинуть Родину, была Божья сила, которая спасла меня».

Елена Ивановна Мусатова в своем очерке о Михаиле Васнецове уточняет даты, основываясь на дневнике Михаила Викторо-



Август 1957. Киев. С внуком Михаилом

вича. О необходимости эвакуации сообщили 11 ноября, 13 ноября 1920-го французский пароход «Сиам» отошел на рейд, к вечеру вышел в море, 23-го были уже в Босфоре, где военнообязанных перевели на турецкий пароход. 16 декабря остатки армии перевезли в Галлиполи.

Город Галлиполи был тогда разрушен землетрясением, и жить первое время пришлось в пещере. Всего Михаил Васнецов прожил в Галлиполи год – до 30 ноября 1921-го. После перехода в статус беженцев солдатам и офицерам было разрешено покидать Турцию и уезжать в Сербию и Болгарию. В начале декабря в Болгарию отплыл и Михаил Васнецов:

«Варна, пароход «Рашид-паша», 6 декабря 1921 года. Сидим здесь уже третий день. Из Галлиполи вышли 30-го ноября, пришли в Константинополь в 6 часов утра 1-го декабря, ушли в 3 часа на 4-го декабря. В Босфор приезжал Врангель. Он похудел и очень волнуется».

Михаил Васнецов устроился на работу преподавателем – сначала в инженерном училище в местечке Кперово под Софией, а затем и в Софии, преподавать математику на технических курсах. В 1922 году ему удалось послать первое письмо в Москву, отцу, у которого жили к тому времени Ольга Васильевна с Витей. «Вначале я даже подписывался не Миша, а Маша – так все были напуганы», – писал Михаил Васнецов. Так семья узнала о том, где он. Теперь главным было встретиться.

Вот что писал Михаил Васнецов много позже в своей «Краткой автобиографии»:

«Пробыл три года в Болгарии, преподавал на Среднетехнических курсах и т. п. ... С 1922 удалось связаться с Москвой. Узнал, что О. В. хлопочет о разрешении выехать за границу (это был нэп)... Я же в 1924 г. поехал в Прагу на съезд русских ученых. Почти одновременно туда приехала О. В. с шестилетним сыном. Произошла встреча, и началась пражская жизнь».

Отец Михаил Васнецов. Конец 1960-х. Прага

В архиве Михаила Викторовича сохранился уникальный документ – письмо замнаркома по просвещению в отдел управления Моссовета от 24 июля 1924 года:

«Народный комиссариат по просвещению не встречает препятствий к поездке сотрудницы клуба «Детский уголок» Главсоцвоса Полетаевой-Васнецовой Ольги Васильевны в Прагу и Вену для научных работ в области внешкольного воспитания.

Тов. Полетаева-Васнецова едет за свой личный счет по поручению Главсоцвоса НКП».

Встреча произошла в отеле «Беранек». Это было настоящим чудом.

И началась пражская жизнь.

Автор выражает признательность Елене Ивановне Мусатовой за предоставленные ею материалы о пражском периоде жизни Михаила Васнецова.

Александр Дорошенко

Фонтанский трамвай

Мы вставали на рассвете:
Холодный ветер
Был солоноват и горек,
Как на ладони,
Ясное лежало море,
Шаландами
Начало дня отмерив,
А под большими
Черными камнями,
Под мягкой, маслянистою травой
Бычки крутили львиной головой
И шевелили узкими хвостами.
Был пароход приколот к горизонту,
Сверкало солнце, млея и рябя,
Пустынных берегов был неразборчив контур…
Одесса, город мой!

Всеволод Багрицкий. 1940

Днем у моря жарко. Оно лениво колышется оловянной расплавленной лужей в берегах неба. В такую жару хорошо под развесистую клюкву, и чтобы под рукой был холодильный бочонок с лимонадом или ромом.

В книжке моего детства, «Золотой ключик», был рисунок дерева, в тени которого начальник полиции пил лимонад, – там был нарисован летний полуденный зной и рядом с деревом целый

Felix Vallotton. Дача на 12 станции Большого Фонтана*. 1904

ящик запотевшего от холода лимонада, – в детстве мне всегда покупали только половину стакана, а хотелось…

И чтобы не звонили телефоны и не прибегали всякие-невесть-с-чем!

А вечером хорошо гулять вдоль моря, по морскому песку, по самому краю моря, по окоему чернильной густоты ночи, в ее влажности и прохладе, чуть сторонясь набегающих волн. Море тяжело и устало лежит в своих глубинах, от него веет холодом и страшной глубиной. Слева вверху луна, ноги вязнут в песке и спотыкаются о выступы скал, за спиной тихо и пусто, – разбежались поджаренные курортники и иная пляжно-дневная шушера.

* Феликс Валлоттон никогда не был на наших Фонтанах, а жаль, ему бы понравилось (**Прим. автора**).

Тишина! Только волна лизнет тебе ногу, если достанет, и слышно как поскрипывает в небе на своих подвесках луна. Благолепие, как называли это дело в России!

Как упоительны в Одессе вечера!

А на даче, на 16-й станции, стоит еще с довоенных времен домик из ракушняка, в нем вечером прохладно и тихо.

Этажерка старая, и на ее полках странным и случайным набором книги. Это как падают карты – случайно и тем заманчивей. Журнал «Работница» и рядом «Старые годы».

Вишни неубранные падают на неосторожную голову.

Ночью море всегда внезапно. Ты идешь рядом с ним, слышишь его шум, знаешь, что оно там, внизу. Но вот несколько шагов к нему вниз, с высоты берегового откоса. Всего несколько шагов – там, наверху, совсем рядом, осталась освещенная набережная, люди, деревья и все земное. А здесь холодная темнота, скалистый отблеск волн, упрямо и зло ложащихся на берег, отчуждение и тишина. Море громадное, темное, живое, с ним рядом, наедине, страшно. Там наверху все привычно обжито, тротуар и люди, и ларьки, и выращенные людьми деревья, и высаженные ими в задуманном порядке кусты.

Здесь ты временный гость, здесь можно посидеть в тишине, помечтать, поговорить с другом (но даже и говорить вы будете шепотом, чтобы никого не потревожить), а потом подняться и уйти домой, что бы это сейчас ни значило, гостиницу ли, ждущую машину, неважно, но все это твой дом, а здесь ты незваный гость, и лучше тебе не засиживаться.

Там, наверху, на земле, небо и облака иные, они тебя не пугают, они приручены и привычны. Ты привык считать их обыденными и своими. Всего пару шагов вверх, еще немного, и вот ты уже ушел за первые дома города, – ты вошел в город, ты спрятался, тебе так – ближе и легче!

Облака над морем и небо над морем – это иная, и вовсе не твоя жизнь.

Дача Ашкенази. Львица, оставленная на бессменной страже

Когда так много позади
Всего, в особенности – горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство –
Не слишком радостное. Но
Уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид
Волнует, нежели язвит.

Иосиф Бродский
С видом на море

Счастье в неведении: если бы человек, никогда в жизни, ни разу, не ехавший весенним солнечным утром на фонтанском трамвае в Одессе на наши Фонтаны, вдоль всей волшебной длины Французского бульвара, мимо самых красивых в мире оград, не стоявший на задней трамвайной площадке с сигаретой у рта, облокотившись на руку, не слышавший запах сжигаемой прошлогодней травы и листьев, не видевший пения птиц и особенный скрип трамвайных поворотов, – человек этот, почувствовав и увидев все это, пусть ненадолго, и уяснив невосполнимость потери, немедленно покончил бы с собой, тут же бросившись под колеса пермской или воронежской электрички, если есть там такой транспорт.

Счастье в неведении!

Этот фонтанский трамвай бывает весной, в ее самом начале, солнечным неповторимым днем. Каждый из таких дней в твоей жизни будет всегда иным и особым. Если с тобой стрясется беда, если ты так ощутишь происшедшее с тобой, плюнув на все, дойди до остановки этого трамвая, сядь в него, став на задней площадке, она открыта, там нет обычных стекол, в этот утренний час там нет въедливых одесских дам, и закури, когда он тронется с места.

И где-то после Пироговской улицы, когда Город начнет отставать от вас, там, позади, начнут, постепенно затихая, теряться твои проблемы.

Сначала они будут все же возникать стаей гиен, расцветкой они, эти гиены, конечно, не рыжи, рыжий цвет благороден, эти твари имеют цвет отходов нашего земного бытия, они будут шакальей побежкой, подлой, исподтишка, гнаться за тобой и трамваем, вдоль рельс, несколько смогут бежать рядом, между рельсами (как когда-то шли лошади конки), а остальные по бокам колеи, отставая и забегая вперед (как в лихой махновской тачанке, несущей смерть), но он, трамвай, начнет набирать скорость, он стар и натружен колесами, но воздух весны, но все запахи моря, но обольстительные тени деревьев, несущиеся вдоль его трамвайных обводов, но подлый вид этих догоняющих тварей придадут

ему силы, и вы легко станете уходить, и уже на благословенном изломе Французского бульвара, у Маразлиевской дачи, вы потеряете их навсегда.

А дальше ты продохнешь, отпустит узел сердца, развяжешь галстук, если на тебе будет галстук, и подумаешь, что там, впереди, сейчас тебя встретят весенние и еще пустые пляжи, что ты сможешь пройти по самой крайней полоске песка, мокрой от только что ушедшей волны моря, ласковой уже и теплой волны. Потом ты сядешь первым посетителем на пляжное кресло в кафе, и тебе принесут, что тебе улыбнется в это утро. Хорошо бы рому с лимоном (льда не надо, ведь еще холодновато сидеть, и ветерок все же, – выпей это без льда, как единственное нужное тебе лекарство!).

И чуть погодя подошедшая на тебя посмотреть официантка, не нужно ли чего, улыбнется тебе ответной улыбкой, ответной твоей, ни ей, ни кому другому не предназначавшейся улыбке.

А когда ты встанешь и не торопясь пойдешь вдоль наших пляжей, от фонтанской станции, где будешь, к Городу, идти тебе придется долго, минуя Аркадию, Отраду и Ланжерон. Под ласковым и холодноватым ветерком ты застегнешь наглухо плащ, укутав шею в кашне, руки в тонких перчатках сунешь в карманы и поднимешь воротник. Идти ты будешь долго, присаживаясь где-нибудь выпить кофе, чуть согреться в укрытом от ветра и солнечном месте, станешь смотреть на крутизну высокого откоса из ракушняка и думать не будешь ни о чем.

Большой белый «пассажир», высоко сидя в воде, покинет порт и пойдет тебе навстречу, и когда вы, встретившись, разминетесь, боль уйдет. Просто вначале рядом с ней, чуть ее потеснив, появится теплым участком в груди мысль о далеком друге, потом памятью о будущем ты увидишь себя и друзей и вдруг вспомнишь давно позабытое в этих прошедших днях, что впереди и уже скоро праздник у друга, и увидишь себя рядом с друзьями. И вспомнишь, что была у тебя славная мысль, отложенная исполнением надолго, но вот сейчас хорошо бы вернуться и над ней поработать.

И ускоришь шаг.

Дачная наша жизнь

…И снова долгим днем
В саду, в сияньи листьев,
Где шляется пчела
Над лестницей, в пыли

Вода горит огнем,
И в бездне летних истин
Навек душе тепла
Верна судьба земли.

Борис Поплавский

Утро.

Солнце еще ласковое, оно не губит, но согревает продрогшие в ночи травинки кустов.

Уже летает, трудолюбиво и недовольно о чем-то ворча, королевской расцветки толстенький шмель.

Дачники пока еще нежатся в постелях.

Так уютно – утро еще хранит прохладу, воздух – тишину.

И звуки музыки – в умелых руках, старый хорошо настроенный инструмент. Музыка стелется волной, сливаясь с волнами утреннего ветерка. Она отражается от листиков на деревьях, за окном, прямо у твоего изголовья, и листик, которого коснулась музыкальная нота, начинает, радостно ускоряясь, кружиться, танцуя в глубине прохладного утра…

Я на этой Двенадцатой дачной станции жил. На самом ее углу трамвай опасливо и круто сворачивал, уходя от моря, и бежал вдоль улицы Гаршина. И уже околицами добирался на Шестнадцатую станцию, к конечной своей остановке. Когда-то он шел вдоль моря, напрямую, но оползни заставили изменить маршрут. И теперь вдоль моря он бежит короткую стометровку от опустевшей (и теперь уже никуда не ведущей) Аркады на Одиннадцатой станции, мимо застроенных дворцами участков нуворишей, и только на коротком отрезке пути море совсем ненадолго открывается из трамвайных окон…

Продольная аллея нашего дачного кооператива шла параллельно улице Гаршина и выходила к морскому обрыву. По обеим ее сторонам покойно располагались дачи. Были они в те времена очень похожими. Как правило, одноэтажный из ракушечника дом стоял в глубине участка, иногда это был дом с мезонином. Весь дачный участок был в кустах и деревьях, и вдоль дорожек росли розы. Иногда, если позволяли размеры участка, среди густой травы стояла беседка на деревянных резных столбиках, крытая, с подвешенной наверху лампочкой, и, проходя вечерней аллеей, можно было слышать смех сидящих за чаем людей, тихую музыку, а в высоте зелени клубился рой мошкары, летающий вокруг зажженной лампы.

В те годы дачи со стороны аллеи были огорожены высокими деревянными палисадами, и на калитках у каждой писалось имя хозяина. Аллея была размечена столбами освещения, асфальтирована, имела несколько изгибов и в этих местах расширение, где вечерами образовывалось подобие площади для общения подрастающих дачников, тех, кого уже не загоняли к девяти вечера домой.

Жила она, дачная наша аллея, однажды и навсегда заведенными правилами жизни. Ранним утром, когда солнечные лучи еще до нее даже и не добирались, а холодным золотом окрашивали кроны деревьев, первые и самые ранние купальщики устремлялись к морю. Считалось у них, что такие утренние купания «в самой еще чистой воде… в самом что ни на есть полезном утреннем солнце…» приносят особенное здоровье. Плескались они, отфыркиваясь от холодной воды, с вынужденными возгласами бодрости и веселья. И поднимались на свои дачи, где основное дачное население еще не вставало. И долго за утренним чаем эти бодрые купальщики корили своих нерадивых родственников за пренебрежение необычной радостью ранних утренних купаний. Были они, как правило, людьми уже в том возрасте, когда плохо спится.

А те, которых они соблазняли, были молоды, ложились поздно и счастливо спали по утрам…

Основной дачный народ просыпался поздно, долго завтракал, собирался и выходил на море часам к десяти-одиннадцати. Шли с детьми, несли с собой сумки с подстилками и полотенцами, всякую резиново-надувную снасть для детей, мячи, ракетки… Шел вдоль ал-

леи небольшой такой караван, не торопясь шли бабушки, укрытые широкополыми шляпами и зонтами, а впереди, в авангарде, весело бежали дети. И вся аллея звенела от их смеха. Они возвращались к обеду, разморенные жгучим солнцем на долгом и крутом подъеме, мокрые и нуждающиеся в отдыхе, тишине и прохладе. Толстые старые стены ракушника такую прохладу обеспечивали надежно. На дачах в те поры не было нужды в кондиционерах.

Примешь холодный душ, ляжешь в чистые прохладные простыни, блаженно вытянешь уставшие ноги…

И, заметив, отряхнешь со щиколотки приставшую песчинку. И с первыми словами чудесной любимой книги – уплывешь в дальнее странствие – в сладкий покой сна.

Позже наступала всеобщая дачная сиеста – спало в истоме все население. Спали дачные собаки с хозяйственного двора, разморенные солнцем, бессильно распластавшись в самых теневых и прохладных участках аллеи, спали их благоустроенные кореша в тени деревьев на собственных дачах, спал дачный воздух, лишенный звуков… обвисали провода на столбах… низко к земле наклонились ветви деревьев, как бы в надежде найти у нее защиту от обрушившегося на землю безжалостного белого солнца…

Робкие тени прятались, где кто может, боялись высунуться и часто отставали от владельца, боясь выйти на солнце…

А уже в начинающейся вечерней прохладе, основательно пообедав, шли к морю самые умные. И те, кто только приехал из Города, с работы. Они оставались у береговой полосы прибоя до сумерек. Сначала купались, потом сидели на топчанах и говорили, играли в карты, закусывали. Постепенно они «утеплялись» прихваченными с собой теплыми вещами и свитерами. У морской воды быстро становилось прохладно и зябко. Возвращались они на дачи уже в темноте, долго и неторопливо шли вечерней и уже освещенной аллеей, встречали знакомых, останавливались поговорить у дачных калиток, не заходя, объясняя, что всего на пару слов, и стояли так час и больше…

Их голоса в этой чистоте и просторе дачного воздуха звучали иначе и были насыщены чувством и звуком. Обыденные слова здесь изменялись, приобретая смысл и значение, независимые от говорящих…

Как будто бы кто-то неведомый присутствовал тоже и вмешивался в беседу, окрашивая интонацию, голос и придавая словам иное звучание. На самом деле слово, его смысл и звучание, зависит от времени дня и обретает неведомую силу ночью, освобождаясь от нашей застенчивости и косности…

А на темных дачных аллеях теперь был слышен молодой смех…

Наступала мягкая ночь, и прохладой веяло от разросшихся густых и высоких кустов. Ночь наступала из этих зарослей, казалось, она пряталась в них, осторожно выглядывая и выжидая, и вкрадывалась исподтишка, незаметно – глянешь и, удивившись, заметишь, что уже поздно и темно…

Пустой до утра оставалась длинная дачная аллея. Только изредка торопливый шаг задержавшегося в городе дачника нарушал ее тишину. На эти шаги, откликнувшись спросонья, тявкала собака, и какая-нибудь ей лениво и недовольно отвечала. Их голоса в покойной тишине ночи звучали отчетливо ясно и громко. И вновь все замолкало вокруг, только в вышине темно-синего неба чистым и мягким светом переливалась луна… Дачная, она была крупнее и чище городской. Она вовсе не стояла на месте, но куда-то стремительно плыла в облаках…

Ночной ветерок освежал изнемогшие листья, ласково прочесывая густые кроны деревьев. Он подворачивал в открытое дачное окно, шелестел листами открытой книги, меняя в ней порядок и смысл написанных слов, и засыпающий в уютной постели дачник, отложив книгу, вслушивался в торопливые шаги и приглушенные голоса ночных загулявших знакомых, узнавая их и завидуя веселому тихому смеху, радости возвращения в дом, к ребенку, к объятиям, к самому счастливому сну, который нам был когда-то дарован…

(Была тогда на земле такая порода людей, возвращаясь домой дачными ночными аллеями, они говорили шепотом, чтобы никого не потревожить, – была и сплыла.)

Но иногда в ночной тишине вдруг, торопливо крадучись вдоль аллеи, сначала по ее пыльной дорожке, и потом по листьям кустов и деревьев, радостно и торопливо пробегал дождь. Он делал это кра-

дучись, в боязни, что успеют остановить, но, погодя, смелел, переставал прятаться, усиливался и внезапно начинал барабанить уже открыто, в полную силу, по крышам, и винтом громыхать в водостоках…

И тогда, бросив все дела и занятия, дачники подходили к открытым окнам, и перед тем как их закрыть, смотрели на дождь, и выходили затем на свои крытые веранды, и так стояли, как бы приветствуя этот внезапный дождь, как бы входя в него, в его звук и внезапную силу, в его неистовство и беззаконие, как если бы этот дождь был разрешением тревоги наболевшего сердца, был вестью, посланной издалека, доброй вестью, что все наладится и будет теперь хорошо. И глубоко вздыхал, от чего-то освобождаясь, дачник, и в грудь его входил этот сырой и холодноватый воздух, и освежал грудь, и сердцу становилось легче…

Дачный в разгар пляжного сезона, затяжной и упрямый, самый сладкий на свете дождь. Аллея вся становилась в лужах, с густых ветвей сыпало уже отшумевшим дождем, они, отяжелев, наклонялись до самой земли. Становилось сыро и прохладно. Выходить из дому можно было только с зонтиком или в целлофановом капюшоне. И сигарету приходилось скрывать в кулаке – иначе она непрерывно гасла под моросящим косым дождем.

Пляжи становились очаровательно пустынны, косые буруны все в злобной пене накатывались на пирсы. Приезжие курортники мучились в такие дни надеждой и все высматривали в обложном и глухом небе просветы, в надежде ложились спать, а утром просыпались под монотонную песню дождя. Он только крепчал от их молитв и переживаний…

Оставалось лежать на веранде, укутавшись в старый и теплый бабушкин плед, и читать. Ну разве что сбегать в магазин, прикупить еды и чего-то вкусненького. Все было пропитано дождем, густая отяжелевшая зелень гнулась к земле, черной и тяжелой от влаги, вода лилась с зонта, когда, сложив его, ты входил в магазин.

Телефонов в те времена не бывало еще на дачах…

В мое дачное время, от этого 1904 года, что зарисован Феликсом Валлоттоном, спустя лет семьдесят, на дачах мало что изменилось. Стояли те же самые стены, и такими же оставались полы из простых деревянных досок. Сюда свозили мебель, устаревшую для быстротекущей моды, всякие дедушек-бабушек кресла, венские гнутые

стулья, даже и музыкальные инструменты бывали тогда на дачах, и играли на них ранним солнечным утром или в вечерней прохладе, и тогда гуляющие дачники останавливались послушать…

На некоторых дачах были камины, и в них вечерами зажигали огонь, вовсе не для шашлыков или обогрева, но из благородной любви к живому огню – вечной нашей колыбельной песне…

Бесконечно далекие наши предки пользовались огнем, большинство в целях утилитарных, готовить пищу и согреваться, и лишь немногие из любви к горящему костру, к открытому и загадочному пламени.

Они-то и приручили огонь для всех остальных, и именно они стали предками людей, от остальных произошло население планеты.

Самый Большой Фонтан

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна –
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.

Владимир Маяковский

Несколько слов о моей жене. 1912

Море удивляется нам – мы с собой все время что-то делаем, изменяем одежды и новые придумываем шляпы, конструкции удочек и лодок, парусных и моторных, интонацию речи – сами же мы остаемся неизменными, такими же, как оно, и ему странно, что мы этого, самого важного в себе, не замечаем.

Опустевший пляж, ночь, тянет от воды холодом…

Луна висит над миром и подсвечивает гребешки волн. Нескончаема полоса песка у самой воды. Только шорох волны и в лунном свете за тобой цепочка следов на мокром песке.

Это место есть на полотне Ван Гога, море и лежащие на берегу лодки. Помните ли вы, как плескалась волна о борт, как подставляла она свою холодную и влажную спину опущенной в воду руке, расчесывающим ее гриву пальцам, как быстро и прохладно бежала между ними вода, объемными живыми струями…

Эту бухточку у Золотого Берега на Большом Фонтане я теперь часто вижу. Она точно такая, та же береговая дуга, та же вода и камни. Мы, люди, их чуть потревожили.

Прошедшее время нас всех на этом снимке, живых и бессмертных, убило. У моря и камней время иное, и в нем секундная стрелка не успела еще даже дрогнуть. Когда мы уйдем с земли,

здесь все станет первозданным, и последние наши следы слизнет с пляжного песка ласковая летняя прощальная волна…

Вслушайся!

Слышишь шум моря? – На этой волне лежит и качается мое сердце!

Если тебя спросят, что было важнее для нас, колесо для телеги или лодка с парусом, не задумываясь выбирай парус – мы и так умели ходить по земле, и новая скорость не изменила ее горизонтов, а вот море подарило нам вторую половину души и пространства земли. И новое солнце, потому что морское солнце иное.

Вспомни великие морские державы – финикийцев, карфагенян, первоначально древних греков с Одиссеем, и даже Рим, прираставший морем. Именно море вскормило этих отважных людей, именно ветер в парусах нашептал финикийцам музыку алфавита и грекам великую поэму о Трое.

Конечно же, товарообмен вел этих отважных людей – выгода и нажива, вино и ткани на слитки олова и меди, но что-то еще, что-то совсем иное не давало остановиться, толкало все дальше и дальше – так хотелось увидеть то, чего еще никто из живущих не знал и не видел: новые прекрасные острова, новые берега, новые бухты…

Прошло, как проходит все – вино и ткани, олово и слитки меди, но последнее, что видел такой мореход, закрывая глаза и сжимая пустые ладони, – парус и мачту своего судна, и новый, не виданный еще никем берег!

Именно Море сделало нас такими, как мы себя помним – великими и отважными народами планеты Земля. Море вывело нас из тупика безысходности косных земных пространств и привело к новым прекрасным берегам.

Эти берега нашего Большого Фонтана первыми после Дней Творения увидели древние греки.

Когда одесский мальчишка, множество раз видевший это море с берега, впервые оказывался на качающемся борту и видел впервые родные берега вот так, с моря, он впервые чувствовал, что

это такое – земля, и впервые по-настоящему понимал, что это такое – море.

Мы другие – в море!

Я эти берега помню мальчишкой. Так выглядел берег на Отраде и дальше нее, разве что в Аркадии эта первозданная картина прерывалось некоторой благоустроенностью. За ней и до Фонтанов, и на всех Фонтанах именно так и было: узенькая полоска диких пляжей, вынесенного морем песка вперемежку с водорослями и торчащие всюду из песка камни. Осенью к этому добавлялся студень выплюнутых морем медуз. Это было природным равновесием, договоренностью между берегом и морем, ширина этой полоски и оставленные на ней морем и землей камни.

Рыбачьи плоскодонки занимали всю имевшуюся пляжную ширину. Весной лежали они кверху днищем и были обильно политы смолой, их подкрашивали, обновляя на борту имя и номер причала.

Пляжей собственно тогда не было. Лучшими и самыми благоустроенными были Аркадия и Лузановка. Именно потому, что оба они лежали на уровне плоской земли, и не было необходимости к ним спускаться с отчаянной крутизны, а потом тяжело карабкаться вверх.

Уже при мне, юноше, пляжи намывали – широкую песчаную полосу, и долго утюжили бульдозером склоны против оползней, понижая угол берегового откоса, и строили подпорные стены, а потом вдоль всей длины пляжей, в море, метрах в пятидесяти от берега и ему параллельно устроили подводную волнорезную стену, немного не достигавшую поверхности и сглаживавшую удары и мощь волн. Эту пляжную полосу расчленили пирсами, идущими в определенном ритме под углом к берегу.

Склоны берегов у наших пляжей теперь искусственны, так не бывает с морем, и только покинув прирученные берега, выйдя за границы городских пляжей, ты увидишь подлинную крутизну голых береговых откосов, отвесную, так что море, когда в старые времена на него смотрели с обрывов горожане, было не в отдаленной перспективе, но у ног, в страшной глубине падения.

Нам, мальчишкам, это никак не мешало.

Считанные секунды длился сумасшедший бег вниз по отвесным склонам. Вот ты стоишь над морем, так далеко от воды, и через несколько сумасшедших биений сердца и рвущего рот радостного крика падения твои босые ноги уже по щиколотку в воде. И ты отпрыгиваешь, смеясь, от ласковых с виду весенних волн – они еще полны зимнего холода. И так прозрачна была вода в эту пору года, все в ней, самый маленький камушек, были видны, камушек, лежащий на дне, синебрюхий и с красноватой полоской на спинке, как декоративная аквариумная рыбка, а лежи он сто лет на песке пляжа, высохший, обесцвеченный, на него и не глянешь.

Такими мы стали сами, когда покинули родившее нас море.

Близко у берега были развешаны в объеме воды роскошные медузы, хорошо видимые с пирса, беспрерывно изменяющие форму и цвет, светящиеся изнутри. Природа в медузе определила разумное сочетание замкнутой формы с подвижностью ее границ. В начале времен наше тело было подобным и, когда оно вылилось в завершенность и конечность нынешних форм, мы утратили навсегда одно из необходимых измерений мира. Теперь нам уже не дано понять мир, в который погружена медуза, но только одну из сотен возможных его проекций, а утраченное целое иногда открывается только поэту.

Это древний исходный принцип, с которого все началось. Стайки резвящихся мальков проносятся мимо медузы – они уже заключены в твердую определенность формы, как и мы, люди, в тюрьму тела. Разрыв здесь в миллионы лет, а затем прошли еще миллионы, и живое существо впервые робко ступило на твердую землю, задохнувшись обилием воздуха и солнца.

И еще прошли миллионы.

Но каждый раз, обретая новую форму, мы что-то важное теряли, забывая, что и чем оно для нас было. Пока не потеряли достаточно свойств, чтобы стать человеком. И тогда нам понадобился разум, чтобы справиться со сложностью мира.

И душа, чтобы этой сложности не испугаться смертельно.

А чуть подальше виден в воде огибающий камень стремительный краб. Но не достать. Да и не интересовались мы тогда

крабами, следя, чтобы не подставить ему под клешню босую ногу. Мы таскали со дна плотных головастых и таких вкусных бычков.

Летом мы, мальчишки с Молдаванки, приезжали на Ланжерон или Отраду, бросали грудой на песок нехитрый одежный реквизит и бежали, кто раньше, к морю, бросаясь в него с разбега, никогда не интересуясь заранее температурой воды.

В ней всегда была какая-то температура.

Обгорали мы до черноты, вначале лезла кожа и обгорала повторно, уже плотно и надолго, выгорали волосы, и соль пропитывала кожу на всю следующую холодную половину года. Только шрамы белели на ногах, где оступилась она об острый камень.

Странно, пробыв весь день на открытом солнце, пропаленный им насквозь, именно по этой причине вечером ты замерзал, и чем больше в твое тело днем входило солнца, тем холоднее ему бывало ночью. Солнце не столько давало нашему телу, сколько лишало его чего-то и что-то брало себе.

А лодки несли имена на бортах, в основном женские – «Оля», «Соня» и «Люся», и совсем исчезнувшее теперь «Клава». Они занимали целиком и без того малое пространство песка, и устроиться полежать на солнце можно было, выбрав между ними место. А вокруг были канаты и цепи, черпаки и якоря, и остовы старых баркасов, как скелеты обглоданных рыб. Когда рыбаки подходили к берегу, мы бежали глянуть на их улов, сети и ведра, полные живого серебра…

А затем мы выросли и стали заниматься всякими серьезными и достойными взрослого человека делами – учились чему-то и как-то, потом делали ту или иную карьеру, науку например, или иное, потом настигала нас семейная жизнь и многие годы работы, просто работы, поездок, знакомств, выпивок в каких-то чужих городах и широтах, театров по настоянию жен…

А о море мы забывали. И только когда приводили к нему впервые своих детей, мы что-то припоминали, заглядывая в их удивленные глаза. С наступлением лета мы переезжали на дачу, там обустраивали семью и с работы ездили ночевать уже иным летним маршрутом, на Фонтаны, например, если дача была на Фонтанах. А к морю ходили редко, по утрам и ненадолго, искупаться, походить вдоль пляжа по щиколотку в воде…

Иногда, выпив с друзьями, приходили к морю поздним вечером или ночью.

И тогда, присев на ребра топчана, закурив и слушая идущие от воды смех и голоса неразличимых друзей, вдруг мы что-то такое припоминали, запах водорослей или крик испуганной чайки перед дождем, или дождь этот, заставший внезапно на открытом берегу и успевший все насквозь промочить, или утро перед экзаменами в девятом, что ли, классе, когда почему-то перенесли на пару часов начало этих экзаменов, и мы успели смотаться к морю на Ланжерон и поплавать, и полежать на греющем песке, и съесть один на четырех единственный у кого-то оказавшийся с собой бутерброд – два толстых ломтя хлеба, намазанные густо маслом и вдавленные в это масло кружочки колбасы – и их оказалось ровно четыре, – и песок хрустел на наших зубах: смеясь при дележе бутерброда, мы его уронили…

И многие годы, всю жизнь, мы видели море случайно, живя с ним рядом – видели с высоты Бульвара или проезжая Строгановским мостом, внезапно удивляясь открывшейся над впадиной Карантинной балки его синеве, жирафьим шеям портальных кранов, трубам больших кораблей.

Приезжие курортники много больше бывали с ним рядом. Но у них это было как в бане, пришел и помылся. Они просто принимали морские и солнечные ванны. Говорят, это полезно от геморроя…

Однажды в детстве волна успела добежать и лизнуть нас в сердце, и шум ее навсегда с тех пор остается с нами!

Гости съезжались на дачу

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Анна Ахматова

С высоты центральной террасы спускалась мраморная лестница – патетически и церемонно – между стремительно расступающимися балюстрадами и архитектурными вазами и, широко растекшись по земле, казалось, отступала в глубоком реверансе, подбирая свой пришедший в беспорядок наряд.

У меня поразительно обостренный инстинкт стиля

Бруно Шульц. Весна*

Самое начало века. Дачный модерн. В нем много воздуха, открыт он к морю широкими верандами, там широкие ступеньки, идущие многомаршево, в прямую линию, или полукругом, и прихотливо развешанные в высоте дома балконы. К морю, если дача стояла над обрывом, дом открывался пространной верандой. Устраивали над домом высокую смотровую башню, с высоты которой открывалось море и побережье.

Эти дома жили на раздолье, они стояли в центре больших участков земли, над береговыми откосами, рельеф местности здесь сохраняли первозданным, и по этой причине их окружало такое множество террас и лестниц. Вокруг шумел сад, настоящий, а не фруктовый. С моря фонтанская земля виднелась зеленым ковром на береговых высотах.

Человек здесь жил лицом к морю, наедине с ним, и город со всем своим населением, шумом, суетой – оставался у него за спиной. Там была глубокая и нежная тишина. И человек оставался наедине с самим собой – наедине с Богом!

* Инстинкт стиля как основное видовое свойство – есть отличительная особенность человека (**Прим. автора**).

Там были устроены уютные «тайные» гроты, из дикого камня, с вымытыми природой столбами и глубокими пещерами.

Территории этих дач в советское время стали санаториями и домами отдыха. Господский дом превращали в администрацию и лечебный корпус. Настроили дополнительно зданий для роста поместительности. Строили их как придется и когда выделяли деньги, поэтому все черты советских стилей, от сталинского «ампира во время чумы» до убогих хрущевок, изувечили прелестные сады и парки.

В таких санаториях была большая столовая, клуб, где вечерами крутили кино, и библиотека. Надо сказать, что таких библиотек не бывало в мире – вся мировая классика там стояла на полках, переведенная на русский язык великими мастерами слова. Была непременная танцплощадка круглой формы с эстрадой для оркестра (в те годы играл «живой» оркестр, и чаще всего танцевались вальсы). К морю вела аллея с клумбами, полными свежих утренних роз.

По звукам казалось, что веселятся эскадронные лошади. На самом деле тот затейник вовлекал отдыхающих в «массовку».*

Стояла непременная будочка экскурсионного бюро, и завлекали отдыхающих экскурсоводы поездками по Городу или в катакомбы. Вечерами курортники ездили в оперный театр. Еще были «массовики-затейники», и они вечно выдумывали какую-нибудь глупую игру и ко всем с нею приставали. Стояли столбики с указателями, где, что, а на асфальте были стрелки с надписями о гигиенических маршрутах под № 4 и 7.

До революции на этих дачах было много скульптур, девушек мраморных и львов. Пролетариат перенес их на городские площади, и там их судьба сложилась печально, они почти все исчезли. Но в сталинское время начали вновь населять эти санатории культурой, и по этой причине там выросло новое поколение в гипсе и цементе сделанных произведений скульптурного мастерства, крашенных ежегодно масляной краской. В основном это были безобидные зверюшки, так казалось спокойнее в выборе сюжета в это непростое сюжетное время, коз-

* Илья Ильф. Записные книжки.

лики и барашки, но и пионеры с горном и поднятыми на косую руками, мальчик и девочка, или две девочки, а в центре мальчик; счастливая мама с дочкой…

Мужчин изображали редко, разве что пропеллерный летчик в шлеме или шахтер с отбойным молотком.

До 1953 года в центре главной домоотдыховой клумбы непременно стояла кушетка, и сидели на ней в любовном внимании друг к другу Ленин и Сталин, но позже в этой композиции Сталина заменил Горький. Еще мог стоять пышнобородый требовательного вида Маркс, как и до сего дня он стоит в санатории «Черное море», что был на Тринадцатой станции Фонтана, на центральной аллее лицом к морю. Одет Маркс был не по-пляжному вовсе, в сюртуке над жилетом, и дополнительно нес перекинутый через руку плащ.

В таких санаториях отдыхала моя мама. Я приезжал к ней на велосипеде с Молдаванки. Восхищались ее новые знакомки, какой взрослый уже я мальчик. А я гордился своей красавицей мамой, она всегда была всех красивее, и ее везде любили…

Там было чисто и красиво. Праздничные красиво одетые люди, на отдыхе. А вокруг, накрытое густой зеленой кровлей деревьев, было море фонтанских дач. Маленькие участки земли, небольшие домики из ракушника, деревья.

А с высоких обрывов открывалась ровная чаша моря и идущие вдоль берегов фонтанские прогулочные катера.

Море было большое, свое, привычное, и лежало у меня на ладонях, как полная чаша жизни…

Рубен Ашрафиан

Батюшка

Когда мне приходится слышать, что человеческая жизнь трагична, поскольку, мол, заканчивается всегда одним и тем же, я улыбаюсь. Никто ведь ничего не знает точно: заканчивается ли жизнь вообще, или что-то за ней последует… За исключением посвященных, об одном из которых я собираюсь теперь рассказать.

Пару месяцев назад попалась мне в руки любопытная книжка – карманного формата «Молитвослов» с тремя десятками гравюр в тексте, издания Киево-Печерской лавры 1839 года в очень хорошей сохранности, что для подобных книг редкость. На одной из начальных страниц я обнаружил владельческую надпись: «7 января 1892 года меня удостоил посещением епископ Николай». Как выяснилось, для тогдашнего владельца книги, а им оказался отец Иаков Корчинский, посещение это стало судьбоносным. Краткая биография протоиерея Иакова Кузьмича Корчинского изложена историком В. Михальченко в объемном труде «Духовенство Одессы. 1794-1925», при работе над которым использовались в том числе и материалы Архива управления СБУ Одесской области.

Итак, родился он в 1861 году неподалеку от Киева. По окончании четырехклассного духовного училища возведен в сан диакона и определен в сельскую церковь в Александрийском уезде Херсонской губернии. Каким образом его путь пересекся со знаменитым иерархом Николаем (Зиоровым), светским и духовным писателем, в недалеком будущем членом Государственного Совета, неизвестно. Скорее всего, дело в родственных связях… Как бы то ни было, 1 августа 1895 года по представлению архиепископа отец Иаков переведен в Алеутскую епархию и рукоположен во священники. Однако после четырех лет в Русской православ-

ной миссии на Аляске предпочитает вернуться домой, что вполне объяснимо: полярные ночи не сравнить с тихими украинскими… Впрочем, служба в храме при Херсонском исправительном отделении тоже не сахар. В конце 1908 года он чудесным образом переводится в Северо-Американскую епархию, в город Маунт-Корнел, где вскоре назначается благочинным всея Пенсильвании. Далее – переезд в Нью-Джерси, избрание вице-президентом Русского эмигрантского общества в Северной Америке…

В 1912 году что-то случается. Отец Иаков Корчинский неожиданно уходит на покой в возрасте 50 лет. Хочется верить, что кукурузный виски и актриса Мэри Пикфорд тут ни при чем… Он возвращается в Одессу, покупает квартиру в центре города и… ничем не занимается в течение двух лет. Наверное, все же он штудировал медицинские учебники, поскольку в 1914 году вновь прибывает в Штаты, поселяется в Питтсбурге и еще через два года получает диплом врача. Казалось бы, теперь можно успокоиться – прекрасное американское будущее обеспечено. Ан нет. Видимо, снова прибегнув к помощи своего высокого покровителя, отец Иаков получает сан протоиерея и назначение на Гавайские острова в качестве миссионера… Алоха, православные! Все хорошее рано или поздно заканчивается. В конце 1916 года умирает архиепископ Николай Зиоров – должен признать, весьма своевременно. Наш пассионарный батюшка вновь плывет в Россию через Тихий океан. Выбраться обратно ему уже не удалось…

В 1917-м он приписан к 50-му рабочему батальону в Одессе, время от времени служит в церкви Александра Невского при Одесском военном госпитале. Думаю, дальнейшие события пересказывать излишне… Последнее место его духовного служения – церковь Рождества Богородицы в Роксоланах. Оттуда в 1935 году он уволен за штат и вынужден устроиться сторожем во Дворец культуры ЗОРа (завод Октябрьской революции, если кто не знает). 22 июня 1941 года на СССР напали фашисты, а на следующий день следователи УН КГБ закрыли восьмидесятилетнего старца во внутренней тюрьме – как участника антисоветской группы, статьи 55-10 и 55-11. То есть расстрел с конфискацией имущества. Не могу не восхититься быстротой реакции: «Ждете от нас работы? А мы-то как раз работаем!». Известный адвокат Штейнберг

обжаловал приговор в Президиуме Верховного Совета, и Президиум Верховного Совета пошел навстречу: расстрел заменили 10-ю годами лишения свободы. К тому времени протоиерея Иакова Корчинского уже три месяца как не было среди живых. Ввиду военной обстановки приговор был приведен в исполнение 19 июля 1941 года, согласно постановлению Военного совета Приморской армии.

Так вот, смею утверждать: судьба раба Божьего Иакова ни в коем разе не была трагической. Это отчетливо видно хотя бы на фотографии, сделанной в тюрьме: перед нами старик с умными глазами и слегка ироничным выражением лица. Смотрит даже ласково. Будто пытается сказать: «Дети мои, желаю, чтоб расстреливал меня полный взвод автоматчиков, и чтоб командовал генерал…». Последние пять лет жизни в качестве сторожа клуба – достаточный срок для того, чтобы подготовиться, привести в порядок мысли и чувства… Потом – быстрая смерть от пули. Тем же, кто продолжил жить в 1941 году, действительно не позавидуешь.

Одесский календарь

116 Олег Губарь
Первичное формирование Еврейской улицы

Олег Губарь

Первичное формирование Еврейской улицы

Еврейская Старина

въ Одессѣ.

(Къ исторіи евреевъ въ Одессѣ въ первое 25-лѣтіе ея основанія.)

Составилъ на основаніи неизданныхъ данныхъ

С. ПЭНЪ.

66674

ОДЕССА

Типографія „Издатель" Я. Х. Шермана, Троицкая 2

1903

В соответствии с ведомостью от 15 сентября 1794 года о раздаче мест под застройку домами, лавками, магазинами и обзаведения садами в Хаджибее, участки получили и еврейские первопоселенцы: Абрамович, Герц, Гершкович (двое последних – участки встык по нынешней Еврейской угол Пушкинской), Израилев (по Ришельевской угол Еврейской), Ицкович (по Еврейской, между Екатерининской и Ришельевской), Фишель Фельдишевич – в районе будущего Нового базара.[1] Тем самым было положено начало первому еврейскому району, который, как мы еще не раз убедимся, и впрямь формировался вокруг одноименной улицы, охватывая прилегающие кварталы Ришельевской, Екатерининской и др. К уже названным лицам следует приплюсовать и маркитанта Медведева (буквальный перевод фамилии Берман), получившего то самое место на углу будущих улиц Еврейской и Ришельевской, где вскоре выросла первая городская синагога.[2] С. Пэн говорит о том, что она функ-

ционировала уже в 1795 году[3], с чем надо согласиться. С миньяном не было проблем буквально с первых дней существования Одессы, ибо в составе еврейских семейств, как, впрочем, и в других, преобладали мужчины.

Имена еврейских первопоселенцев в сказанной ведомости не упомянуты. Однако по ревизским записям мне, например, удалось установить: Ицик Гершкович причислен в одесские мещане одним из самых первых – в 1795 году; в составе семьи двое мужчин и две женщины.[4] В более поздних архивных документах он фигурирует как одесский купец Илья Гершкович. В 1805-м ему выдали из Строительного комитета план на переустройство дома здесь же, в середине нечетной стороны квартала по Еврейской улице, меж будущими улицами Ришельевской и Итальянской. Ранее 21 июля 1824 года Гершкович продал эту недвижимость херсонскому мещанину Иосю Алтино по купчей крепости, совершенной в Херсонской палате гражданского суда. Новый владелец обратился в Комитет для получения документа, позволяющего произвести оценку строений посредством Городового магистрата. Для освидетельствования направили исполнявшего тогда обязанности архитекторского помощника Ф.К. Боффо, и тот зафиксировал, что «противу того плана (1805 года. – **О. Г.**) дом построен вовсе несходственно»[5]. То есть у Гершковича тогда явно не хватило средств, и он построился скромнее. На городском плане второй половины 1820-х мы видим на этом участке четыре небольших строения: два по фасаду Еврейской улицы и два во дворе.[6]

К сожалению, два важных архивных дела из фонда Одесского городского магистрата – «Списки евреев» (1806) и «Алфавитный регистр одесским купцам и мещанам еврейского закона, по переписи 1806 года записан» – не сохранились.[7] Утрачены и списки 1799 года[8], однако есть основания предполагать, что их в определенной мере восполняет упомянутый выше реестр, составленный по материалам ревизии 1795 года. Насколько можно судить из имеющихся архивных документов, названный выше Ицкович, которого звали Берко, сперва построил времянку, а в 1806 году стал возводить новый дом, получив с санкции Ришелье в Строительном комитете ссуду в 1.000 рублей сроком на полтора года[9]. В 1810 году в одесское купечество записан Нухим Ицкович;

в составе семьи помимо его самого – две женщины.[10] Так или иначе, Берко Ицкович, состоявший в 1806 году в одесском купечестве, был первым реальным владельцем места на углу будущих улиц Екатерининской и Троицкой[11] – того, где в начале 1960-х построена поликлиника. Позднее (1846) известен также одесский купец и домовладелец Исаак Абрамович[12], однако я пока не могу убежденно говорить, имеет ли он отношение к сказанному первопоселенцу.

В числе лиц, в ноябре 1795 года подписавших устав еврейского погребального братства, был и Яков Аглицкий, именовавшийся в ту пору Янкелем Литваком.[13] Местоположение его дома определяется по косвенным данным: в одном из архивных дел 1820 года упоминаются места № 225-226 в XXVI квартале Военного форштата, «по Троицкой улице, за Литваком»[14]. Это середина квартала по четной стороне, меж нынешними улицами Пушкинской и Ремесленной, пятно застройки домов № 18 и 20. Слева, на углу Пушкинской, тогда находилась недвижимость довольно известного исторического фигуранта одесского купца первой гильдии Симона Стифеля[15], к слову, выкрещенного немецкого еврея. Следовательно, дом Литвака находился справа, на углу Троицкой и Ремесленной.

Ясно, что на момент раздачи мест в августе-сентябре 1794 года все перечисленные лица были еще приписаны к другим городам и населенным пунктам. Позднее, с созданием институтов городского самоуправления, некоторые из них причислены в одесское купеческое или мещанское сословие.

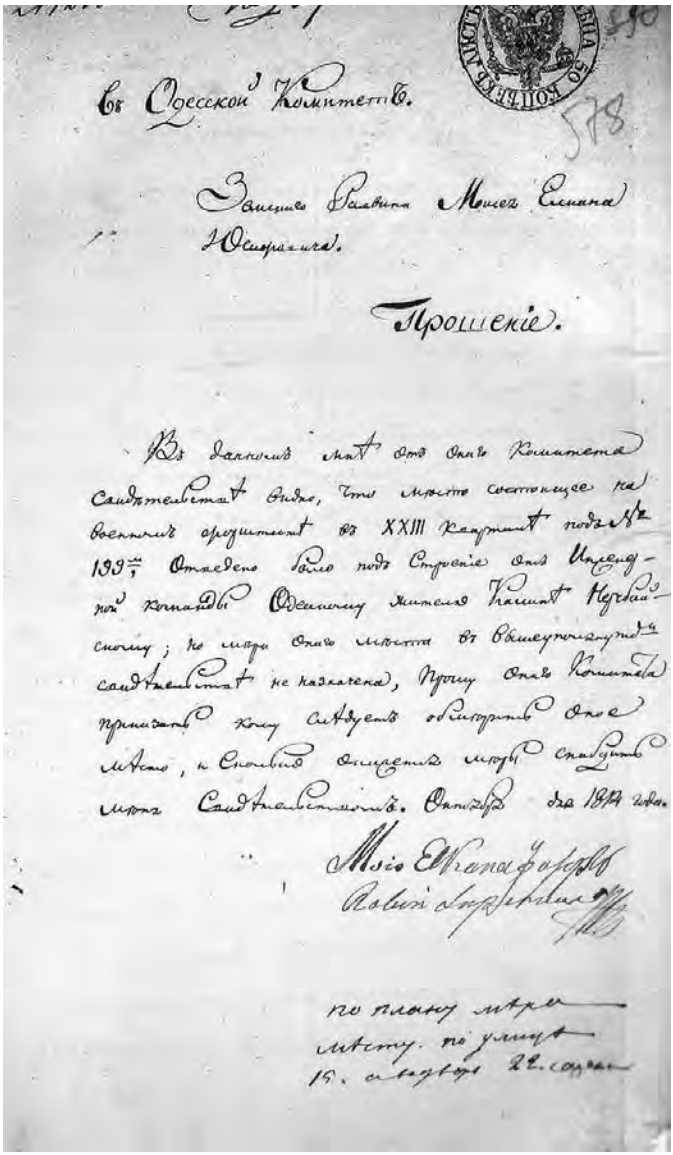
Надо уточнить: первично розданные места не были застроены тотчас по объективным причинам (неподходящие погодные условия, острый дефицит временного жилья, строительных материалов, рабочей и тягловой силы, топлива, воды), и в первый строительный сезон следующего 1795 года произошло частичное перераспределение участков.[16] К сожалению, на сегодняшний день утрачены многие архивные материалы из фонда Одесского городского магистрата, связанные с раздачей мест под застройку, а равно журналы Инженерной команды. Это сильно осложняет воссоздание хода сплошной застройки в интересующем нас ареале. С 1803 года эти и другие функции перешли к Одесскому

строительному комитету, в фонде которого нередко попадается информация о предшествующем периоде градостроительства.

Информационные пробелы не позволяют, например, установить точную дату отвода места в квартале по нечетной стороне меж будущими улицами Ришельевской и Екатерининской, подле первой синагоги, небезызвестному семейству Шестопал. Очевидно, это произошло в 1795-м, ибо как раз этим годом датируется устав Еврейского погребального братства, в числе других подписанный Менаше Шестопалом[17]. Среди ревизских евреев Одессы находим четыре мещанских семейства: Ицки Шестопала (1806) – четверо мужчин и две женщины, Мошки (Моше), Вигдора (Авигдора) и Менаше (в невежественной огласовке писца – Монашки) Шестопалов (1811) – в общей сложности 12 мужчин и 12 женщин.[18] В декабре 1818 года архитектор Александр Дигби составил план, по которому на месте первичных ветхих строений Вигдор и Менаше Шестопалы построили новый двухэтажный дом с лавкой по утвержденному Одесским строительным комитетом плану.[19]

Еще одна ранняя постройка – дом «купца евреина Юдковича» (одесского мещанина Янкеля Юдковича), оконченный в 1805 году[20]. Затем он также владел домом на периферии, по Рыбной улице, впоследствии принадлежавшим его наследникам.[21] Первичная постройка на пересечении улиц Успенской нечетной и Преображенской четной 5 апреля 1806-го значится за «одесским мещанином евреином Ноткой Юдковичем»[22], а с 19 сентября 1807-го по крайней мере до начала 1820-х – за одесским мещанином Давидом Лейбовичем Асланом (Осланом)[23]. Летом 1820 года вместо архаичной постройки на углу улиц Еврейской (нечетной) и Екатерининской (нечетной) плановый дом возвел одесский мещанин Моше (Мошка) Фишелевич.[24] При этом адрес этого строения прямо указан «на Еврейской улице».[25] 17 января 1821 года ему выдали владельческие бумаги.[26]

Ранее, в июле 1814 года, местный раввин Мозес Элкан Юзефович запрашивает Строительный комитет о мере земли под принадлежащим ему домом, находящимся в квартале по четной стороне Еврейской улицы, почти напротив первой синагоги. В октябре того же года он повторяет свою просьбу. Комитет фиксирует, что прежде место было отведено мещанину Калине



Въ Одесской Комитетъ.

Земскаго Раввина Мозеса Елкана Юсифовича.

Прошеніе.

Въ данномъ мнѣ отъ онаго Комитета свидѣтельствѣ видно, что мѣсто состоящее на военномъ форштатѣ въ XXIII кварталѣ подъ № 199, отведено было подъ строеніе отъ Инженерной команды Одесскому жителю Калинѣ Нерубайскому; но мѣра онаго мѣста въ вышеупомянутомъ свидѣтельствѣ не назначена, прошу онаго Комитета приказать кому слѣдуетъ обмѣрить оное мѣсто, и сколько окажется мѣры снабдить мѣрою свидѣтельствомъ. Октябрь дня 1814 года.

Мозіо Елкана Юсифовъ
Ковин Зарфинъ

по плану мѣра
мѣсту. по улицѣ
15. сентября 22. сажен

Прошение раввина Мозеса Элкана. Октябрь 1814 г.

Нерубайскому[27], у которого раввин, очевидно, и купил дом. В свою очередь, Нерубайский получил участок, не застроенный первым его владельцем мичманом Щитинским[28].

Любопытна история ранней застройки одного из угловых участков на перекрестке нынешних улиц Еврейской, № 15, частично № 13, и Ришельевской, № 31, то есть напротив Главной синагоги. По ретроспективному городскому плану это было место № 244 в XXVII квартале Военного форштата. Экспозиция на бойком месте и большой интерес к нему привели к тому, что уже до чумной эпидемии на одном этом участке обосновалось одновременно трое застройщиков: австрийский подданный, еврей Меер Ундер[29], мещанин-еврей Шейлок Таран и авторитетный негоциант югославянского происхождения Матвей (Маттео) Лукович.

15 апреля 1812 года Лукович просил Строительный комитет отдать ему все место целиком, однако в ходе ревизии городской архитектор Франческо Фраполли зафиксировал там плановый дом Тарана, флигель Ундера и дом самого Луковича. При этом Луковичу принадлежало лишь около 30% места по площади. И только по истечении десяти с половиною лет, в октябре 1822-го, он купил место Тарана вместе со строениями[30].

Примечания

[1] Застроение города Гаджибея, теперь Одессы, в 1794 году. – Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 590-594.

[2] Там же.

[3] С. Пэн. Еврейская старина в Одессе. – Одесса, 1903, с. 18.

[4] ГАОО, ф.17, оп. 3, д. 445, л. 5.

[5] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 286, л. 129.

[6] Одесский государственный историко-краеведческий музей, инвентарный № К-605.

[7] ГАОО, ф. 17, оп. 3, д. 229, 230 (утрачены).

[8] Там же, ф. 4, оп. 4, д. 153 (утрачено).

[9] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 20, л. 163-173.

[10] Там же, ф. 17, оп. 3, д. 445, л. 9.

[11] Там же, оп. 1, д. 17, л. 80-83; Там же, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 326.

[12] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 918 – 6 л.

[13] С. Пэн. Еврейская старина в Одессе. – Одесса, 1903.

[14] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 165, л. 389-392.

[15] Там же, д. 17, л. 176-177.

[16] Подробнее см.: Олег Губарь. Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы. – Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах (сб.). – Кн. 35-41, 43, 45-47, 49, 50, 54, 55.

[17] С. Пэн. Еврейская старина в Одессе. – Одесса, 1903.

[18] ГАОО, ф. 17, оп. 3, д. 445, л. 23.

[19] Там же, ф. 895, оп. 1, д. 319 (чертеж); Там же, ф. 59, оп. 1, д. 1484 – 23 л.

[20] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 13, л. 42-43.

[21] Список домам и прочим строениям, состоящим в 1-й части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г, с. 22.

[22] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 186, л. 589.

[23] Там же, л. 582, 583, 588, 594.

[24] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 8, л. 4.

[25] Там же, д. 278, л. 16.

[26] Там же, д. 279, л. 13.

[27] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 368-369, 578.

[28] Застроение города Гаджибея, теперь Одессы, в 1794 году. – Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 592.

[29] Очевидно, эта фамилия австрийских выходцев немного искажена и должна записываться как Унгер или Унгбер. Ее представители известны в Одессе по крайней мере с 1809 года. – ГАОО, ф. 4, оп. 107, д. 1, № 36 и 54 (первый реестр), № 44 (второй реестр).

[30] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 231, л. 241, 252, 253; Там же, д. 65, л. 247-248; Там же, д. 80, л. 67-71.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

124 **Анна Бердичевская**
Сарабанда

140 **Ганна Костенко**
Дід Лукич

143 **Ирина Озерная**
Метаморфозия

146 **Виктория Коритнянская**
Апперкот

149 **Анна Михалевская**
Закрытый маршрут

153 **Татьяна Мартынова**
Увидимся в Одессе

156 **Валентина Силантьева**
Вадим Смеляков и Валерия

165 **Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук**
Отмычка Соломона

Анна Бердичевская

Сарабанда

Памяти пианиста Юрия Агафонова

14 апреля преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано Николай Янович Гус шел на занятия и думал о предстоящем дне. Школа была старая, недалеко от Арбата. Еще на дальних подходах к серому мрачному дому прохожие, редкие в узком переулке, начинали вертеть головами и прислушиваться. Им чудилось, что они входят в зал оперного театра после антракта, когда в оркестровой яме вразнобой разминается оркестр. В сыром и весеннем, никак не театральном воздухе вдруг гобой захнычет гундосо, а поверх арфа раскатисто и мелодично рассмеется, скрипочка отвратительно взвизгнет, и литавры грянут ликующе… Но Гус за двадцать с лишним лет так привык к ежедневным этим воплям, что почти перестал их различать. Вот еще что: чем ближе он подходил к школе, чем громче они становились, тем меньше он их слышал… Странно.

Николай Янович жил возле огромного зоосада, и нередко под его окном за открытой настежь форточкой возникало нечто подобное. Случались и особые ночи, когда крики животных из вольеров будоражили и не давали спать не только учителю музыки, но и всей округе, и даже небесам – в них средь облаков что-то мерцало и вспыхивало, а то и нежданный дождь гулко проливался… В первые годы после развода-разъезда с женой эта какофония часто будила его, но еще чаще проникала в сон, и тогда ему снилось, что он опаздывает в школу, где заждавшаяся музыка бьет копытами, мычит и гогочет… А вот теперь громкие внешние звуки почти ушли из его жизни, так что он порой пугается, не теряет ли слух. Проверялся несколько раз у врача, вроде все в порядке…

Сегодня его осенило. Видимо, именно громкие, назойливые, «чрезмерно взыскующие» звуки стал он попросту пропускать мимо ушей. Все, что вопит, – неважно, все это неважно.

А что же важно?..

Николай Янович перебирал намеченные на сегодня встречи с учениками разных классов, от второго до пятого. Задания, которые они от него получили, он вспоминал не именами композиторов, не названиями пьес и этюдов, не номерами нотных страниц… он вспоминал их напрямую – музыкой. И учеников он помнил не по фамилиям, а больше по их ушам, розовым или бледным, оттопыренным или аккуратно прижатым, а также по косичкам, челкам и вихрам, маячившим над клавиатурой. И, конечно же, помнились ему разнообразнейшие кисти рук, и особенно пальцы, не попадавшие по черным клавишам, выбивавшиеся из ритма, разрывавшие музыку и замиравшие в испуге от…

Гус вдруг останавливается посреди Большой Никитской, пожимает плечами и говорит именно этим, вдруг им увиденным, испугавшимся и остановившимся кистям рук:

– Грабли!

Говорит вслух. Замечает это, обиженно глядит по сторонам, как бы ожидая сочувствия у мокрых домов и спин прохожих. Не дожидается и идет дальше… Да, он знает за собой кое-какие странности. И еще он иногда подозревает, что ученики зовут его гусем. Так Николая Яновича (Коленьку) действительно дразнили. Наверное, и его отца Яна, и деда Станислава, и прадеда Сигизмунда тоже… Но уже давно никто его никак не дразнит. Он старый скучный строгий человек, ничуть не похожий на гуся. Скорее уж на небольшого облезлого дятла с твердым носом… Нет, и на него не похож. Сходству с дятлом мешают большие и широко поставленные глаза, светлые, повторяющие цвет неба в любую погоду… только не в безоблачную, не в солнечную. В глазах Гуса с юности стаял некоторый туман, голубая дымка, а теперь и вовсе – бесцветная облачность. Бывает (очень редко), когда он сердится и краснеет, облака в его глазах сгущаются в тучи. Но молния сверкает редко.

Есть все же один ученик, которого он знает не по ушам, а по фамилии. Ти-мо-хис… С самого начала эта фамилия произвела

на Гуса странное впечатление. *Тимохис из Губахи* – так этот новый мальчик был представлен ему впервые.

Прошлой осенью мальчика привела в класс завуч школы. Стоял ненастный, со снегом октябрь, набор новых учеников давно миновал, и тут вдруг… «Надо взять, – негромко и значительно произнесла завуч, склонившись над Гусом. – Извините, что прервала урок, мальчика еще предстоит оформить в интернат, а то ему спать сегодня будет негде… Уверяю, это уникальный случай…»

В классе стояло два рояля, за тем, что у окна, сидела смуглая кудрявая девочка пятиклассница, очень хорошенькая, и рассматривала новенького. Который не обращал внимания ни на нее, ни на что вообще, стоял расхлябанный и безучастный.

– Слава, – окликнула мальчика завуч, – подойди.

Ученик сделал шаг в ее сторону. Она погладила его по голове и сказала с некоторым нажимом, подчеркнуто-значительно:

– Вот, это наш Тимохис из Губахи.

Мальчик смотрел в окно. Там сыпал не по-осеннему уверенный матерый снег. А в доме напротив на единственном не застекленном балконе под снежной канителью стояла пальма в кадке. Наполовину сухая или померзшая, только три густо-зеленых, как будто рваных листа торчали упрямо.

– Слава! – снова окликнула мальчика завуч. – Ты будешь жить в интернате, частном, очень хорошем, для одаренных мальчиков и девочек, учиться, как и у себя в Губахе, в третьем классе общеобразовательной школы. А у нас, в нашей замечательной музыкальной школе, пока что мы записали тебя во второй класс. Посмотрим на твои успехи. Вот твой педагог по фортепиано. Его зовут Николай Янович Гус.

– Гусь? – Тимохис живо повернулся к педагогу, лицо его на миг просветлело. Он Николая Яновича *ясно увидел*, то есть даже взял, да и заглянул в него. Учитель выдержал.

– Моя фамилия Гус-с, – поправил он ученика, просвистев двукратное твердое С. – Впрочем, зачем тебе?.. Зови меня просто по имени отчеству.

Мальчик перевел взгляд на свободный рояль.

– Я сыграю, – внезапно сказал он. – Разрешаете?

– Нам пора в интернат… – начала было не разрешать завуч.

Но Тимохис, уже открывший крышку рояля, не оборачиваясь, сообщил:

– Я быстро…

И тут же он, едва присев на табурет, сходу в невероятно бойком темпе сбацал на рояле «Танец маленьких лебедей». Как-то странно, как деревянными палочками на ксилофоне. И не полностью. А типа «один куплет». После первого «пара-пара-рам», завершающего основную тему, Тимохис из Губахи приостановился, чтоб, не убирая рук с клавиш, сказать:

– А теперь – обратно…

И в том же несусветном темпе, словно опасаясь, что прервут, «прокрутил» маленьких лебедей задом наперед. Он остановился на первой ноте как на последней.

В «обратном направлении» Чайковский прозвучал неузнаваемо и даже возмутительно. Но Гус каким-то образом и узнал, и понял – сыграно безукоризненно точно, с попаданием во все клавиши… Мальчик закрыл крышку, встал с табурета и снова уставил взгляд в снегопад, за окно, в направлении кадки с пальмой.

Завуч глубоко вздохнула, а Гус с интересом рассматривал мальчика. Его кисти рук вот уж точно не были граблями. И в то же время, как лапы у совсем юного щенка крупной породы, они казались не по размеру, порядком были великоваты для второклассника… и третьеклассника. Пальцы длинные, нервные и сильные. Ногти, похоже, обкусаны… Николай Янович задумался невесть о чем.

– Ну так что, мне идти одеваться? – как-то неожиданно спросил Тимохис.

Завуч спохватилась, вспомнила про интернат.

– Иди-иди. И подожди меня у гардероба, – сказала она.

Когда мальчик вышел, она снова склонилась над Гусом:

– Удивительный случай, нельзя было не взять… – на этот раз голос ее звучал довольно растерянно. – Понимаете, в этой Губахе шахты, на одной был взрыв, даже по телевизору в новостях… – завуч торопилась все-все объяснить. – У мальчика никого не осталось из взрослых, а он талант… ну, правда, необычный. И кто-то из владельцев шахты решил принять в нем участие…

– Хорошо-хорошо, – сжалился над нею Гус. – Пусть занимается.

Завуч ушла вслед за Тимохисом, и Николай Янович вспомнил о смуглой девочке, к которой относился особенно, – она была особенно способной его ученицей. Учитель увидел, что девочка, уткнувшись в свои ноты, перелистывала их задом наперед. И сразу догадался: «Прикидывает, сможет ли сыграть своего Брамса от конца к началу…». И еще он подумал не без ехидства: «Ну вот, поздравляю вас, госпожа завуч, в школе начинается эпидемия игры на фортепиано шиворот-навыворот»…

Все это было в октябре. За полгода никаких внешних перемен в жизни школы или самого Гуса не произошло. И эпидемии имени Тимохиса не случилось. Ученики Николая Яновича даже попарно редко встречались в фортепианном классе, а все вместе собирались только на занятиях по сольфеджио или на хоре. Почти никто не узнал об «уникальных способностях» Тимохиса из Губахи и не пытался повторить его аттракцион, проделанный с Чайковским. Смуглая пятиклассница, может, и попробовала провернуть тот же фокус с Брамсом, но попытка была, видимо, неудачной, и вообще, осталась тайной… Девочка она была гордая. Она была… учитель знал, но вечно забывал неуклюжее немецко-латинистое слово*, недавно стремительно вошедшее в разговорный язык, – *перси…* еще чего-то и еще как-то… *ристка*. Николай Янович освоить слова не смог, точнее, не захотел смочь, но с некоторым изумлением наблюдал по телевизору, как какой-нибудь хозяин заводов, шахт, пароходов или министр культуры с гордостью, но, главное, без запинки называли себя этим *перфе… фици*… еще чего-то… Чудесная, талантливая и кудрявая девочка была как раз из этих несчастных «перфе…».

Плюсквамперфект! – вот что внезапно выпало из древних отложений в гусовских мозгах. Так называлось какое-то сложное немецкое время, то ли прошлое в будущем, то ли, наоборот, будущее в прошлом… Он когда-то учил немецкий, и выучил – на четверку в аттестате зрелости. «Вот!.. Этих, жаждущих тотального совершенства, можно звать попросту плюсквамперфекционистами! Чего легче!» – сердито подумал Николай Янович.

Еще он подумал про Тимохиса.

* Скорее всего, речь идет о перфекционистах, людях, убежденных, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

Он про него вспоминал часто. Мальчик особенно-то не блистал, разве что очень быстро выучивал этюды Черни и прочие пьесы для второго класса. Вначале, то есть в октябре еще, для завуча и некоторых учителей выяснилось, что Тимохис был, как говорится, «неразвитый и запущенный». Гус такого рода выражений терпеть не мог, его самого однажды так аттестовали, вот тогда из его туманных глаз, возможно, и вылетело несколько молний в обидчика… Гус вспомнил, это была его теща. Она так шутила. Что-то по поводу его незнания правил поведения за столом. А он и не собирался их знать!.. Но ничего-то он теще не ответил, потому что очень, очень любил ее дочь…

С Тимохисом был случай особый. Как-то прослушав в его исполнении детский чудесный этюдик Шопена, Гус посмотрел на мальчика с тоской и спросил:

– Скажи, ты и Шопена можешь сыграть задом наперед?..

Тимохис кивнул.

– А зачем?.. – как бы удивился учитель.

Ученик молчал.

– Ты думаешь, все можно задом наперед? Все-все?..

Тимохис отвернулся. Николай Янович вздохнул. Но не сдался.

– Ну, ладно. Понимаешь, музыка как стихи. И то и другое – написано людьми и для людей. Все мы живем от начала к концу. И только так, в этом всеобщем направлении мы можем слышать, понимать и музыку, и поэзию… Порядок слов и порядок нот – это очень важно… Давай проверим. Ты какие-нибудь стихи знаешь? Хотя бы Лермонтова?.. Или другого автора, но чтоб стихотворение, настоящее… Прочти мне.

Тимохис как-то напрягся, потом вроде бы глубоко задумался, глядя, как всегда, в окно. И все-таки повернулся к учителю, мельком глянув ему в глаза, ускользая, отворачиваясь.

– Знаю. Про город Губаху.

Ответил и сразу прочел:

Город Губаха не Синяя птица,
В небо ему не взлететь!..
К парку Гагарина сердце приварено,
Здесь нам жить и петь.

Он снова вскользь посмотрел на Гуса и неожиданно, впервые попытался что-то объяснить:

– Дядя Толя написал, напечатали в газете «Шахтер Губахи».

– Это единственное?.. Или он еще чего-то пишет?.. – осторожно спросил Николай Янович.

– Писал… – быстро ответил Тимохис. – Про парус… *белеет парус одинокий в тумане моря голубом…* Он мне много читал, я… не запомнил. Только про город Губаху. Напечатали в черной рамке, с портретами всех, кто из Северной не поднялся. Я вырезал. В мае будет год.

От мальчика вдруг холодом пахнуло… А учитель забыл о порядке слов в стихах и не стал расспрашивать дальше.

В нотном отношении Тимохис оказался безграмотным вполне. Непонятно даже, учился ли он хотя бы в подготовительном классе музыкальной школы. Он был настоящий «слухач». С этим явлением Гус был знаком и не удивился. В Марьиной роще, где он родился и где они с мамой долго жили после войны, был один такой слухач, контуженный фронтовик. Услышит первый концерт Чайковского по радио – и пожалуйста, наяривает, сидя под липой на лавочке, – играет со страстью на трофейном баяне. А где что не удалось запомнить – бурно импровизирует… Но задом наперед тот слухач не играл никогда. И так неплохо зарабатывал, и был всегда под мухой. Дядька действительно любил музыку…

А что с Тимохисом? Учитель видел и слышал – этот мальчик еще ни разу не полюбил ни одну из пьес, которые так споро и точно разучивал. Грамоту нотную он, конечно, почти сразу освоил, буквально за неделю, чем обнадежил и утешил завуча, и по сольфеджио пошел лучше многих. А вот в хоре не пел, только вид делал, по принципу «открывает рыба рот, а не слышно, что поет»… Завуч предупредила преподавателей, что у мальчика была психологическая травма, что-то там стряслось в его Губахе, на шахте Северной… Так что, по классу хора к Тимохису «с пением» не вязались, открывает рот – и ладно… хотя бы не врет…

И Николай Янович с «любовью к музыке» к мальчику не вязался. Но ждал. Зачем-то же были даны Тимохису такие руки, такой слух и такая музыкальная память. Что же до любви… Бы-

вает, что бодливой корове Бог рог не дает. А бывает, что рога-то есть, а корова не бодливая… Так учитель думал некоторое время, пока не услышал стихотворение про город Губаху, который не Синяя птица… Сейчас, апрельским серым днем идя на работу, он пытался припомнить: когда же из уст Тимохиса прозвучало про парк Гагарина?.. Не мог вспомнить. Но неожиданно догадался, что сердце было приварено к парку не только у дяди Толи, но и у маленького Тимохиса… Перед экзаменами за первое полугодие! Вот, все-таки вспомнил – когда… И привычная мысль промелькнула: *быстро время бежит…* Даже и не мысль, просто вздох вырвался.

Ударил колокол.

И совсем не громко, просто гулко. Гус остановился. Увидел: слева желтеет большая церковь, в ней когда-то венчался Пушкин… Огромный негромкий звук осязаемо отдался во всем старом теле учителя, особенно в ноющем колене, но и в сердце, и в голове. Звук совсем замер, когда снова ударил колокол. «Страстная пятница?» – сам у себя спросил Гус и не смог ответить.

Он знал, что его, с молчаливого согласия партийной матери, крестила няня. Няня и рассказала, что он крещеный, когда Николенька уже совсем вырос. В шестидесятые на книжном развале он купил Евангелие, иногда его перечитывал. Изумительно короткая, и притом огромная книга!.. А в церкви Гус и не бывал почти… Вот и все.

Колокол ударил в третий раз. *В Средние века считалось, что колокольный звон препятствует распространению эпидемий чумы и холеры*… – вспомнил Николай Янович. И тут же сказал вслух:

– Верю!

Он посмотрел на часы. И с удивлением обнаружил, что до начала занятий оставалось полчаса, а школа-то оказалась совсем уж рукой подать, можно было совершенно не спешить.

Да ведь он же и так не спешил…

«Как же это?! – вдруг взволновался Гус. – Совсем я умом еду…»

На светофоре замигал зеленый человечек, но Николай Янович через улицу не пошел, остался стоять. «Что же это? – с глубоким

недоумением снова спросил себя он. – Как же случилось, что образовалось «лишнее время»? Когда?..»

Его ноги лучше него самого знали путь и время до школы. Они никогда не ошибались и всегда приводили учителя за пять минут до начала занятий. Он посмотрел на свои ноги. Николай Янович не помнил, чистил ли башмаки сегодня, и убедился, что чистил…

И вдруг, неизвестно почему, но с огромным облегчением догадался: время отмоталось задом наперед – в точности, как танец маленьких лебедей у Тимохиса!..

Он покраснел от волнения, и глаза его стали сизыми, грозовыми.

Вот это да! Вот это прозрение…

Дело было вот еще в чем.

Вирус Тимохиса в школе все-таки кое-кого затронул. Самого Гуса Николая Яновича. Все зимние месяцы именно Николай Янович Гус, он один из всей школы, как дурак, по вечерам у себя дома пытался задом наперед сыграть хоть какое-нибудь произведение из тех, что прочнее прочного сидели в его памяти, в его узловатых пальцах. Но пальцы, как он ни бился, не могли играть ноты в обратном направлении, просто – не желали! Видимо, они вот уже больше полувека играли не ноты с листа, а именно музыку. Как и тот контуженный слухач из послевоенного детства, он ведь играл не по нотам – по музыке… А Тимохис из Губахи? Он, значит, играл и играет только – ноты? Да ведь он же их и не знал… Стало быть, по-своему знал. Пальцы знали, кисти рук знали: каждая клавиша – нота.

Но к самому Тимохису из Губахи прекрасные его руки словно и отношения не имели. Как какому-то механическому пианино, им было все равно, в каком направлении играть, что *туда*, что *обратно*… Как ногам Гуса – что на работу идти, что домой… «Но все-таки, – продолжал рассуждать потрясенный Гус, – вот я же *знаю, зачем* иду в школу! Мне все же туда *хочется* идти. В школе ученики, я помню их уши и пальцы, они – *мои ученики*!..» Гус оглядел пустую дорогу и перешел наконец на другую сторону на красный свет светофора. Перешел и снова остановился, чтобы вспомнить о том, зачем он после работы *хочет домой*. А затем хочет, что дома был *его собственный* старенький и любимый рояль, был кофе –

сколько хочешь и любой крепости, коньячок, кое-какая закуска… Книги. Свои, живее живого, воспоминания. И огромный зоопарк под окном…

Вот что случилось: Гус *понял* Тимохиса из Губахи. У Славы Тимохиса *своим* было только *прошлое*. И оно оборвалось, сломалось, исчезло в один страшный миг. Тимохис *хотел – туда*. *За* этот миг. Туда, где дядя Толя писал стишки и работал на Северной, и папа с мамой ругались-мирились, дарили подарки, отчитывали за двойки-тройки, гордились его музыкальными успехами, работали на той же Северной… просто – жили. *Жили*. И все друзья-товарищи, и расстроенное фортепьяно, и кличка Мацарт, и вся Губаха, и парк Гагарина были *свои*. А смерти – не было. Вообще никакой смерти.

Руки Тимохиса, отматывая от конца к началу музыку, пытались отмотать время, *туда – за* смерть, *за* разлуку, к *жизни*.

А сам Гус?.. Он не просто так подхватил *вирус Тимохиса*, каждый день пытаясь хоть что-нибудь, да сыграть *вспять*, к рождению, к *началу*, а не к концу… Он бился над этой нелепостью, как давно ни над чем не бился. Ему чудилась в ней не просто «ловкость рук», а – тайна. Как в «Пиковой даме» Пушкина. В совершенно неузнаваемой, зеркальной музыке как будто тайна времени скрывалась… и тайна старости. Немного отмотать времени… Как после войны отматывали электричество на счетчике…

Снова ударил колокол. Все на той же ноте, с которой начинается траурный марш Шопена. «Конечно, Страстная пятница… день, когда Бог умер, и время остановилось…» – подумал Гус и поспешил к школе.

В этот день у Тимохиса не было занятий по фортепиано, был хор и сольфеджио. Гус, идя на перемене по коридору, встретил его и остановил:

– Тимохис, после хора зайди ко мне на минуту.

Мальчик пришел. И снова смуглая пятиклассница сидела за дальним роялем, а Тимохис почти так же смотрел в окно, как полгода назад. Гусу показалось, что время не то чтобы пошло вспять, но совершило магический круг… И это придало ему уверенности.

Окно на этот раз было открыто – к вечеру с небес брызнуло солнце, а в школе продолжали вовсю топить, и, чего уж Николай Янович не мог терпеть – стояла духота. Он внимательно посмотрел на Тимохиса. Тот подрос, из рукавов синего школьного пиджака торчали уже не только кисти рук, но и тощие запястья.

– Вот что, Тимохис, я дам тебе одну пьесу выучить, вне программы. Ее только в конце третьего класса ученики обычно разучивают. Это Иоганн Себастьян Бах. Называется «Сарабанда». Слышал о Бахе?

– Слышал, – ответил Тимохис. – Бах в переводе с немецкого значит ручей.

– Вот-вот. Ручей, – подтвердил Гус. – Выучи «Сарабанду», когда сможешь. Думаю, тебе особого труда не составит… Вещь, в сущности, несложная. Танец.

– Танец? – Тимохис не ждал, брови его поднялись.

– Старинный испанский танец, сначала народный, потом во дворцах всей Европы стали его танцевать… А Бах на его основе создал… – Гус стремительно сел за рояль, – вот послушай.

Николай Янович сыграл «Сарабанду» почти до конца, остановился на полуфразе.

– Чувствуешь? Не просто танец, а как будто негромкий разговор между двумя людьми идет, и все, вроде бы, по кругу, по кругу, и так легко… но про что-то очень важное. Самое важное… Тема повторяется, но как бы вдруг подпрыгнет чуть-чуть и слегка изменится… Послушай…

Гус доиграл до конца.

Тимохис, как показалось Николаю Яновичу, слушал внимательно. И на руки учителя, пока тот играл, смотрел внимательно. Но потом снова повернулся к окну. Николай Янович расстроился.

– Что ты там разглядываешь? – спросил он ученика.

– Пальму.

Гус и смуглая девочка посмотрели туда, куда смотрел Тимохис.

В доме напротив на не застекленном балконе третьего этажа стояла пальма в кадке. В луче закатного солнца она выглядела роскошно: отросшие старые листья блестели, а из макушки нахально торчал пучок совсем свежих побегов, едва начавших раскрываться, как крохотные веера.

– Я ее помню, – неожиданно подала голос смуглая девочка. – Осенью она тут стояла, совсем облезлая. Я думала, ее выбросили.

– Нет, – нахмурившись, сказал Тимохис, он, казалось, был недоволен. – Не выбросили. А за зиму в тепле она вон как очухалась. Хоть бы чё.

– Странно, – сказала девочка. – Ты как будто не рад. Радоваться надо.

– Дура! – крикнул Тимохис. Он схватил ноты «Сарабанды», подбежал к окну и вспрыгнул на низкий подоконник полуоткрытого окна.

– Дура! – крикнул он снова. – Что ты в этом понимаешь!

И выпрыгнул в окно.

Этаж был цокольный, до асфальта метра два или чуть меньше. Старшеклассники, экономя время, и просто из озорства таким образом иногда выходили из школы. Гус это отлично знал. Но тихий замкнутый второклассник? И при учителе… Это был бунт!..

Но бунт не всегда безобразие… Нет, Николай Янович не был уж очень взволнован. Но, сидя перед роялем на вращающемся табурете, он почувствовал, что лучше ему не вставать. Ноги стали внезапно ватными. Он осторожно повернулся к девочке и сказал:

– Ничего-ничего, милая. С мальчиками это бывает… А у этого мальчика около года назад случилось горе. Ничего, это пройдет. Ступай, милая, на сегодня все.

В этот вечер он с трудом добрался до дому, где выпил коньяку чуть больше обычного и рано уснул.

Наутро он проснулся совершенно выспавшийся и бодрый. Может быть, потому, что ему приснилась мать. Ему приснилось, что она в раю и вся светится. Собственно, она не очень-то и была похожа на его маму, партийного работника среднего звена. Но во сне он точно знал, что это – она.

Она ему что-то сказала, что-то важное, и неожиданно просто, по-человечески. При жизни за нею это редко водилось, только когда он болел. «Может, я болен? – спросил у себя Николай Янович. И сам же ответил: – Конечно, болен. Болезнь называется старость». За окном обычной своей утренний жизнью жил зоопарк. Дворник поливал из шлангов водой асфальт, смотрители зоопарка

расходились по вольерам, перекликаясь между собой и разговаривая с питомцами, слышно было, как хищники, кто с нежным, кто со свирепым урчанием получали мясо, где-то в закрытом помещении трубил слон… День начинался ветреный, ветер рвал облака, и сквозь них пробивались косые лучи апрельского солнца. «Надо будет сходить в церковь», – неожиданно сказал себе Гус. На завтрак он сварил себе овсянки, выпил большую кружку кофе… Затем достал из холодильника три яйца, отварил их вкрутую, остудил холодной водой. Затем покрасил их тремя ходовыми своими фломастерами – в красный, синий и зеленый цвета, Покрасил неровной дырявой штриховкой и сказал себе: «Бог простит!».

И сел за рояль. Когда начал стареть, он положил себе за правило каждым утром проигрывать часть своего старинного репертуара. Сегодня у него было утро Шопена.

Настало время идти в школу. На этот раз он дошел спокойно, не останавливаясь, не разговаривая сам с собой. И день прошел как день, ученики в меру торопились, в меру врали, в меру теряли темп и, в общем, все старались. Последнее занятие было с Тимохисом. Он пришел хмурый и спокойный, можно сказать, деловитый. Ни ученик, ни учитель о вчерашнем не вспоминали.

– Ну, с чего начнем? – спросил Гус. – С Черни?.. Или с Кабалевского?

– С Баха… – сказал Тимохис.

– Подготовил? Не торопишься?.. – учитель посмотрел на него внимательно. – Значит – «Сарабанда». Давай.

Тимохис, как обычно, небрежно и бочком сел к роялю, открыл крышку и хотел сразу начать, но Гус хлопнул его по спине и строго скомандовал:

– А ну-ка, сядь, как я тебя учил! Расправь плечи, дыши свободно. Так… Никуда не спеши. Это танец неспешный, и – главное – разговор, разговор неспешный, понимаешь?.. О жизни и смерти. Вот так. Ну, начинай.

И учитель с учеником погрузились в Баха.

Тимохис со вчерашнего отлично запомнил ноты, но на этот раз расслышал, похоже, еще что-то. Его длинные крепкие точные пальцы играли еще не музыку, но именно разговор. Бессловесный, бесконечно честный, как это всегда было у Иоганна Себастьяна

Баха. Разговор с Богом. Тимохису из Губахи, видимо, тоже было что сказать Богу, и если раньше он не знал – как, то сейчас, вместе с Бахом, у него начало получаться… У него спрашивали – и он отвечал, он спрашивал – и ему отвечали. Нет-нет, до музыки было еще далеко, слишком много личного, слишком горьки обида, горе, разлука, безвыходность, окончательность смерти. Но жизнь и любовь уже поджидали, уже давали надежду бессмертной душе. Гус с учеником повторяли отдельные пассажи, учитель сердился:

– Не на ксилофоне играешь, не брякай… Забудь ты ноты, ты их уже знаешь! Музыку слушай!.. Вот здесь вот, тебя спросили – отвечай. Только не ври!

Николай Янович отодвигал руки Тимохиса и сам показывал – как спросили, и где начался ответ. И Тимохис его начинал понимать, и они двигались дальше.

Оба были если уж и не счастливы, то заняты бесконечно. И Тимохис заглядывал, заглядывал в глаза учителя, и получал ответ. В этот вечер в этом мире у него появился свой учитель.

Они засиделись допоздна, школа почти опустела. Вышли вместе, дошли до церкви, у которой накануне, в Страстную пятницу, Гус понял Тимохиса из Губахи. В этот вечерний час резко похолодало.

– Давай-ка зайдем, – сказал Гус ученику. – Я сегодня мать во сне видел, что она в раю… Ты в церкви на Пасху бывал?

– Нет, – ответил Тимохис. – Был только, когда сестренку крестили… Она сейчас в детском доме.

– Ну, пойдем.

И они вошли. В просторной гулкой высокой церкви было темно, лишь лампады светились, и народ еще только начал собираться. Молодой священник читал из Евангелия о Крестном пути, о снятии с креста, о положении во гроб, и Гус почувствовал, что мальчик напрягся. Но потом расслабился и как будто заскучал. Не все было понятно в словах, произносимых под гулким куполом на почти что родном, но загадочном, странном языке, только изредка понятном вполне. Но в этом звучном умалчивании, в этих пропусках понимания была тайна, и тайна была важна, она содержала, казалось, больше, чем смысл… Но мальчик устал.

– Пойдем, присядем, – позвал Гус.

Они нашли свободную лавочку, и время вдруг побежало незаметно. Николай Янович, как мог, рассказывал Славе Тимохису из Губахи Евангелие, а Слава слушал, слушал и клевал носом, Гус останавливался, но Слава просил рассказывать дальше, и Гус рассказал про тридцать сребреников и про Иудов поцелуй, про Пилата и про двух апостолов, заснувших в Гефсиманском саду, хотя Он просил их не спать, и про Петра, трижды отрекшегося от Христа, и что Иисус знал про это заранее, и заранее простил. И как Иисус нес свой крест и был распят, и умер. И как воскрес, и даже верующие в Него не все и не сразу поверили в Его воскресение, и про Фому Неверующего, как он убедился и поверил… Церковь между тем полнилась людьми, многие шли с детьми. Николай Янович спохватился и пошел покупать свечи, Слава потянулся за ним, свечи они зажгли и поставили у Распятия – в память всех, кто погиб на Северной шахте, и в память матери, приснившейся Гусу. В центре, под куполом, стали собираться священнослужители с хоругвями, среди прихожан началось брожение, вокруг затеплились свечи, и вдруг все тронулись в полумраке, пошли за хоругвями к выходу. Раздался громкий возглас:

– Господу нашему помооолимсяааа!

И во всей процессии с огоньками свечек вначале вразнобой, потом все стройнее люди запели короткий стих, слов которого не знал ни учитель, ни ученик, но Гус с изумлением услышал, как Слава стал без слов подпевать. «Будет петь!» – подумал Николай Янович и перекрестился, сам не зная, почему.

Они шли вместе со всеми вкруг церкви, свечи на холодном ветру гасли, но люди передавали друг другу огонь, так что свет в крестном ходе ходил ходуном, но не прекращался, и от этого становилось весело… А в опустевшей темной церкви что-то вдруг произошло, какое-то огромное счастье, и там грянул хор певчих, и начал разгораться свет, радость прошла по тем, что шли в темной холодной ночи вкруг храма, и все запели громче: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав!»… Бойкий радостный перезвон колоколов грянул, а когда Гус с мальчиком подошли к крыльцу, там уже стоял огромный диакон в золотой рясе и возглашал гудящим басом:

– Христос воскресе!

А народ радостно отвечал. Гус услышал, как вместе со всеми кричит его ученик:

– Воистину воскресе!

И щедрые потоки святой воды, распадаясь на сверкающие капли, разлетались с как бы малярной кисти пономаря. И радость обретенного бессмертия переполняла всех, каждого…

После крестного хода Гус с Тимохисом в церковь не пошли. Мальчик еле на ногах держался.

– Ты с утра ел что-нибудь?

– Нет, – ответил Тимохис.

Николай Янович вызвал такси, оно пришло через пять минут. По дороге к интернату Гус вспомнил о крашеных яйцах в своем портфеле. Они съели по яйцу, Тимохису досталось красное, Гусу – синее. А третье, зеленое, они отдали таксисту-киргизу…

– Спасибо, – сказал киргиз и положил яичко в нагрудный карман.

А засыпающий Слава Тимохис неожиданно сказал:

– «Спасибо» значит «спаси Бог»… бабушка говорила.

Прошлое соединилось с будущим, и время потекло, как река, как музыка, как жизнь, как сарабанда.

Ганна Костенко

Дід Лукич

Новела з роману «Цурки-Гілки»

Дід Лукич був легендою й улюбленцем будинку (можливо, тому дядько Мітя його так ненавидів). Андрій Лукич виходив під вечір, вбраний у білу шовкову вишиванку, сідав за маленький столик, запалював свої жовті міцні цигарки й починав пригадувати своє довге складне життя до і після війни. Розповідав одне й те саме (але кого це дивувало?). Його слухали, бо важливим було не те, що він казав, а як він це робив. Обличчя старого грішного янгола усміхалося усіма зморшками, кожна з яких – окрема історія. Він починав оповідь з останнього мирного літа перед великим лихом.

– Мені тоді було шістнадцять, – посміхнувся старий, – але я вже знав жінку і носив брюки, голився і палив цигарки.

– *И вы таки работали механиком*? – питала Фіра, хоча цю історію чула вже багато разів.

– Так, в автомобільному цеху, працював більше за всіх, бо любив цю справу… я ж мріяв стати автогонщиком! Знаєте, Фіра, у мене б вийшло…

І далі Лукич розповідав, як тренувався, як читав книжки про перегони і вирізав з газет фотокартки відомих гонщиків, як мріяв зібрати власноруч свого «Карла», який обов'язково мав бути зеленого кольору, як мріяв подорожувати світом на автомобілі.

Юнак настільки добре знався на своїй справі й вправно володів інструментом, що зрештою на нього звернули увагу потрібні люди (а це вам не дві копійки). Так, одного червневого ранку до нього підійшов товстий добродій у круглому капелюсі: «*Послушай сюда, сынок!* – сказав він хлопцю. – *Переходи ко мне – не пожалеешь. Ты будешь работать не где-нибудь, а в* «*Авто&Мо-*

то» гаража Велесеева. Тебе всего шестнадцать, а ты уже будешь помощником шофэра…»

– Від такої пропозиції я не міг відмовитися, то була честь! Друзі заздрили, звичайно, всі мріяли бути на моєму місті, бо «Авто&Мото» не хухри-мухри, а серйозна контора!

Але помічником шофера юнаку довелося бути недовго, бо портова дівка – війна вже розвела ноги. Чума на залізних протезах з'їдала місто, запиваючи квартали вогнем-вином.

Війна знайшла цей будинок без перешкод, в одну мить зробивши його вдовою в колі залізних рейок. «*Помощника шофэра*» відправили на фронт відвозити стріливо чи медикаменти на лінію смерті.

На цьому історія переривалася. Запалювалася ще одна цигарка. Усі знали фінал, ніхто не вимагав продовження. Але Лукич тихо усміхався… Ніхто так і не дізнається, що марилося юнаку в ту мить, коли його тіло злетіло в повітря разом із медикаментами, які він тоді перевозив. Кажуть, перед очима пробігає усе життя… Але Лукичу уявилося інше – мрія стати автогонщиком. Він бачив, як вдягає шолом, сідає в срібний «Уолт Мобі», блискавки фотоапаратів, голос коментатора, зелене світло і початок перегонів, коло, ще одне, фінішна пряма і… Обличчя янгола з дешевими протезами замість ніг перетворювалося на темний мішечок кривих запилених ліній, всередині яких ховалася величезна образа, адже у великому місті про старого згадували тільки на свята. До нього приїздили офіційні особи з квітами (з яких, до речі, юшки не звариш), вітали останнього ветерана далекої війни. Цілий день (а точніше – кілька годин) Андрій Лукич був під прицілом відеокамер, з ним фотографувалися, пропонували випити сто грамів фронтових, бажали міцного здоров'я, але жодного разу не запитали, що йому потрібно і чим допомогти.

– Ой, Боже, Боже, зглянься на нас*… Невже вони не бачать, як я живу, нащо мені ці квіти, коли в мене немає ніг?

Той рік не був винятком. До старого Лукича поприїжджали великі люди маленького міста, аби сказати кілька слів, що піднімуть їм рейтинг. Знову квіти, знову побажання міцного здоров'я, знову сто грамів фронтових, до яких Лукич навіть не торкнеться.

* «Ой, Боже, Боже, зглянься на нас» – козацький плач-молитва.

Накрили скромний святковий стіл, офіційні особи, зайняті поїданням буженини, навіть не помітили, як одна злоязика газетярка звернулася до мовчазного дідугана в білій шовковій вишиванці: «Може, ви хочете щось сказати, діду?». І старий янгол із дешевими протезами замість ніг, які скрипіли так, що лякали навіть Фіру, мати якого належала до давнього козацького княжого роду й була справжньою красунею, старий, який мав добре серце й нереалізовану мрію стати автогонщиком, глибоко зітхнув, запалив міцну цигарку і, зиркнувши в очі відеокамерам, похмуро сказав:

– Пішли ви всі … !

Після цього до ветерана ніхто не навідувався. Навіть по його смерті. Кожного липневого вечора Андрій Лукич, вдягнутий у шовкову вишиванку, шкандибав до маленького столика, де сідав, запалюючи свої цигарки, аби пригадати те, чого не хотів забувати. Фіра виносила горілку (яку сама гнала), і коли оповідь старого закінчувалася, брала право першого слова:

– Знаете, шо я хочу сказать? Я хочу сказать, шо когда бомба падает на голову и разрывается – она убивает. Так вот, когда она убивает, мне нет дела до того, какое рыло нарисовано на ее обвертке и из какого дула она летит прямо на мой дом и прямо на мою жизнь.

Усі погоджувалися зі словами старої бандерші й пили за мирне небо над головою, хоча воно вже давно не було мирним.

Ирина Озерная

Метаморфозия

Жил-был стакан, обычный прозрачный, похожий на миллиарды подобных стаканов в мире. Особой красоты и оригинальности в его формах не было, потому в пустом своем обличии он представлял интерес исключительно функциональный. Но в зависимости от того или иного наполнения с ним происходили настоящие метаморфозы. Полностью менялся его внутренний мир, а вместе с ним и внешность – до неузнаваемости. Апельсиновый сок делал его желто-оранжевым, солнечным и веселым. Вишневый – импозантным и загадочным. Матовая белизна молока рядила в подвенечное платье и всегда возбуждала у зрителей ностальгические воспоминания о детстве. Да, да, именно у зрителей, потому что лицедейство нашего стакана казалось неиссякаемым. Ну еще бы, как удержаться, ведь бывало, что и вино искрилось в нем бесшабашной удалью, то краснеть заставляя, то белеть одиноким парусом в море. В море жили русалки. Стакан слышал об этом, никогда их не видел и мечтал, что кто-то когда-нибудь зачерпнет им из недр моря мутной соленой водицы, такой непохожей на обычную, водопроводную, и превратится тогда он в маленький цилиндрический аквариум для угодившей туда неосторожной русалки. Русалка, конечно же, влюбится в него, и станут они жить-поживать, как в сказке.

И вот однажды оседлую жизнь нашего стакана настигли внезапные перемены. Небрежно швырнув его в рюкзак, будто он был не стеклянным вовсе, а пластиковым каким-нибудь, владелец стакана отправился на импровизированный пикник с другом. Купив по дороге бутылку водки с какой-то закуской, он так же лихо запустил их во тьму рюкзака, чудом не раздавив стакан тяжестью свертка.

– Ой! – испуганно звякнул стакан, дивясь, что не треснул. – Обошлось!

Пикник на двоих, то есть распитие пары бутылок водки (вторая была доставлена в рюкзаке друга, тоже с какой-то закусью и пирамидкой пластиковых стаканчиков), решили устроить на остывшем вечернем пляже под громыханье избивающих берег волн, вопли несносных чаек и назойливые трели цикад, доносящиеся из прибрежного парка.

– А ведь напьемся! – предостерег владельца стакана друг.

– И правильно сделаем. Хочется расслабиться после трудовой недели. Главное, в море не заходить пьяными, а то русалки утащат…

Услыхав про русалок, стакан воодушевился, разударился и, выбираясь из рюкзака, звонко заехал по тонкой шее уже готовую к распитию поллитру.

– Ты зачем стеклянный стакан притащил? – удивился приятель. – Да еще на пляж… Вот разобьем по пьяни и либо сами порежемся, либо завтра кто-нибудь на затерявшийся осколок наступит…

– Не боись, не разобьем, – уверил друга хозяин стакана. – Не могу я из пластика пить: невкусно, и праздничность пропадает. Мы ж с тобой не подзаборники какие, мы празднуем! Тосты поднимаем, за любовь пьем, за небо вот это по-сумасшедшему звездное, за море с русалками… Не зря ж, в конце-то концов, мы именно сюда притащились через весь Тель-Авив.

И он налил им по первой, наполнив стакан прозрачной, как вода, безликой и резко пахнущей жидкостью. Поначалу она ничего в лицедейском облике стакана не изменила. Ни цветом его не украсила, ни ассоциаций интересных не породила. Опустел он стремительно, после чего его внутренний мир поморщился и, крякнув-звякнув, выразил пустопорожнее недовольство произошедшим. Но хозяин стакана, приговаривая, что между первой и второй промежуток небольшой, без промедления наполнил его снова почти до краев.

Когда обнажилась арена донышка второй бутылки, стакан понял, что тоже окосел. Праздничные разговоры приятелей с тостами за любовь и звездное великолепие над их головами

постепенно превратились в невнятное бормотание. Жалобы на жизнь, работу, сжирающую все их свободное время, и женщин, их не понимающих, были не интересны стакану. Он опьяненно думал о русалках, которыми кишело такое близкое сейчас от него море. Они представлялись ему маленькими – величиной с кильку – серебристыми нимфами с распущенными водорослевидными волосами. Они были очень эротичными, смешливыми и озорными. Выглядывая из моря, они показывали на стакан звенящими от микроскопических капель пальчиками и хохотали, хохотали… Они сулили ему вечную любовь, звали в море, обольщали, заманивали…

– Ну, пожалуй, пора… поздно уже… славно мы с тобой посидели, – нестройно расставляя слова, произнес хозяин стакана, тяжело поднимаясь и устанавливая себя на шаткие ноги. Поддерживая друг друга, приятели сложили пустые бутылки и другие пикниковые отбросы в пакет, который швырнули, уходя, в ближайший контейнер. И забытый на песке стакан, услышав звон разбитых бутылок, понял вдруг, как ему повезло. Мало того, что он избежал смерти в мусорном контейнере, у него появилась реальная надежда встретиться с русалкой, той единственной его русалкой, которая поселится в стакановой глубине, превратив его тем самым в серебристый аквариум, и они станут жить-поживать, как в сказке. И оставшись один на один с русалочьим морем под щедро усеянным алмазными звездами небом, стакан улыбнулся во весь свой круглый удивленно открытый рот.

Иерусалим

Виктория Коритнянская

Апперкот

Девиз жизни Веры Павловны всегда был «здоровое питание». Она помнила, как следовала ему в молодости, когда, совсем еще юная и неопытная, начинала свою жизнь в замужестве, и как строго придерживалась его, когда родились и подрастали дети. Этот девиз был возведен ею в нерушимый железный закон, на котором, как она вполне справедливо полагала, держалось хрупкое здоровье всех членов ее семьи.

А вот когда все пошло не так, Вера Павловна помнила смутно. Она догадывалась, что началом ее падения стали лихие 90-е, когда семья пополнилась тремя очаровательными внуками. Именно тогда Вера Павловна, впервые изменив себе, купила в супермаркете спред, выдаваемый за масло, и ненастоящие шпроты. Более того, она до сих пор отчетливо помнила, как дома, намазав купленный спред на хлеб, горячо уверяла домочадцев, что он ничуть не хуже настоящего масла, но зато почти вдвое дешевле. А дальше, как говорится, больше. В принципиальной и никогда и ни за что не отступающей от жизненных принципов Вере Павловне что-то сломалось. Вот так в одночасье что-то громко хрястнуло в душе, испуганно отозвалось в сердце, и затихло… «Адаптировалась», – облегченно вздохнув, решила она и начала жить по-новому. Поначалу было сложно. Сложно понять, сложно приспособиться и еще сложнее поверить, что все не зря, и так надо…

Девиз о здоровом питании в новой жизни Веры Павловны оказался ненужным. Более того, он звучал теперь настолько странно и абсурдно, что она, вынужденная экономить на питании буквально каждую копейку, тут же сменила его на очень удобный и гораздо более жизненный: «Меню дня определяют акции».

Сразу, конечно, было непривычно. Вера Павловна стеснялась, она подолгу кружила возле ящиков с второсортными овощами и фруктами, испуганно вздрагивала при появлении знакомых и старательно прикрывала от посторонних взглядов ярко-оранжевые наклейки «минус 25%». Со временем это прошло. К тому же, оказалось, что жизнь в поисках выгодных акций наполнена захватывающей интригой, приятными радостями и трогательными сюрпризами. «Ничуть не хуже Санта-Барбары», – часто думала она, возвращаясь после особо успешного набега в супермаркет.

День ее теперь начинался с тщательного планирования маршрута. Нужно было зайти в «Сельпо», не забыть заскочить в «Таврию», забежать в «Копейку» и наведаться в «АТБ». Стопка из газет и буклетов с акционными предложениями вскоре заменила на ее столике любимый томик Пушкина, а сравнение цен стало доставлять почти забытое после смерти супруга счастье.

Дети и внуки спокойно, а часто и совсем равнодушно поедали приготовленную снедь, даже не представляя, сколько сил было вложено в ее добывание. И только Вера Павловна знала истинную ее цену. Вот, например, куриные пульки. За ними пришлось ехать стоя в переполненном автобусе почти на окраину города… А эти булочки с повидлом? Они достались ей почти чудом! Лишь на несколько секунд сумела она опередить уже тянувшуюся за ними старуху с алчущими глазами. А этот чудный кефир? Ей пришлось тянуться за ним изо всех сил, потому что хитрые продавцы заставили его более дорогой и свежей продукцией… Сколько интересных, почти детективных историй могла она рассказать, но… Дети не спрашивали, и она молчала.

Со временем Вера Павловна превратилась в настоящего профи по акциям. Разбуженная ночью, она могла без запинки перечислить весь ассортимент уцененных предложений во всех супермаркетах города и безошибочно определить размер и причину скидки. Ничто уже не радовало, не удивляло… Иногда, правда, жизнь бросала ей вызов, но Вера Павловна была этому только рада, потому что снова чувствовала себя молодой, находчивой и какой-то… живой. Почему-то она называла это апперкотом. Вот, например, случалось ей купить по акции селедку. Вид ее, скажем, был не очень, на стол – не подашь, а вот для форшмака – в самый

раз. А к форшмаку, как известно, нужны и яблоки, и масло… И начиналось… Вере Павловне предстояло докупить и того, и другого. Естественно, по акционным ценам. А бывало, выложат по акции вареную колбасу, и Вера Павловна берет, так как знает – в семье очень любят оливье. И вот колбаса есть, но нужны еще яйца, огурцы, майонез и зеленый горошек. И снова сверка цен, беготня, тревоги, переживания…

Скоро апперкоты прочно вошли в жизнь Веры Павловны. Даже праздники ей теперь запоминались исключительно в связи с ними.

– А помнишь, – говорила она дочери, – когда я набрала по акции толстолобиков, и мы всю ночь их фаршировали…

– А да, это было на прошлый Новый год, – отзывалась дочь, не отрываясь от телефона.

– Да? Наверное. Я тогда еще на уценку конфет попала. По сущей ерунде накупила, – жмурясь от удовольствия, добавляла Вера Павловна.

Когда апперкотов долго не было, Вера Павловна начинала скучать. Она становилась раздражительной и часто без причины кричала на любимую кошку. Где-то в глубине души она чувствовала, что это неправильно. Но что именно было неправильно – не понимала. Она пыталась разобраться, но тревожные сомнения и ощущение унылой безнадежности тут же ввергали ее в мучительно тягостное страшное состояние, и Вера Павловна сдавалась. Заваривала купленный по акции чай и надолго закрывалась у себя в спальне. Там, перелистывая кричащие акциями страницы магазинных газет, она, замирая сладко, как в молодости, предавалась мечтам: «Вот завтра непременно случится апперкот… А я уж развернусь, покажу, как умею…».

Анна Михалевская

Закрытый маршрут

На трамвайной остановке ждали двое.

– Не подскажете, как проехать к себе? – мужчина первым нарушил молчание.

Девушка пожала плечами и отвернулась, уставившись на схему маршрутов. Мужчина сделал жест, будто хотел поправить невидимую шляпу, но, опомнившись, спрятал трехпалую руку за спину.

– Они не подписаны! Понимаете, они не подписаны! Тут только цифры! Пятый, седьмой, двенадцатый! – она ткнула пальцем в карту под стеклом стенда.

– А вам куда надо? – спросил мужчина.

– В прошлое… Понимаете…

– Да понимаю я все! Что вы заладили… Зря ждете, между прочим. Маршрут прикрыли лет пять назад. С тех пор как последний трамвай задом наперед ушел в будущее.

– Как прикрыли?! – глаза девушки округлились, и она стала похожа на сову, очень удивленную и расстроенную.

– Как-как… Разобрали рельсы, построили небоскреб. Сейчас их везде строят, людям надоело разбрасывать мусор и плохое настроение исключительно в горизонтальной плоскости…

– Не подождал! Уехал без меня! Трус, предатель!

– Импотент и бабник! – поддакнул мужчина.

Девушка зло зыркнула на него и принялась прохаживаться вдоль скамейки.

– Может, отчасти я и сама виновата, – сказала она уже более примирительным тоном, – все-таки опоздала на пять лет… Если б хотя бы на три…

– Пунктуальность – не самая сильная ваша сторона.

– Трудно прийти вовремя, когда время у всех разное… Он хотел забрать меня в наше первое свидание. Знаете ту остановку? Столики на двоих у моря, в динамиках блюз, пахнет шоколадом, гиацинтами и какой-то глуповатой романтикой… А у меня аллергия на приторные запахи…

– Насморк вас напугал больше, чем одиночество? – мужчина грустно усмехнулся.

– Не люблю заложенного носа, он делает меня беспомощной… Но сегодня…

– Вы почувствовали щемящую тоску, и вам захотелось разорвать порочную цепочку событий? – нарочито театрально продекламировал мужчина.

– Ну… И это, наверное, тоже, – не замечая ироничного тона, ответила девушка. – А еще – в гости приехала мама. Она только вернулась с курорта семейных воспоминаний, забила шкафы старомодными платьями и развесила бабушкины шторы. И я подумала – уж лучше насморк… – она вдруг замолчала. – А вы-то как здесь оказались?

– Пришел пешком. Оттуда, куда уже не ходят трамваи, – мужчина спрятал руку в карман, нащупал прореху.

– Из прошлого? – собеседница недоверчиво хмыкнула. – Не зная дороги, без защиты вагона? А как же тупики сожалений, ложные рельсы разочарований, ямы потерь? Удушливые испарения прелой ненависти, в конце концов?

– Я очень хотел вернуться, – тихо ответил мужчина. – К тому же, из тупиков всегда есть выход, главное – долго не засиживаться. По ложным рельсам можно прийти к началу дороги. А ямам потерь отдать дань, – он продемонстрировал руку без двух пальцев.

– Но испарения ненависти, от них умирают! Я видела по телевизору передачу!

– Ерунда, – отмахнулся мужчина. – Задерживаешь дыхание и ждешь. День, год, два, пять… – он бросил многозначительный взгляд на девушку.

Разговор сошел на нет. Девушка села на скамейку, обхватила голову руками. Просидела пару минут и вдруг подскочила, будто на что-то решившись.

– Вы должны мне помочь! Я согласна: по рельсам, по бездорожью, через эти чертовы ямы. Я способная, я тоже научусь задерживать дыхание. Вот смотрите! – она набрала полный рот воздуха и замерла с раздутыми щеками, не отрывая от мужчины умоляющего взгляда.

Но долго не выдержала, закашлялась.

– Вы не знаете, чего просите…

– И знать не хочу, я подумаю об этом потом, когда обниму его. Давайте же, поднимайтесь! – девушка потянула мужчину за рукав.

– Считаете, он просидел пять лет в одиночестве за столиком на двоих, закутав ноги в плед?

– Нет, но…

– Где вы его собрались искать? Можно, конечно, заглянуть на остановку холостяков. Новичкам там сразу выдают потертый диван, ставят прямо на улице – рядом с каким-то общепитом, потом можно разжиться телевизором и даже гаражом. Есть с кем поговорить о карбюраторах и смысле жизни.

– Это там вы свои пальцы потеряли?

– Ну да, ямы возле каждого дивана. Я легко отделался, мог вообще уйти без головы.

– Далеко бы в таком состоянии не ушли…

– Это как посмотреть… Говорят, безголовье здорово повышает тонус.

Оба замолчали, прислушиваясь к отдаленному стуку колес.

– Вы ведь меня никуда не отведете… А жаль. Могли бы столько всего пережить вместе. Вы бы научили меня выходить из тупиков. А я вас – жить без головы. Кажется, это у меня неплохо получается.

Девушка встала и пошла по трамвайным рельсам – в ту сторону, откуда пару месяцев назад едва живой вернулся мужчина.

Он снова нащупал дыру в кармане и, больше не сдерживаясь, крикнул:

– Кира!

Он побежал, подволакивая еще не послушную после перелома ногу, – привет от ржавых капканов тупика.

Все эти пять лет он что-то терял. Любовь, друзей, память, дорогу домой, себя. Он спокойно отнесся к тому, что ветер унес

в степь его шляпу, и что подаренные родителями часы соскользнули в трясину, но дырка в кармане пальто его расстроила по-настоящему. Получается, он ничего не сможет унести. Все вывалится из дырявого кармана. Но зашивать не стал, это было бы нечестно. Сперва он должен был вернуться туда, откуда начал свой путь, – к несбывшемуся свиданию с Кирой. Только тогда ему будет что класть в этот карман.

Она обернулась не сразу. Застыла посреди рельсов, будто решила врасти в трамвайную колею.

– Я думала, ты так и не простишь, не позовешь, не остановишь… Марк…

Он обнял Киру, ее мокрая щека пахла домом, шоколадом и какой-то глуповатой романтикой. Но он ничего не имел против.

За спиной послышался трамвайный гудок, Марк потянул Киру в сторону. Рядом прогрохотал вагон, их обдало теплым ветром. Он успел выхватить взглядом табличку «Прошлое». И отвернулся, подставляя лицо солнцу нового дня.

Татьяна Мартынова

Увидимся в Одессе

В Северном Казахстане есть город Кокчетав. Здесь я родилась в 1952 году. Представляете! 65 лет назад. Сейчас там, наверное, яблони цветут. Так нас в школе по Маяковскому учили: «Я верю: город будет! Я знаю: саду цвесть, Когда такие люди в стране советской есть!». А тогда там была огромная красивая степь с сусликами, привстающими над своими норками, – и голубые сопки на необъятном горизонте. И сейчас, я думаю, все это там есть. Может быть, еще красивее. Зима там была – девять месяцев в году. Но тополя выживали. Представляете! Они же, как люди… В центре города тополей была целая роща, Центральный парк культуры и отдыха. И один раз там даже продавали мороженое. Очень вкусное! В Кокчетаве, на его пяти улицах, селили бывших заключенных, которым не разрешалось возвращаться в родные места. Наша улица – революционера Урицкого, боровшегося за наше светлое будущее. До сих пор помню эту улицу. Дом номер 31. На ней стояли саманные дома с полуоблупившейся штукатуркой. Каждый – на две квартиры. Комната и кухня. Две печки. Мама даже выиграла в денежно-вещевую лотерею фанерный шкаф для одежды. Это была наша мебель. Черный динамик радио никогда не выключался: а вдруг объявят важные новости? И все время играла классическая музыка. Я с того времени очень люблю классическую музыку: Мусоргский, Глиэр, Чайковский… А рядом были улицы – Куйбышева, Ленина, Коммунистическая, конечно. И Советская. Да, точно, Советская… И саратовские немцы, и чеченцы с ингушами, и украинцы, и все-все-все там интернационально жили. Жили очень хорошо. Соседка ингушка стала моей кормилицей, потому что у моей матери пропало грудное

молоко. Так что, когда я подросла, поняла, почему старший брат называл меня ингушкой.

– Ты теперь не наша, ты с ингушами должна жить!

– Да не слушай ты его, ты наша! – успокаивала меня мама.

А вообще, мы, дети, все дружили. Немцы как-то ухитрились привезти с собой, из Поволжья, саженцы желтой акации – и она под их домами так разрослась! Мы ели эти желтые цветки. Очень вкусно, они сладкие. Лучше заячьей капусты, которую мы ели в сопках. Нас воспитатели из детского сада часто приводили на склоны ближней к городу, и там мы эту кисленькую капусту потихоньку рвали и заталкивали в рот, прямо с землей. А воспитатели не видели. Это было очень весело! А потом мы скатывались со склона, лежа и крутясь, как скалки. Эта игра нам очень нравилась. Катишься, и вся земля перед тобой. Со всей травой и цветами. Я до сих пор помню их запах.

Неподалеку от города стояли юрты казахов-кочевников. У входа на кошмах сидели старые-старые казашки с покрытыми головами. На груди их поблескивали монисты. Их родные отгоняли овец на пастбища в сопки, а старухи поджидали их возвращения. Не помню, почему я там бывала – и с кем из взрослых. Но меня угощали и бешбармаком, и сухим твердым овечьим или козьим сыром. Очень вкусно.

– Жаксы, кызымка, жаксы, – говорила мне казашка.

А! Вспомнила! Я же была там с дедом Аршаком! Это был мой нянька. Он был такой, настоящий армянин. Жил у нас, в нашей квартире, на кухне. Он тоже был бывший заключенный. Садился на корточки перед старой казашкой и рассказывал:

– Вот когда я жил в Одессе, у меня был каменный дом. У меня был виноградник. Настоящий виноград рос там. Лучших сортов! И скоро я туда поеду. Мне внуки написали: ждут!

Не знаю, понимала ли его казашка, но кивала головой. И мои родители были рады за деда Аршака. Он всегда им рассказывал об Одессе. Только об Одессе. Какое там море. Какие улицы. Памятники… Дюк. Пушкин. И каменная лестница, ведущая к морю. Мне он говорил: «Ты должна ко мне приехать. Эта лестница очень большая! Когда стоишь внизу, кажется, что ступени ведут прямо в небо! Этот город – лучший на Земле. Я не видел его двадцать

пять лет! Я теряю время, ты понимаешь? А меня ждут. Меня в Одессу привезли маленьким. Из Турции. Османы вырезали всю мою семью. Старшая сестренка успела переодеть меня девочкой, в платье. И так спасла. Они вырезали всех мужчин и мальчиков. Даже младенцев». Он смотрел на меня.

– Вот! Хорошо, что ты – девочка…

Дед Аршак не успел уехать в Одессу. Он умер, когда мы гуляли на склоне и собирали сон-траву. Присел отдохнуть и сполз набок. Я звала его, кричала. Но он не просыпался. Тогда я легла на траву и покатилась вниз. Долго ли несло меня вращение? Не знаю. Потом я выросла и уехала в Одессу. Виноград заглядывает теперь в окна бельэтажа бывшего графского особняка, в котором я живу, на Екатерининской площади. Я больше никуда отсюда не уеду. Так мне кажется.

Валентина Силантьева

Вадим Смеляков и Валерия

Фрагмент из повести

Фрагмент этого текста обращает читателя к одесситам, юность которых совпала со временем тех перемен, которых опасаются, страшатся и люди, и целые страны. Героями повести стали выпускники школы, а потом уже повзрослевшие Лера-Валерия и Вадим, который гордился своей фамилией Смеляков и считал, что она – предначертание его судьбы. Свою первую любовь он отдал девочке Лере, которая в детском саду заплакала потому, что нянечка нечаянно оторвала лепесток большой бумажной ромашки. Лерка-Ромашке-Больно стало ее кличкой. Неожиданно для себя Вадим понял, что эта девочка, а потом девушка, есть и останется в его жизни символом той чистоты, которую не могут убить ни горе, ни война, ни его и ее растерзанные судьбы. О том, как живут и что чувствуют молодые люди сегодняшнего дня, – эта повесть. А предложенная читателю малая ее часть знакомит с героями, которые еще так часто встречаются в нашем приморском красивом городе.

Лера шагала по жизни непарадными тропами. И потому что время казнило безденежьем и безработностью. А еще и потому, что голодное детство и юность награждают комплексами неполноценности. Вся и отрада – она рано научилась учиться; библиотека, собранная родителями в советские времена, пригодилась. На корешках «Всемирки» она любила отличать крылатого Пегаса, и ей, девчонке, долго-долго казалось, что это существо, родившись у истоков Океана, и действительно связывает все живое и красивое в мире. Не случайно же Пегасу разрешили взлететь на Олимп. Не случайно же на корешке ее любимых книг рисуют его летящим над всем земным шаром.

В отцовском свитере, надетом поверх своего, и закутавшись в одеяло «с пролысинами», она устраивала подобие берложьего царства на старой тахте. Если вчитывалась и входила в чужой мир, как в свой, то осенне-зимняя «хрущовка» уже не казалась убогой, а перспектива бедняцкого ужина не угнетала своей безысходностью. Но приходила замученная-перезамученная мама, из инженерного состава перешедшая в разряд «торговых работников» толкучки. Серо-зеленое лицо появлялось в дверном проеме Валериной комнаты, не сказав ни слова, мама шла на кухню. Бочком садилась у стола, внедренного в крайне малое здешнее пространство, и долго сидела в тишине. С какого-то времени, отметила Лера, ее склоненная над столом фигура стала похожей на стожок плохо высушенной травы. Однажды Лера увидела беззвучные слезы на мамином лице, они скатывались к подбородку и прятались в так и не снятом сером шарфе. Отец был в очередном рейсе, и откуда им было знать, что судно арестовано, болтается в чужих водах, а команда так же голодает и перебирает мешочки с крупой, как и они на своей земной тверди. Безрадостно приближался новый век и новое тысячелетие.

Впервые словом «лохушка» ее пригвоздили в седьмом классе. Она не сразу и поняла, что это словцо адресовались именно ей. Оглянулась. Приподняла бровь в невысказанном вопросе. Наступала Настя-шпора. Размахивая длиннющим хвостом пестро вывязанного шарфа, она кривлялась и предлагала заклеймить позором дешевенькие джинсы и хилый свитер Леркиного школьного наряда:

– Слышь, ты, лохушка с пропиской «Чумка», нечего тут глаза мозолить. Вали отсюда на последнюю парту.

– Мы с Сашей уже второй год сидим вместе, а он плохо видит…

– С Сашкой теперь сяду я, а ты – ноги в руки и шагай…

Конец шарфа, завязанный в узел, раскачивался по амплитуде большого диаметра. Он задевал то ее плечо, то едва заметную грудь. Кто-то сгреб ее тетради-ручки с парты, портфель уже полетел в дальний угол. Вошел Саша. Невысокий, в очках, но крепыш. Лере казалось – вот сейчас он заступится за нее и окоротит обидчицу. Нет, он почему-то засмеялся и сказал: «А правда, давай,

переселяйся». Повернулся к Насте и, подхватив ее красиво-яркий шарф, отвел хозяйку положения к столу, где они еще вчера как бы «дружили» с Лерой. Класс гоготнул, Лера собирала разбросанные линейки-карандаши. Уйти, хлопнув дверью, не хватило сил.

«Лохушка» казнила ее своим невнятным содержанием. Это слово только входило в юношеский обиход, и Лера все пыталась разобраться: лохушка равнозначна лохматке, что ли? Особенно задело упоминание о Чумке – так называли в их городе рукотворную гору-насыпь, под которой были захоронены жертвы страшных эпидемий. Самой памятной и страшной оставалась чума 1812 года, от нее погиб каждый десятый житель города. Мама говорила, что трупы туда свозили на подводах, стаскивали крюками, наверное, одежда мертвых была и рваной, и разлохмаченной. И что же, и она такая? Где ей было знать тогда, что в школьный сленг врывались новые понятия уничижительного свойства. Ими как бы растаптывали, размазывали, топили в липкой грязи былую гордость и честь многознаек. В конце концов, синонимом к лохушке предстанет не столько неаккуратная лохматка, сколько дурочка, пень-дубина и, в общем, идиотка. А в Настином исполнении получалось, что от чумной заразы погибали только дураки да болваны…

А что с умными? В новом времени они учились жить по-новому. Наступательно-развязно, с кулаками наперевес, и отпугивая старших полутюремным говорком. Если б кто-то предложил исполнить «Комсомольцев-добровольцев», еще недавно столь любимых мамами и бабушками, на их головы непременно скатились бы не самые изящные слова. Фразочка «Что будет, если в унитаз поезда бросить лом?» становилась расхожей повседневной хохмой. Откуда было знать Валерии, что еще через десять лет это и ему подобные высказывания будут растиражированы в Интернете как «формула молодежного мышления»?

Однажды, перемещаясь по квартире, она услышала тихий разговор родителей:

– Миша, я всегда любила в тебе штурмана и капитана. Ты был вожаком и впередсмотрящим. Что ж ты так?

– Не могу, Оля, не могу и не могу…

– Многие «не могут», но вот могут же.

– Оля, но выбили же землю из-под ног. Под либерийским флагом я не капитан, а…

– А кто, Миша, кто?

– А никто, бумага в немытом сортире…

Его плечи были опущены, бывший капитан большой страны тосковал. Так и не смог найти себе места в обновленном пространстве больших морей. На барахолке выискал Богородский нож-резак и стамески, принес и сложил на балконе деревянные чурбачки. Резал по дереву. Лера понимала – чтоб делом занять хотя бы руки. Занимал – и диковинные птицы, звери обретали свою жизнь. Потом наступило время чаек и парусников в полной оснастке. Потом все откладывалось, и отец уходил в запой. Мама приводила его в дом и гнала Леру в ее комнату. Утром звонила его друзьям-морякам, совещалась и просила-просила-просила. Наконец отца устроили старшим помощником капитана на очень старый сухогруз. Его непосредственным начальником оказался малайзиец из Куала-Лумпура, и они с трудом понимали друг друга. Их судно остановили пираты у берегов Сомали. Так как команду долго держали на палящем солнце, отец упал и больше не встал – сердце. Гроб с останками передали через полгода. Во время тризны кто-то из бывшей команды моряков сказал: «Нашего капитана убило это проклятое время». Лера удивилась, но запомнила. Она держалась рядом с мамой, и было ей тогда шестнадцать лет.

* * *

Вадима иногда награждали кличкой Плюмбум. Он знал и, кажется, понимал киношного героя Абдрашитова. Но не любил – Вадим рано понял, что настырность и развязность в любом деле могут обернуться бедой. Но было в нем нечто от этого самого *Plumbum'*а, было. Наверное, демонстративная независимость суждений и желание поступать только по-своему. Хотелось справедливости, но с детства ему мешало нечто, которое Вадим считал в себе женским началом. Выглянув ранним утром в окно, он видел восход и радовался ему. Заплывая далеко за волнорез, он чувствовал себя каплей большого водного пространства. Он, кажется, понимал тех профессиональных ныряльщиков,

которые, погружаясь все глубже и глубже в морскую пучину, однажды просто выпускали из рук трос-путеводитель. И оставались навсегда частицей манящего океана. Вечного и непознаваемого.

Прежняя Лерка-Ромашке-Больно, а теперь незнакомая Валерия засела в мозгу. Он твердо решил познакомиться с ней заново.

– Привет, Валерия, может, познакомимся еще раз?

– Привет, Вадик, что это ты?

– А ничего, общий детсад вспомнил.

– Что ж так поздно вспомнил, мы уже выросли…

Тянулась пауза, они шли и шли дальше. Вадима пробирала дрожь, хотелось прикоснуться то ли к ее платью, то ли к ней самой. Слова куда-то ускакали, и он вспомнил самое расхожее:

– Давай портфель понесу…

Она неловко оглянулась:

– Да брось, Вадька, мы уже почти не школьники.

Хотелось закричать: «А кто же мы?» – но перехватывало горло, и была в ее голосе какая-то загадочная взрослость, еще не знакомая Вадиму.

В другой раз он начал с налету:

– Пойдем в кино, Лера-Валера…

– Не хочется, там теперь какую-то ерунду показывают…

– Да, – согласился Вадим, – полная чушь. Но эротики много, – смелел он.

Сказал и спохватился. Потому что она приостановилась и приотвернулась. А он вдруг заметил, как под пушистым завитком краснеет то ли щека, то ли скула. «Ну да, – мелькнуло в голове, – ромашке больно…»

Нет, она не была пресно застенчивой и несовременной. Просто юная, тоненькая и начитанная. Но такая, которая не собирается взлетать повыше и, так и быть, дарить себя миру. Просто живет своей жизнью и никого туда не приглашает. Потому что, повзрослев, знает то, чего еще совсем не знает Вадим? Или все же просто застенчива? Рядом с ней у Вадьки просыпалась нежность (надо же…). Он любил ее слушать. А она доверчиво рассказывала. О прочитанном. Об увиденном и понятом. О том, что хотела бы собаку колли, да где держать, да чем кормить, да как ухаживать, когда в доме не так сытно и тепло, как хотелось бы. Нет, она

не жаловалась, просто констатировала факт. Не ошибаясь, называла марки встреченных машин, потому что отец всегда бредил ими, но алчного блеска всех жаждущих шуб-машин-денег в ее глазах Вадька так и не заметил.

В теплом мае, когда море запахло топленым молоком, их притянуло и бросило друг к дружке. Обоих и сразу. Они целовались-целовались и целовались. Между морем и какими-то кустами-деревьями. Она доверилась тоненькому дереву и прислонилась к нему спиной, а Вадим обнимал их обоих, и казалось ему, что эта девичья гибкость и тонкая стать входит в него и остается с ним. Руки не чувствовали корявости их общих одежд, казалось, он обнимает всех и вся, и земля сейчас, вот сейчас соединится с небом. Серо-фиолетовые сумерки постепенно покрывали их головы, их дрожащие тела и падали к их ногам. Пахло молодой травой и началом всех начал.

Первым опомнился он и, откачнувшись, пошел к богом забытому камню, на который попытался сесть. Потом подошла она, и они долго сначала стояли, а потом сидели рядом. Наконец, почувствовав, что им обоим становится холодно, Вадим притянул Леру к себе и поцеловал ее волосы. Каштановые, чуть вьющиеся и такие красивые даже в темноте… Какими-то тропами, которых не знали сроду, они долго взбирались к верхней дороге, долго стояли на остановке трамвая, и это просто стояние тоже было праздником.

Уже дома, в ванной «отмывая свое геройство», Вадим из вихря слов успел собрать и склеить только одну фразу: «Надо же…».

* * *

Мама посмотрела на Валерию с любопытством, чуть насмешливо и горько. Тогда Лера еще не знала: потеряв мужа и сказав себе в сорок два: «Жизнь кончена», – женщины видят молодые чувства именно так. Чуть завидуя, но и со скепсисом.

– Целовались…

– Целовались.

– Радуешься?

– Да, мама.

И тут же:

– Можно я пойду в свою комнату?

– Иди, детка. Только сначала – пижаму, полотенце и в ванную.

И вдогонку:

– Дочь, будь поумней, не переступай черту.

Ольга (мама юной Валерии), нахохлившись, привычно сидела на кухне. На специально навешенной полке – парусник, сотворенный руками мужа, и выводок совушек-сов. «Целая семья, смотри, Оля», – когда-то сказал он. Она тогда пришла, раздавленная «рабочей сменой» на толкучке, а он хотел ее порадовать. А еще на плите в кастрюле был суп. Постный, но он же был. А она, глупая, только и спросила: «А хлеб есть? А кроме супа – что?». Наверное, в ту минуту она подумала о Лере – ей бы мяса. И упустила, и не вдохнула воздух счастья. Да, в плохое время выпало жить, но Миша был рядом. Ее страдалец-муж. С которым она когда-то целовалась. Спохватилась: «Что сказать Лере? Вы еще дети, хоть и выпускники школы. А в жизни будет столько всего?.. О Господи, и как же это ей сказать?».

Вадим старался держать себя по-взрослому и спокойно. За столом разговаривал с отцом, который все назидал и назидал:

– Теперь, Димка, настало время лидеров, а не работяг. Надо стремиться и уметь себя показать.

– Всем, что ли? Зачем?

– Не пустяшничай и не юродствуй, если бы я вовремя не сообразил, толкался бы с тачкой-«кравчучкой» в Польшу-Турцию и обратно.

– Ну и что, многим пришлось хлебнуть постперестроечного счастья.

– Многим, да не всем. Мне – не пришлось.

– Ничего. Выучусь, тоже делом займусь.

– Вот-вот, только хорошенько подумай, чему учиться пойдешь.

– Соизвольте отруководить: в экономисты или в милицейские начальники?

– Дам по лбу, – начинал яриться отец.

И где было знать ему, что выбор взрослого пути сейчас казался Вадиму тем самым горизонтом, до которого семь верст шагать,

да еще и дырявой ложкой киселя хлебать. В его мире жила, дышала и лучезарила зеленью глаз девушка с редким именем Ромашке-Больно. Вот доживем до выпускного, а там и подумаем.

Уловив Вадькину отрешенность, подошла бабушка.

– По-моему, внук, пришла пора прочесть тебе это… – и, не желая вступать в споры, потопала к себе.

Вадим нехотя потянулся к оставленному тому. Бунин. В содержании помечен рассказ «Натали». «Француженка, что ли? Только и осталось – познавать французскую жизнь позапрошлого века. Да еще в раскладе нецелованных барышень. Или целованных?» Он отодвинул книжку подальше от себя и постарался углубиться в ненавистную физику. До экзамена – рукой подать.

Он вернулся к этой книжке через несколько дней и вполне случайно – она свалилась со стола от неловкого движения. Поднял. Обследовал, не отлетел ли корешок. Хлипенько, но держится. Ну, и раскрыл эту самую «Натали». Читал сперва нехотя, потом – не отрываясь. С пульсирующей кровью в висках. С ознобливым жаром во всем теле. С одним желанием сотворить что-то вон выходящее. Казалось, этот неизвестный ему Бунин знал о юноше – молодом мужчине все. Как стучатся во все двери гормоны и требуют свое. Как боязно, тревожно и сладко обнимать женское тело, томиться и, в конце концов, властвовать над ним. Как, запершись в дальней комнате, хочется рассматривать и трогать то, что еще недавно было простым довеском к телу.

Но! Но, упав ничком на диван и плотно закрыв глаза, он вдруг понял, ради чего был написан этот рассказ из русской, а не из французской жизни. Есть другие чувства, и в них телеса и телесность (словцо-то, словцо…) вторые, а не первые. Вот он, момент откровения: его, Вадима, ровесник, только что поступивший в университет, смотрит на вчера еще гимназистку Наташу в простеньком летнем платье. Видит, как сквозь холстинку рукава просвечивает ее тонкая рука. Чувствует, как солнечный свет пробивается сквозь ткань и согревает ее. Робея, не может и представить, что, набравшись дерзости и отваги, он может прикоснуться к ней (к руке, только к руке) губами. И кажется, целый мир уносится куда-то. С ним и с нею. Вот тебе и «ромашке больно», вот тебе и форменное платье с пояском. Вот тебе и следок от ее ноги

на мокром песке. Господи, неужели об этом давным-давно знали и только теперь подзабыли? «Натали, какой удивительный цвет волос у вас…» Удивительный!..

* * *

На выпускном жаждали продемонстрировать все на свете и кто во что горазд. Чувствовалось, что разгуляю хватит сил на всю ночь. Краем уха Вадим слышал разговоры девчонок-одноклассниц о «двух платьях». В одном – за аттестатом на сцену, во втором – на бал. Он подивился: что ж, и ему два костюма заказывать?

Последний экзамен они сдавали с Лерой одновременно. Только в разных классах. Дождавшись ее, бледно-вымученную и похожую на взъерошенного воробья, предложил пойти к морю. Поехали, потом пошли. Он, закатав штанины, и она, приподняв юбчонку над коленями, долго бродили по мелководью и благословляли прохладу, подаренную морским бризом. Взобрались на довольно высокий камень, торчавший из воды. Прислонившись к щербатой его стенке, долго смотрели в предвечернее далеко. Он вдруг спросил: «А в каком платье ты будешь на выпускном?». Она чуть вздрогнула, помолчала, а потом сказала: «Увидишь…».

– Лерка, ты любишь тайны?

– Нет, Вадим, тайны – это детские забавы, мне не до них…

В ее сине-зеленых глазах мелькнуло что-то, и он, стремясь приголубить и защитить ее, вдруг бухнул: «Пойдешь за меня, Валера?». Она засмеялась: «Ох, Вадимка, детский сад от тебя недалеко уехал». И добавила как-то очень серьезно: «Если это и случится, то не скоро, Вадим. А сейчас – надо жить…». Через паузу предложила: «Пойдем домой. Нас ждут не дождутся…».

Они шли, и мокрым тяжелым парусом между ними провисла какая-то неудобная недосказанность.

Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук

Отмычка Соломона*

Люди и джинны

На кухне Крестовоздвиженского собралась вся компания. Соломон рассказывал, попутно намазывая серебряным ножичком масло на тоненькие ломтики белого хлеба. Петя с впечатляющей скоростью уплетал молодую картошку с укропом, прихватывая из миски салат из огурцов. Рядом на блюдечке лежали уже обглоданные кости от куриной ноги. Откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу, с видом меломана блаженствовал Никифор. У камина леприкон совсем разомлел и для полного кайфа закусывал язычками пламени. Рыб всплыл на поверхность воды кверху брюхом и слабо шевелил плавниками. Крестовоздвиженский слушал, подперев голову рукой и время от времени прикрывая глаза. В общем и целом история уже была рассказана, и теперь Соломон излагал подробности.

– И вот Петя смело так, уверенно говорит Сахру... – Соломон намазал последний ломтик хлеба и стал укладывать на него тюлечку без хребтов и подкладывать на тарелку Пете. – «Асаф передал, что настоящая власть у него, и ты, мол, приди и возьми». И тут Сахр как разволновался!

Вдруг Никифор вскочил со стула и крикнул:

– Сидеть!

Рафл застыл у камина в полуприсевшем состоянии и, явно пытаясь двинуться с места, словно завяз, как муха в меду. Рыб высунулся из аквариума, из брюха у него торчали разнообразные уши и лапы, но он тоже словно приклеился к краю аквариума. В стене что-то ерзало.

* Продолжение. Начало в кн. 64-71.

– А ну-ка, повтори – попросил Никифор, – поточнее, дословно.

– Настоящая, ну, правильная, может, легитимная? – занервничал Соломон. – Какая разница?

– «Истинная власть»!

– Да, вот именно истинная власть, так он и сказал!

Никифор присвистнул.

– Вот это да! Ее две тысячи лет ищут, а он тут понты колотит, хвостом виляя. Чуял я, что все это не просто так. А ну-ка, покажите руки!

Соломон поднял руку. Никифор отшатнулся, и даже рыб свалился назад в воду.

– Даа, дела! Говорили мне, что Сахр в городе, а я не поверил. А где ж ему еще быть при таком раскладе?

– Слушай, Никифор, ты или объясни, что такое, или помолчи, а то у меня и так ум за разум, – вмешался Петя.

Никифор слегка помялся, подумал, а потом, махнув рукой, сказал:

– А ладно, все равно вы и так все узнаете. Наш драгоценный Асаф много веков хранил у себя самый знаменитый магический предмет в мире – кольцо царя Соломона. И как хранил, если оно только сейчас всплыло! Старая сволочь! Сахр, конечно, тут же прибыл и, я так понимаю, что надеялся, что сможет им управлять. Я видел сегодня сильный магический всплеск и даже испугался, что включили ловушку, а это, видимо, Сахр пытался задействовать кольцо. Ведь один раз уже такое было. Но Неназываемый не позволил джиннам управлять кольцом. Что теперь будеет!

Никифор оглянулся на остальных джиннов:

– А вы ничего не слышали и не знаете, и никому ничего не скажете – а то голову оторву, вы знаете, я могу.

Никифор встал и заходил туда-сюда по кухне. Дионисий с интересом на него посмотрел: таким он джинна еще не видел.

– Даа, дела! – продолжал Никифор. – Сейчас из-за этого колечка может война разгореться. Печать Истинной власти даже в обесточенном состоянии – это пропуск в любое место всех стран джиннов и высочайшие полномочия. А тут ловушка!

Вдруг Никифор замер и прислушался.

– Они что, там с ума сошли, какая мобилизация? Какое военное положение? Они что, думают, что Сахр мальчик, и его мож-

но голыми руками взять? Я надеюсь, что Сахр отсюда уберется до включения ловушки, иначе Меджиду придется воевать за него с собственным дядей.

– А нам что до этого? – спросил Петя.

– А вам, ребята, лучше всего пойти, куда вас Сахр послал. Тут сейчас такое начнется, что оказаться в месте, куда джиннам ни ногой, – это, возможно, жизнь спасти.

– Но ведь оттуда никто не возвращался! – вставил Соломон.

– Понятно, что Сахр, услышав про Истинную власть, убить вас уже не мог – иначе он бы испугал Асафа, – продолжал Никифор. – Но и нахамили вы ему изрядно – он такое не прощает. Тем не менее вы живы. Значит, действительно надеется, что вы вернетесь. Последние сто лет он уже никого туда не посылает. Так что, возможно, и обойдется. Может, Сахр чего-нибудь новенького про это место узнал, а может, период благоприятный. В любом случае вы эту заваруху пересидите, и никакой гуль вас не съест. А там кто-нибудь да помрет: или осел, или эмир, или я, как говорил Ходжа Насреддин, взявшись за двадцать пять лет обучить эмирского осла богословию.

– А Галина? Если ее в заложники возьмут?

– И какой в этом смысл, если неизвестно, вернешься ты или нет? Ладно, не тяни резину – свисти!

Петя порылся в кармане, достал свисток и свистнул. И с изумлением обнаружил, что кроме него и Соломона в кухне только Дионисий. Джиннов как ветром сдуло, а посредине кухни стоит незнакомый толстенький человечек в полосатой футболке, мешковатых джинсах и шлепанцах. Розовая лысина сияет в обрамлении рыженьких кудряшек, а под носом пробиваются жиденькие усишки.

– Вот и ладненько, вот через часик и отправимся, я уже и с ребятами договорился. Снаряжение для вас уже готово, и в катакомбу я вас мигом домчу.

– Стоп! Стоп! Стоп! – замахал на человечка руками Соломон. – Почему через час? А приготовиться? И куда вы нас вообще посылаете? Какое такое снаряжение?

– А пустяки: надувная лодка, сумка и спецодежда. В дыру пойдете, которая в катакомбе. И надо срочно, пока они в той стороне. Да вы сами все увидите. И не трусьте, у нас все организовано.

– Нет, я так не согласен, – возмутился Соломон. – Это просто неприлично – вот так срываться с бухты-барахты. Я должен подготовиться, предупредить маму.

Человечек поморщился, как от кислого.

– Я бы рад, но мое начальство с меня голову снимет. И так вы лишних полдня потратили, в самый притык попадаем. Сильно рисковать будете. Ну ладно: один час двадцать минут на сантименты – и я вас забираю.

И человечек исчез – как не было его.

– Джинн сейчас пошел мелкий и сильно заорганизованный, – улыбнулся Дионисий. – Вас, Соломон, Рафл отправит к маме, и не волнуйтесь, он вас из дому заберет. А вы, Петя, наверное, к Галине пойдете – Никифор вас подбросит.

Петя замялся.

– Вот не знаю, как быть. Галину мне увидеть кровь из носу надо. А говорить мне с ней никак нельзя – она меня мигом расколет. Ума не приложу, что делать.

– Тоже мне сложность: через стену посмотришь, – улыбнулся возникший из ниоткуда Никифор и, повернувшись к Рафлу, добавил: – Хватит огонь таскать, ни одного приличного пламенчика не оставил.

Петя охнуть не успел, как оказался в соседней с Галиной квартире. Соседей не было. Но самое поразительное – он прекрасно видел сквозь стену и Галину, и ее комнату.

Галина нервничала, и Петю это успокоило – не стала бы фальшивая Галина нервничать, когда на нее никто не смотрит. Ему подумалось, что его любимая – на редкость красивая женщина, и если он не вернется, она сможет найти себе мужа. Эта мысль, при всем ее благородстве, Пете сильно не понравилась. Ему захотелось позвать Галину, обнять, рассказать свои горести. Но тут же стало понятно, что она его не отпустит, а если отпустит, то он ей сердце оборвет. И Галина словно что-то почувствовала и обернулась к нему лицом, не понимая, зачем она смотрит на стену. Тогда он в последний раз поглядел на нее, запоминая каждый жест, каждую черточку, и сказал Никифору:

– Возвращаемся.

Через мгновение они уже были у Крестовоздвиженского. Никифор куда-то сбежал. Дионисий налил Пете чуть-чуть коньяка, выдал блюдечко с лимоном и сказал:

– А теперь займемся вашей душой. Негоже вам отправляться в такую дорогу, не приготовившись должным образом.

– Это как?

– Вы же, Петенька, крещеный? А когда вы в последний раз исповедовались и причащались?

– Никогда, – удивленно ответил Петя.

– Вот и займемся, но сначала закончим земные дела. Пишите завещание. Или у вас есть прямые наследники?

– Да нет у меня никого, кроме Гали.

– Вот и пишите!

Закончилось это писание очень быстро, потому что, кроме квартиры и незначительных долгов, у него ничего не было. Квартиру он завещал Галине, долги тоже.

Забрав у Пети бумагу и объяснив, что она будет должным образом заверена, Дионисий приступил к исповеди.

Впервые в жизни Петя исповедовался. Это было странно. Поначалу он не мог рот открыть. Все воспоминания о постыдных, глупых, несправедливых поступках заставили его густо покраснеть. Но Дионисия это не остановило.

– Петя, вы не так к этому подходите. Надо по порядку. Есть установленный перечень грехов, вот мы и будем выяснять: грешили вы согласно списку или нет. А кое-что из того, что заставляет вас краснеть, и не грех вовсе, а глупость.

С таким подходом дело пошло легче, Петя успокоился. Впервые он так подробно рассматривал свою жизнь. И хотя в ней он ничем, кроме совести и маминых наставлений, особо не руководствовался, его жизнь не оказалась такой уж грешной, как он предполагал. Как ни странно, но когда он рассказал все, и Дионисий в последний раз произнес: «Отпускается грех рабу божьему Петру», – Петя почувствовал себя легко и просто.

Снова появился Никифор. Слегка поморщился от запаха ладана, открыл форточку, достал из-за окна Офрима в полуобморочном состоянии и пустил его в аквариум.

Потом Петя вдруг оказался вместе с Дионисием в мужском монастыре. Толстый монах и Дионисий в пустом полутемном храме читали длинную молитву, время от времени по очереди намазывая Пете кисточкой благоухающее масло на лоб, щеки, шею

и кисти рук. После этого Петю причастили. На каком-то этапе Пете вдруг показалось, что душа его не здесь, и он смотрит на себя со стороны, и спокойствие, и странное ощущение правильности и радости сошло на него.

Они вышли из монастыря и довольно долго шли среди деревьев, пока не появился Никифор. Через секунду их уже встречал Соломон на кухне Дионисия. Карманы Соломона топырились. У ног его стоял большой полиэтиленовый пакет с едой. Стол был накрыт, и Соломон ел в запас. Дионисий сиял.

– Петенька, вы даже не представляете, как много вы сейчас сделали для своей души! Садитесь, поешьте в запас и выпейте – у вас сегодня праздник.

От всех этих потрясений у Пети разыгрался аппетит, хотя и ел он совсем недавно. Он присоединился к Соломону. И тут появился рыжий человечек.

– Пора, – сказал он.

Ковчег Завета

Царь Соломон вышагивал в темноте у двери храма. Было жарко. Цикады во тьме распиливали ночь бесконечными трелями, но от их треска благоуханная тишина становилась только глубже. Ночь несла звездную россыпь между кипарисами, пахло мокрой пылью, и за стеной задумчиво вздыхал и фыркал слон. Соломон волновался, как перед первым свиданием. Он тоже вздыхал, стараясь превозмочь стеснение в груди. Уже давно все было обдумано и решено, и он свыкся с мыслью, что это надо сделать, но сердце билось гулко, и руки вспотели.

Вот так же много лет назад – восемнадцать – не может быть! – да, таки восемнадцать, он тоже стоял у двери храма. Так же упоительно благоухала ночь цветами и свежеполитой землей. Только цикады не пели – он велел им замолчать. И она пришла к нему во тьме, неслышная, как сова, только тонкий горьковатый аромат духов выдал ее присутствие. Они поколдовали немножко, чтобы убедиться, что в округе нет ни одного джинна. Тогда он поработал на славу – даже дождевые черви расползлись кто куда.

В саду она погладила его по щеке и спросила:

– Зачем такая осторожность?

– Я опять видел сон, и, кроме тебя, мне не с кем поговорить. Мне явился Господь и сказал, что время отдыха и благоденствия для моего народа истекло. Я стал каяться и молить Его о милости. Но Он сказал, что время раскаяния и молитвы тоже уже прошло, ведь Он посылал пророков, но никто их не услышал.

– Но почему? Ведь твои подданные вовсе не глупые и не глухие.

– Ох, милая! Вот именно поэтому. Каждое утро каждый мужчина в этом городе молится и благодарит Господа за все, что тот ему дал, и еще за то, что Он не создал его женщиной. И как только окончил молитву – тут же начинает ворчать и стенать. Он недоволен погодой и доходами, и налогами, и женой, и детьми. А как он недоволен мной, так это надо рассказывать отдельно и стихами. Естественно, дома эти нудности всем надоели и никому не нужны. Поэтому, выслушав от жены и матери все про то, как он зарабатывает, воспитывает сыновей и одевает жену, муж от греха подальше идет на базар или на площадь. Там он встречает таких же умников, и они наперебой жалуются и обсуждают, как все устроить по-умному. При этом каждый знает, как строить и как шить, и даже как мне управлять страной.

А так как все уже это слышали сто раз, то никто никого уже давно не слушает. Гвалт стоит такой, что я зал заседаний сделал окнами в сад.

И тут является пророк. И что же? Он тоже всем недоволен и тоже рассказывает, как надо по-умному. И скажи мне: кто его услышит? Увидев такое дело, он начинает говорить больше, потом кричать. И его можно понять – у него миссия.

Тогда его хватает стража и тащит ко мне. Мне всегда приятно поговорить с божьим человеком, но что я могу сделать? Я могу заставить подданных ходить в храм, но как заставить их верить? Я и сам пытался проповедовать – все делают умный вид, а толку чуть. Так я царь, я головы рубить могу, а бедным пророкам каково? В общем, я кормлю их обедом, а Господь отзывает их восвояси.

Видишь, милая, у меня все как у людей – тоже жалуюсь, и ты, ангел мой, слушаешь мои нудности.

– Какой ужас! А что тебе сказал Господь?

– Он сказал, что время вышло, – Он надеялся, что я своей мудростью и властью смогу вразумить свой народ, но нет, Он не ошибался – евреев ничего не переиначит. И не за тем он привел народ сей в землю обетованную, чтобы тот жирел на тучных берегах Иордана. У народа моего другая миссия. А посему после смерти моей разделится царство мое, и раб воссядет на трон. И вера уменьшится, и брат пойдет на брата. А после рассеется народ мой по всей земле. И быть ему поварешкой в котле истории, и стяжать многое, но не знать насыщения, и претерпеть горе и слезы, и не ведать покоя.

И тогда стал я просить Господа, чтобы дал мне срок, чтобы мог я приготовиться к беде этой, ибо, зная горячность народа своего, испугался, что за всеми этими разбирательствами не останется ни эллина, ни иудея, ни даже камня на камне. И тогда Господь сказал, что не укоротит век мой, но я должен сделать все, чтоб мудрость и великое знание не пропали.

Соломон очень волновался, спешил и боялся, что она станет утешать его и убеждать, что это всего лишь сон. Но нет, она слушала внимательно, и он чувствовал каждый ее взгляд.

– Я прозревала будущее, и так оно и будет, как ты сказал. Я готова тебе помочь. Скажи, чего ты боишься, и все мои войска, и джинны, и золото – я не экономлю на друзьях – в твоем распоряжении.

– Ковчег завета! Великая благодать и смертельно опасное оружие. Если начнется война – в безумии битвы его могут открыть, и тогда он погубит множество невинных. Ковчег надо спрятать. Но мы живем на перекрестке, и никто из соседей не пропустит такую возможность.

И снова он ощутил ласковую руку у себя на щеке.

– Не волнуйся, продумай все, и когда придет пора, я пришлю тебе своего сына. Он все сделает, как надо.

– У тебя есть сын? Ты не говорила мне, – и Соломон обиженно засопел.

– У меня будет сын. Будущей весной. И я научу его понимать зверей и птиц. У него ведь будут твои способности.

И вдруг у Соломона отлегло от сердца. Он прижал к себе любимую и стал целовать.

Петя и Соломон

– Вот мы и пришли, – сказал бородатый, указывая лучом фонарика на небольшое отверстие в конце прохода, – вам туда.

– А там что? – на всякий случай спросил Петя.

– А кто его знает? Оттуда еще никто не возвращался – гиблое место.

– То есть вы с нами дальше не пойдете? – уточнил Соломон, так, на всякий случай, потому что ответ знал.

– Мы похожи на сумасшедших? – задал риторический вопрос высокий проводник.

– А мы, Петя, кажется, похожи, – подытожил Соломон.

– Вот ваши вещи, – сказал бородатый и снял с плеча мешок с надувной лодкой. – Куда вы здесь плыть собрались, не знаю, но вам виднее. Вот оставляем вам запасной фонарь, воду и еду. В этой коробочке мобильник. Аккумулятор снят, чтоб не разрядился. Позвоните, если выйдете. Ну, Бог с вами! А мы пойдем, не хочу смотреть, как вы в эту дыру полезете, – впечатлительный я.

Бородатый махнул рукой, и оба парня, шаря лучами фонариков, стали удаляться, и скоро скрылись за поворотом.

– А нам не говорили, что оттуда никто не возвращался, – сказал Петя. – Это просто неприлично! Может, плюнем и не полезем в эту дыру?

– Это, наверное, не возвращались без должного инструктажа. Я так думаю, что если бы хотели нас просто уничтожить, нашли бы метод и попроще. Тебе вон самоубийство предлагали – дешево и сердито. Раз они нас сюда отправили, значит, шанс у нас есть. Главное, делать все, как сказано.

– Хорошо, сначала посмотрим, что тут происходит, – сказал Петя и просунул фонарик в отверстие в стене, потом просунул голову, затем пролез весь.

Соломон смотрел через дырку на удаляющееся по проходу пятно света от Петиного фонаря, и ему сделалось как-то особенно неуютно. Пятно света вернулось. Из отверстия показалась голова Пети.

– Соломон, давай лодку и другие шмотки, тут, похоже, никого нет.

Перегрузив тюк со сдутой лодкой и еще пару небольших рюкзаков, путешественники, светя во все стороны фонарями, медленно пошли по старой выработке.

– Петя, сколько нам так идти? – спросил Соломон, чтоб нарушить тишину, хотя сам знал, что с полкилометра.

– Пока не придем, – ответил Петя, на которого обстановка старой катакомбы вместе с напутствием действовали угнетающе.

– Кажется, хватит, – вдруг сказал Петя, остановившись и посветив лучом фонарика на часы, – пора переодеваться. Он развязал рюкзак и вытащил из него две домотканые рубахи. Прикинув их по длине, он взял более длинную себе, а короткую отдал Соломону.

– Я думаю надеть это поверх – теплее будет, – сказал Соломон, пытаясь напялить рубаху поверх комбинезона.

– Ну, нам же сказали все снять.

– А карманы? У меня же все в карманах! Я же специально подобрал все нужные вещи!

– Покойникам ничего не нужно, кроме памяти потомков, и то вряд ли. Это скорее потомкам нужно. Соломон, у тебя потомки есть?

– Нет.

– И у меня нет – так что, вперед!

Путешественники разделись, сложили комбинезоны в целлофановый мешок и завязали его узлом.

– Ну и видок у тебя, – не выдержал Петя, осветив Соломона фонариком с ног до головы, – прямо вольноотпущенник времен Римской республики.

– И часто ты их видел? – пробубнил Соломон. – На себя посмотри, выходец из народа. Кстати, не забудь торбу с золотом. С ним ни в какие века не пропадали.

– Вот она! Маленькая, а тяжелая! – сказал Петя, надевая на плечо лямку брезентовой сумки с золотом. – Берем лодку – и пошли! Калики перехожие.

Минут двадцать путники шли молча.

– Стой! – вдруг сказал Петя, шедший впереди. – И выключи фонарь, мне что-то показалось.

– Так будет темно.

– Именно. Мне кажется, впереди какой-то свет.

Соломон выключил фонарь. Тьма выпрыгнула из всех углов и спешно заняла все ранее освещенные места. Путешественники стояли в темноте и присматривались. Когда глаза привыкли, стала различима часть стены перед поворотом налево.

Включили фонари, пошли дальше. Шагов через двадцать проход поворачивал влево, и в конце тоннеля показалась дыра, через которую лился свет, образуя на стенке светло-желтое пятно.

Подземные путешественники ускорили шаг, несмотря на то, что потолок начал заметно опускаться, и пришлось нагибаться.

Неожиданно проход повернул резко, почти вертикально вверх, и в метрах пяти показалось довольно большое отверстие. В нем виднелось небо с маленьким облачком, а воздух пах морем, а не плесенью или влажным ракушечником.

Соломон полез к дыре и по осыпающейся породе попытался выбраться на свежий воздух. Петя схватил его за рубаху и потянул назад.

– Откуда ты знаешь, что там снаружи? – зашептал он. – Может, нас ждет кто? Может, там мина-растяжка или голодный лев сидит, а ты ему с разгона на обед. Надо же осмотреться.

Увещевания возымели действие – Соломон скатился с осыпи на дно и затих. Петя снял с себя сумку с золотом и медленно, стараясь не шуметь, полез к проему. Осмотрев края выхода, он осторожно высунул голову.

Выход был в нижней части ракушечного склона, заросшего бурьяном.

Метрах в пяти начинался песчаный пляж, облизанный волнами, с полосками выброшенных штормом ракушек. С ясного неба светило солнце. Ни ветерка. Море сияло как зеркало, совершенно неподвижное и блестящее. Вдали от берега белели какие-то вертикальные предметы. Буйки, что ли?

– Быстро вылазим – никого нет! – прошептал Петя. Он вылез первым, вытащил лодку и Соломона, повисшего на другом конце лодки. Соломон скатился на пляж, встал, оглянулся, сморщившись, плюнул и возмутился:

– Вот гады, опять прикалываются! И спелеологи туда же: «Никто не возвращался…».

– А я бы так не расслаблялся, – возразил Петя, распаковывая мешок. – Если это и шутка, то их шутки не всегда хорошо кончаются. Скорей давай!

Вытащив лодку из мешка, путешественники открыли вентиль, и лодка, как по волшебству, стала увеличиваться, пухнуть, и очень быстро приняла обворожительно округлые формы.

– Смотри, смотри, – зашипел Соломон, указывая рукой вдоль берега, – они к нам бегут, уплываем быстренько.

По берегу к ним приближалась грязно-серая колышущаяся толпа, что-то выкрикивая.

– Да, вряд ли это комиссия по торжественной встрече, – согласился Петя и столкнул лодку на воду.

Войдя в воду по колено, путешественники влезли в лодку. Петя пытался быстро состыковать разборные весла, в то время как Соломон принялся отгребать руками. Не успела лодка отплыть метров на пятнадцать от берега, как толпа уже была на том месте, откуда они стартовали.

Зрелище на берегу было не для слабонервных. По песку, спотыкаясь и падая, брели сотни крайне истощенных людей в сером и коричневом ветхом рубище. Голодные глаза глубоко ввалились в глазницы, высохшая кожа плотно обтягивала черепа, ссохшиеся губы обнажали желтые зубы и кровоточащие десна. Люди размахивали руками, похожими на птичьи лапы, и что-то хрипло кричали на непонятном языке. Некоторые из них вошли в воду, пытаясь догнать лодку на мелководье, и неясно, чем бы дело кончилось, если бы Соломон не бросил на берег пакет с едой. Толпа с воем кинулась к нему. Преследователи повернули к берегу. У пакета началась свалка. Зрелище было жалкое и жуткое.

Петя наконец вставил весла в уключины, сделал несколько широких гребков и остановился. Стало понятно, что на лодке они уплывут от любого пловца, если местным жителям вздумается преследовать их вплавь.

– Похоже, тут кто-то организовал маленький концлагерь, хотя при таком истощении люди не живут. Тут что-то не так, – сделал вывод Петя и налег на весла. – Мы им сейчас все равно ничем не поможем – еды у нас самих нет. А если бы и была на всех, так они в таком состоянии, что к ним не подойдешь. Жалко их, конечно. Вот посмотреть, что это за буйки белые, – это мы можем, – приговаривал он за каждым гребком.

– Вот эти ребята пацанов и съели, – вдруг сделал вывод Соломон. – Не зря нам советовали быстро отчаливать. Значит, джинны заинтересованы в нашем возвращении. А это уже приятно.

Продолжение следует

192 слова

178 **Ася Зиневич**
О, женщины!

179 **Ирина Фингерова**
Про Анечку

180 **Янина Желток**
Через щелочку гляжу на Варанаси

181 **Анна Михалевская**
Обманщик

182 **Елена Боришполец**
Снег

Ася Зиневич

О, женщины!

– Я тебе рассказывал про моего друга философа? Его теория распространяется на всех людей, кроме его жены.

– Наверное, это очень гуманистическая теория!

– Хочешь сказать, он любит человечество и бьет жену? Не угадал! Это было бы слишком просто. Нет, он мизантроп. И теория у него такая: «все женщины – не люди».

– А жена его, значит, человек? Этого я не понимаю. Вот у меня теория прям по Достоевскому: умереть за женщин – умру. А жить с ними ни за что не стану.

– Представь себе, мой друг уже двадцать лет в браке.

– Еще скажи, что он счастлив! Все равно не поверю.

– Да говорю же! Ему очень повезло с женой.

– Ну уж нет. Вначале жена – потом теория!

– А я говорю: вначале у мужчины теория, а потом жена.

– Да ты мне какую-то обратную теорию эволюции рассказываешь. Платона начитался? Испокон веков было так: вначале юный философ – романтик. Любит человечество и женщин. Потом – несчастная любовь. Потом – жена, которая пилит. Потом – теория…

– Но он же гений! И все у него наоборот: он сразу был мизантропом!

– Как же он тогда женился?

– Ну… так. Нечаянно.

– Уж не ты ли тот гений?!

Ирина Фингерова

Про Анечку

Анечка намазала ресницы дешевой тушью, сделала глоток остывшего чая и пошла выносить мусор. Осень выдалась паршивая, слякотная. Анечка поскользнулась и свалилась прямиком в мусорку. Новые колготки поползли капризными стрелками, обнажив варикозные вены на ногах, а за шиворот закатилось несколько недоеденных рыбных котлет. На душе было хорошо. Гниющая банановая кожура, клочки седых волос, выдранные суровой расческой, расчески, оказавшиеся слишком суровыми, упаковки от диетических йогуртов, картофельная шелуха, обессиленные тампоны, исписанные ручки – все они говорили: «Анечка, ты хорошая девочка, полежи, отдохни немного».

– Мир без меня рухнет! – возразила Анечка и жестом приказала консервной банке заткнуться.

– И ты рухнешь вслед за миром с таким режимом! – проворчал плесневелый кусень хлеба.

Анечка хмыкнула и вылезла из мусорки. Мыться некогда! Через двадцать минут мастер-класс по дауншифтингу, потом работа в полиграфическом бюро. Колготки сняла в метро и запихнула в сумку. На мастер-класс пришли коллеги из полиграфии. Показала десять слайдов о том, как перестать работать в офисе. Пошла на кухню за чаем. Нету чая, кончился. А лимон засох, скривился, будто ему скормили другой лимон. Тихонько вышла через заднюю дверь. Прошла немного, боязливо обернулась: лужи робеют от дождевой ряби, серое здание и не думает расходиться по швам. И второй раз за день на душе хорошо.

Янина Желток

Через щелочку гляжу на Варанаси

Каждый религиозный индус мечтает умереть в Варанаси. Я вот, наоборот, надеюсь реинкарнировать и стать в следующем воплощении гениальным писателем. Они нет – они мечтают перестать воплощаться и покоиться в тишине.

Когда мы приехали в Варанаси, хозяин отеля сразу предупредил: «Только не умирайте тут. Не люблю, когда у меня умирают». Сначала мы подумали, что это шутка. Потом поняли, о чем он.

Варанаси – город приятный для философски настроенного туриста. Тут всегда есть куда пойти. Идти нужно на берег Ганга, где в нескольких местах происходит ритуальное сожжение трупов. Тут все готово – дровишки, золотые пакеты, специальные жрецы. Вокруг шагают рыжие петухи, прыгают разноцветные козочки, валяются худые добрые собаки.

А те ребята, старенькие ребятки, которые приехали умирать в Варанаси, поселяются в специальных домиках недалеко от воды. С крошечной щелочкой окна. Иду я как-то к Гангу, заглядываю в окошко. Там несколько кроватей, рядом с одной из них стоит старичок в белом с длинной белой бородой. Видит меня. Поднимает ладошку и машет легонечко. И я помахала. Теперь думаю: «Надо же, какой бодрый дедушка! Как же он собирается быстро умереть в Варанаси, если только девочку увидел – сразу ей махать. Так ведь и не умрешь!».

Наверное, так и не умер мой святой.

Анна Михалевская

Обманщик

Зеркало гримерки отражает выбеленное клоунское лицо: приподнятые уголки губ, пятна румянца. В глупой надежде я вглядываюсь за спину отражению. Вдруг там покажется Соня, толкнет теплым хоботом в спину, заденет кожистым ухом.

Скомканная салфетка летит на пол. Мой грим невозможно смыть. Проводишь по щеке – а под слоем стертых белил проступают новые, и нарисованные губы, будто издеваясь, разъезжаются в ухмылке.

Я был плохим клоуном, и директор цирка едва меня не выгнал. Провал шел за провалом, пока отражение в зеркале однажды не сказало: «Чтобы обмануть других, сперва обманись сам!».

Что ж, я запретил себе вспоминать жизнь до цирка, начал спать в клоунском парике и всерьез грустить, когда лил искусственные слезы. Так я и стал любимцем публики.

В эйфории успеха я взялся провернуть трюк с «исчезновением» Сони: зрители бы не заметили укрытую черным покрывалом слониху на фоне черного занавеса. Но захотелось большего, и в решающий миг я сдернул маскировочное покрывало – Соня действительно исчезла! Зал ликовал, и я лопался от гордости.

В тот вечер ко мне навсегда прилипло лицо фигляра…

Надеваю маску обычного человека и выхожу на улицу, растворяясь в толпе. Я снова хочу обмануться – поверить, что смогу быть другим. Но больше этого я хочу вернуть Соню.

Елена Боришполец

Снег

Лида сидела и молча смотрела в окно. *Сегодня не выйду на улицу, никуда не пойду. Не могу больше все это терпеть. Злобные мальчишки всегда там, всегда кричат мне вслед гадости, принимают меня за жертву. За что? Видимо, за то, что я ношу в кармане горсть конфет для них, на случай, если они перестанут отыгрывать на мне свои роли.* Лида мечтала увидеть Париж, Лондон и Амстердам, побывать в тропиках и никогда не быть специалистом общего отдела литературного музея. *И в должности опять повысили не меня, а Вику Шматко, потому что она прет каждый день в кабинет директрисы зефир и черствые пряники. А мне уже целых двадцать семь! Я тоже скоро стану как пряник, и тогда уже все равно – повысят или повесят.* Лида хотела уволиться, убежать раствориться в пространстве. Однажды в парке симпатичная женщина средних лет спросила ее, глядя на огромный портрет Бабеля на первой полосе газеты: «Кто это? Где-то я его видела. Артист?». «Это Бабель, Исаак Бабель», – почти придушенным голосом ответила Лида. «Хорошо, ну кто он, этот Бабель? Лицо знакомое».

Лида вспомнила почему-то теперь этот разговор, и с неба, как из ведра, стал падать ее первый двадцать седьмой снег.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

184 **Анна Маліцька**
Моя надія

189 **Эвелина Шац**
Da lingua a lingua. От языка к языку

195 **Анна-Виктория Ануфриева**
Крапка та кома

199 **Маргарита Геворгян**
Краток вечер. Долог век

204 **Ольга Юшковская**
И снова пишутся стихи

207 **Галина Верд**
Горненский

213 **Елена Палашек**
В государстве рифм

Анна Маліцька

Моя надія

Згадай мене…

Згадай мене. Хоч раз на безліч літ,
Коли весна покриє сяйвом хвилі,
Коли у житі Сонце заночує
Й запалить міддю приспані луги…
Між нами шлях екватором проліг,
А час меридіани розділили.
Але твоїх долонь тепло я чую
По той бік світу з темних берегів.

Пробач, кохана. Я тебе лишив
Заради вічних та далеких істин,
Я зазирав в чужих сердець глибини,
Не осягнувши повністю свого.
Але тепер відкрилося душі,
Що лиш любов у землях цих імлистих
У людях світить в тяжкую годину
Крізь попіл смерті й чорних війн вогонь.

За мною й досі йде сліпа біда,
Обітниця веде у лихо давнє.
Та я до тебе простягаю руки,
Немов віків та відстаней нема…
Кохання наше – то небесний дар.
Воно святе й освячене стражданням,
Тому і зараз темрява розлуки
Його свічу маленьку обніма.

Тому у ньому срібний квітне сум.
І між двома життя лягає морем,
І ставить нас на межі небокраїв,
Щоб дочекалась ти. А я прийшов,
Притиснув до грудей твою красу
І назавжди забув минувше горе…
Згадай мене у нашім тихім раї,
Осяй його. Без тебе й рай – ніщо!

Моя надіє! Вкрий туманом-димом
Останній шлях, що душу в небо здійме,
Згадай мене, моя пречиста зоре,
Хоча би раз на безліч довгих літ.
Діждись мене з доріг неісходимих,
Та, як колись, прийми в свої обійми.
І хай про наше щастя заговорять
Всі береги прекрасної землі.

Домой

Когда-нибудь мы все придем домой…
Как ни влекла б нас дальняя дорога,
Бежать порой с привычного порога
И выжигать во взгляде звезды – по одной,

Когда-нибудь мы все придем домой.
Презрев печаль и сладость расстояний,
И времена скитаний постоянных,
Вернемся в край единственный, родной,

Где соловьи поют среди полей,
Поросших васильками и лавандой;
Где тихий дом – другого нам не надо
На необъятно-крошечной Земле…

Как пламя придорожного костра
В безлунный вечер небо озаряет,
Дом светит нам за дальними морями,
И меркнет блеск чужих прекрасных стран

В его чистейшей святости земной…
Пусть юность нас уводит от порога,
Пусть долог путь и вечна жизнь в дороге,
Когда-нибудь мы все придем домой.

Я любил тебя…

Я любил тебя нежно. Как дождь на июльской заре
Прикасается к травам чуть слышно седыми устами,
Я тебя целовал на просторах пшеничных морей,
Среди льна и ромашек в ладонях качал неустанно.
Я любил тебя нежно. А ты мне давала гореть.

Я любил тебя тихо. Цветов облетающих тень,
По хрустальным ручьям пролетая, казалась бы звонче.
Я кружил тебя в танце, и яблонь душистых метель
Осыпалась на бархат укрывшей нас звездами ночи.
Я любил тебя тихо. Ты сердце учила взлететь.

Я любил тебя больно, как хрупкий огонь – мотылька…
Как закатное Солнце Луну обжигает под вечер,
Я тебя обнимал. И назло всем кровавым векам
Отдавался любви, словно буре – горящая свечка.
Я любил тебя больно. Но ты оставалась близка.

Я любил тебя вечно. В полях золотеющей ржи
Ты была моим счастьем, и все ж – неизбежной разлукой.
Я всегда тебя помнил: твой голос, моливший: «Держись!» –
И в последнем бою закрывавшие раны мне руки.
Я любил тебя вечно…
Любви не позволили жить.

Обычный солдат

В окровавленном небе пылает осенний закат.
Нет, не солнце, то вновь разгорается в мире война,
В ней я – воин из первого ряда, обычный солдат,
И, похоже, что жизнь никогда не сопутствует нам.

В перерывах, пока не грохочет железный набат,
Молодые украдкою прячут чернильную грусть.
Только я ведь – из первого ряда, обычный солдат,
Мне напрасно писать с остальными пустое: «Вернусь…»

Твой союзник, Война, темен ликом и станом горбат,
Носит имя Бесчестной Победы, Бессовестной Лжи.
Только я же – из первого ряда, обычный солдат,
Мне до встречи с тобою и с ним не придется дожить.

На разрушенный мир устремлен немигающий взгляд,
Мы, сражаясь друг с другом, давно потерялись во мгле.
Я же просто – из первого ряда, обычный солдат,
Моих слов не расслышит никто на погасшей земле.

Мне неважно, что ржавый клинок заменил автомат,
Что прошел я в веках через тысячи схваток и войн.
Я – все тот же, из первого ряда, обычный солдат,
И все так же погибну, как только начнется наш бой.

А страницы моих поражений бесследно сгорят…
Но когда я вернусь через сотни непрожитых дней,
Меня снова поставят в привычный уже первый ряд
Посреди обреченных на смерть миллионов людей.

Меня снова поставят в привычный уже первый ряд,
Чтобы выстрелить первым в висок беспощадной войне.

Місто золоте (Рондель)

Десь в небі блакитному місто стоїть золоте,
І віри у нього, напевно, життя моє варте.
Крокуючи світом, я вічні наспівую кварти
І пам'ять несу в них про місце чарівне оте,
Де сад дивовижний палким різнотрав'ям цвіте,
Де зірка самотня несе понад стінами варту.
Десь в небі блакитному місто стоїть золоте,
І віри у нього, напевно, життя моє варте.
Щось ніжне й прекрасне, як мрії наївних дітей,
Є в образі цьому з пісень незабутнього барда.
І я чомусь знаю, що навіть без стежки та карти
Колись моє серце дорогу до нього знайде…
Десь в небі блакитному місто стоїть золоте.

Эвелина Шац

Da lingua a lingua
От языка к языку

Эссе

Sono io il tuo paese d'origine

La mia poesia italiana è o non è?
Nell'italiano mi sono rifugiata come in una certosa…

От языка к языку

Вечно тоскующая по родному языку – поэзии

И что же суть моей итальянской поэзии?
В ней я нашла убежище, укрывшись как в обители.
Назад к русскому – возвращение блудного сына,
ritorno di figliol prodigo, вечное возвращение.
Языки моих родиче-странников.
Пуститься в путь – бежать. Ну да!
Странствия суть бегство, чтобы
одиночество
оставалось нетронутым и неприкасаемым
Одна
от *языка к языку*

так *от травы к траве*
двигалось верхом великое уймище кочевников

С итальянского, 2017

Смены языка как таковой не произошло, просто эстетические знаки Италии проросли сквозь безразмерность России, способствуя кристаллизации сознания или лучше его становлению.

Ом

«Ом» – звук-первооснова, семенной слог Вселенной. Согласно древнему тексту Индии, весь наш мир вышел из звука «Ом». Он же и слог или слово, которое звучит во всех Ведах, оглашая покой Абсолюта и порождая тонкую, но при этом мощную вибрацию, несущую внутреннюю тишину. «Человеческий Язык рождался тихо, из молчания. Поэтому его хорошо слышно» (Федор Гиренок). Может быть, поэтому на самом юге Индии, в храме Вивекананда в Каньякумари, эта тишина мне показалась гулкой. «Ом» звучал как подземный гул нарождающегося землетрясения. Но и кажется, будто «Ом» ведет нас к познанию в себе бесконечности.

По ту сторону времени

за тайной мантры утопия живет покоя
там дорогие призраки молчат
                и отвечают пустотой
на наши слезы
            и одиноту́
                и страхи
но пустота не пустота
она насыщена и тайной
и плотностью неизмеримой

Ну, кашмирские шиваиты, индусы, – они тоже полагали, что на самом деле мир строится из звучания. Гласные, которые растягиваются, и благодаря вот этому растяжению как раз и выстраивается все пространство, выстраивается время.

Время

Настоящее не существует, оно становится. Всё было.

Сартр

Не существует никакого было, только есть.

Джойс

У него же дальше в Улиссе: *Каждое мгновение – плод сорока тысячелетий... каждый миг – окно, распахнутое во все времена.* Но *всё протекает в вечном настоящем.*

А вот обретенное время существует в искусстве. Это уже дорога в вечность.

Там нежно плачет свет бытия.
Звезда о вечности страдает и не знает,
что вечностью она больна и болью этою
сильна

Темпорология, или изучение времени, – наука будущего. Это междисциплинарный раздел, изучающий динамическую изменчивость мира. Свяжется ли он когда-нибудь с Энергоинформационным полем Вселенной (ЭИПВ)?

Темпорология

Сначала время
приносило радость
и разрушало
разрушало заодно
потом – лечило от прошлого,
которое не следует пасти
тем паче возвращать
а настоящее стремиться

обновлять, что требует
таланта щедрости и риска
из вида при этом не упуская
бренность бытия
иль это жизни тлен
и вечно бытие,
а значит, вечна жизнь:
две вечности у времени
вселенском, и смертный
не так уж прост, иное
мыслит он о преходящем
у Парменида неподвижно
бытие, но и текуче тоже,
его назвали исчезающим,
у Гегеля намного позже
Так бренности и бытию
не суждено
договориться полюбовно
и в складке Лейбница
укрылась гибель, что
всё живое заслужило
не мудрствуя лукаво.
Не от Лукавого ли всё?

Но вот уже не только настоящее, но прошлое пришло в убыстряющееся движение, сжимая, сокращая время. И вот уже оно сжимается до точки.

Время сжалось до точки
Снова сжалось до точки
И пружиной взорвалось.
В вновь разжатом пространстве
Вот уж новое время
Помутнев стервенело

Что же значит это? Вот Данте

суть изгнанник
из Флоренции, а значит мира, странник
внутри обратной перспективы:
в нем живо животворящее стремление вглубь
чуть мелкого, но лучше – меткого
пространства точки

Но возможно и то, что время – это и есть разновидность пространства, возникающее в его особом измерении

Пространство

Вспоминается рассказ Р. Брэдбери: *«И грянул гром: малейший след, оставленный в прошлом путешественниками во времени, например, нечаянно раздавленная бабочка, может привести к необратимым последствиям для будущего».*

На самом деле только так и начинают разворачиваться пространства и начинает разворачиваться вся вселенная.

«В начале был бит», – заявляет физик Ганс Кристиан фон Байер в книге «Информация: новый язык науки» (2004), явно отсылая к евангельскому *«В начале было Слово».*

Но информация – это первопринцип не только живой материи, но и Вселенной в целом.

Слово способно путешествовать: оно открывает нам пространство, рассказывая о нем, раздвигая его в нашем воображении.

И вот Цветаева:

Расстояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,

В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав

Можно ли говорить о смерти расстояний в результате революции в сфере новых коммуникаций?

И да, и нет.

Анфилада пустых пространств открывает тему пустоты, которая здесь не предусмотрена.

Закончу небольшим стихотворением тридцатилетней давности

Я в одно и то же время пустыня,
путник и верблюд
Густав Флобер

Ты, о, поэт, просишь у меня, верблюда,
доказательство падения посредством воображения.
«Посредством сильного воображения верблюд падает»,
утверждал Авиценна.
«Движение суть иллюзия»,
утверждал Зенон, не Эпикуреец,
а ученик Парменида.
На пятнадцать веков раньше.

Мир в целом есть *произведение**. Это новейшее или старейшее откровение происходит не из боговдохновенных книг, не из Священного Писания, а из повседневной практики человечества.

Информационное поле Вселенной в помощь.

Милан

* «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных… между собою создать новый мир, который зовется произведением» (В.В. Кандинский).

Анна-Виктория Ануфриева

Крапка та кома

* * *

кут нахилу
звисаючої посмішки
продиктував ніс ока
в день плоскості падаючого обличчя
виразності у мари
кома
видих гаснучого погляду
у циліндрі не зафіксовано
розповзається ехо
модифікованих спогадів танцюючим опудалом
кома
не твоєю тінню
переслідування
розпущеною мотузкою коріння
впускає тло
крапка
втеча нерухома

* * *

пересуватися принаймні зневірою
викривлені тунелі пережитих прохолод
роздирали закупорення огорожі
визирають відрізки
майже вершини
в'ються

переростаючи небом
виймуть вуста слова
вип'ю
розчин мов
із дна очей
коридором зібрано
очікування
частин твоїх промин
пір'ям
наче звідси вітри

* * *

голова людського ока
на багатство вимірів
направлена стрімко
кома
залишаючи пустелі вимірювань
накопичення
споглядає світлом
кроків
крапка
пробіл штрих
викрій каркасу
пункт
переселення
кома

Поміж

децентралізована зіниця
загостренного напрямку проходить
подвоєння паралельно рухаючогося
одне до одного каналу
блимою
сіріус відображає подію

міцно стиснутих зубів
скрежетом необачення тормозної педалі
кома
втрьох блукаючи
шляхами мислення
незворотність
полишає каркасу
коріння зброю втинає
жалом перевернутої медузи
споміж зайвого
крапка
правого ока газової
вказ на другу
відлік
межа перетинає свої кордони
знов і знов
ступає уперше
своїм слідом стати
щоб
переповнене око
розширило зіницю
вікна
крапка

* * *

заповнення тамбуру червоним
проміжком
двома пунктами між
кома
перехід одним одного
спиною вишуканих черга
у протяг нескінченності
падає листя
під вагою райдужки
формою краплі
кома

вуха механізм закладено
ультразвуком
німої щелепи
зігрітися ліктями оточуючих
що тримають праву у лівій
підношу долоні
відстань знімаючи
крапка
з тіла

Маргарита Геворгян

Краток вечер. Долог век

* * *

Е. Г.

Я знаю день. Я помню дом
С картинами, как с образами…
И Валя с юными глазами
По чашкам разливает чай…
На скатерти старинный том,
И время шутит над часами,
И губы шевелятся сами:
«Когда вернусь – меня встречай!»
Я знаю свет. Я помню путь
И эту нежную обитель…
Она здесь Дух, а он – Хранитель.
Здесь Слово ставят на весы
И от прикрас спасают суть.
…Пока листают здесь страницы,
Мне виден след весенней птицы
И море в капельке росы…

* * *

А. В.

Будь в веселье и в синей печали
Терпелива, светла и сильна,
И в конце, и при каждом начале
Будь нежна и вольна, как волна.

Будут спорить слова и бумага,
Будут путаться путник и путь,
Будет все – и пусть будет отвага
Просто быть. Я прошу тебя – будь…

* * *

Приходи на меня посмотреть,
Мой не друг, не любимый – но все же
Приходи, я хочу обомлеть
И расстаться с пергаментной кожей.

В слепоте предрассветных часов
Где-то есть огонек путеводный,
Приходи, мне не нужно цветов –
Только взгляд и рассудок свободный.

Твоего дорогого плеча
Не коснется рука моя ношей.
На окне моем тает свеча…
Проходи, нету правды в прихожей…

* * *

Быль июль, был вечер. Жарко,
И цветов без влаги жалко.
В душном клубе, под землей
Продолжали путь земной
Скрипки, альт, виолончель.
Жизни вечная качель
Между завтра и вчера
Лишь в такие вечера
Замедляет мерный ход.
Кто-то скажет: эпизод…

Нерв натянут, как струна.
Утомленная страна
Дышит жаром, ждет грозу…
Вечер начался внизу.
Зал наполнился и стих.
Самый трудный – первый стих…
Говорю себе: дыши!
За спиной фрагмент души
В платье снежно-голубом,
Нимб волненья надо лбом.

На струне дрожит романс,
Знаменуя декаданс.
В анфиладе отражений
Всех побед и поражений
Я ищу его глаза,
Чтобы робкая лоза
Обрела покой-опору
Вне сомнений и без спору –
На виду, на шаткой сцене
Все детали мизансцены.

Сделать шаг на твердый пол,
Отряхнуть от грез подол,
Оглянуться на квартет:
Дайте разом тень и свет!
Дайте занавес душе!
Пусть хоть пыльный, как клише…
Рифме дам огонь свечи.
День уймется. А в ночи
Не сомкну уставших век…
Краток вечер. Долог век.

Метнешь желчекаменное «прощай!..»

Метнешь желчекаменное «прощай!»,
И в новый уйдешь поход.
Язык – медоносец, язык – праща,
И рот твой – чужой приход.
Подумаю коротко, не ропща:
«Удачных тебе охот!»

И шею своей обовью косой
От всяких в пути простуд,
И вслед наудачу плесну росой:
Обида – напрасный труд.
Уйдешь, как когда-то пришел – босой,
Искатель сердечных руд.

Нас два дуэлянта, решивших спор,
Однажды начав играть.
Мы вышли навстречу, без шпаг и шпор,
И незачем больше врать:
Ты смотришь навылет, а я в упор,
И некуда пленных брать.

Немного хлеба

«…сие есть Тело Мое, за вас ломимое…»

На завтрак чай, чифирь у кого-то,
В окне четвертушка неба,
Бывает и так, одному и на всех всего-то
Немного хлеба.

Новой весной отпустят на волю
Синицу из клетки-склепа.
Однажды зимой под окошко метнут ей долю –
Немного хлеба.

Сиротство святых – Его забота,
Пугливое сердце слепо.
Хватило б меж тем одному ото всех всего-то
Немного хлеба…

Прости нам долг, мы простим кого-то –
Связующий узел крепок.
Однажды «вчера» не хватило нам всем всего-то –
Немного хлеба.

Ереван

Ольга Юшковская

И снова пишутся стихи

«Данае» Густава Климта

Даная, обнаженная Даная… и золото струится вдоль колен,
Не знаю, я тебя почти не знаю,
но погружаюсь в золотистый плен,
И Эрос, возведенный до иконы,
горчичный мед расплавленных волос,
Великий Климт, ты даже эхо стона
смог написать в хрустальной чаше слез.
О, эти губы, эти пальцы, эти руки,
ресниц твоих черничный полувзмах,
И таинство зачатья в сладкой муке
так прячешь от чужих нескромных глаз,
Что даже Зевс, твоей сраженный негой,
пролиться смел лишь золотым дождем,
Ты спишь, а рядом дремлет небо,
сквозь щелки глаз любуясь твоим сном.

Крылья

И снова пишутся стихи!
Я снова женщина. Живая.
Как в эпицентре двух стихий,
Стою, ладони раскрывая.
Мне снова хочется писать,
Растут, растут за строчкой строчки,

Еще немножко полетать
Не на метле. Упруго, прочно
Раскинуть гордых два крыла,
Расправить грудь и оттолкнуться
От подоконника. Еще вчера
Казалось – больше не вернутся
Мои стихи и крыльев сизый веер.
Но снова под лопатками свербит,
И мрак ночной, и зимний ветер,
Проем окна – мучительный магнит.

На пороге июня

Знаешь, завтра июнь… Завтра лето, как утро, настанет.
Завтра сбудется все, что стучалось в тревожные сны,
Утром жизнь повернется, ладонью игриво поманит,
Уходя, не прощаясь с холодным закатом весны.
Мы, как малые дети, которые слепо в каникулы верят,
Ждут последних звонков голосистую звонкую трель,
Для которых неведомы горькие взрослых потери,
И уроки еще не прочитаны этих недетских потерь.
Отмотаю назад сорок пятой весны наступленье…
Школа, бантики, гольфы, синий потертый портфель,
Снова девочка, Оля, как скучает мое по тебе отраженье,
На пороге июня мне особенно сильно тебя не хватает, поверь.

Ты – музыка моя

Я так люблю, когда приходишь ты
и водишь пальцами моими очень быстро,
И пишутся стихи, как в Питере мосты,
смыкаясь утром, наполняясь смыслом.
Мне нравятся твое дыханье у виска,
касанье в полутьме и буквы на экране,

Сплетенье тонких рифм, и новая строка
уже саднит во мне зияющею раной…
Опять болит душа, и значит, есть она,
еще жива под стоптанным асфальтом,
Хочу, могу писать, и тонкая струна
во мне опять звучит высоким альтом.
Ты – музыка моя, симфония души,
грохочущим оркестром льешься в уши,
Прошу, не умолкай, звучи, дыши,
дыши, с тобою я добрее, чище, лучше…

Полуночь

Не полуночь еще, уже не полувечер,
Луна висит – копеечный магнит.
И приторную горечь этой встречи
Сквозь полумрак и полусвет в себе таит…
Меня не отпускает это «полу»,
Как полутон, как полузвук, как полувзгляд,
Я будто вижу сладкий сон, который,
Как кинопленка, крутится назад…
Хочу смотреть, дышать и наслаждаться,
Тобой болеть, касаться в полутьме,
Тобою полужить, тебе полуказаться
И лишь тебе являться в полусне…

Галина Верд

Горненский

Поэма

I

Обнимая сонно ковыли,
Ручеек лениво полз с уклона,
Огибая спящие колонны
Вековых хранителей земли.

И вбирая влаги благодать,
Изумрудных сосен строй безгласный
Подхватил на кроны лучик красный,
Чтобы миру радость передать.

На заре сквозь дымку облаков
Бурым маревом восстали крыши града,
Древних улиц стены и ограды,
Находясь во власти сна оков.

Сизой тенью из античных лет
Что-то грезилось старинному чертогу,
И росли фигуры в длинных тогах,
Воскрешая дней минувших след.

Скользкий камень этих мостовых
Осязал Христа святые пяты,
И бича гнусавые раскаты
Всё звучат в пластах его живых.

Из клубов ночной туманной мглы
Выплывали лица авангарда,
Что, поддавшись хищному азарту,
Рвал на части рубища полы.

И, сгущаясь плотной пеленой,
Сумрак ночи, словно челядь ада,
Уносил Сионовы ограды,
За грехи былые в мир иной.

Но посланник праведный с небес,
Побеждая сонное забвенье,
На крылах принес благословенье,
Возвещая, что Христос воскрес.

Серой точкой в лоне облаков
Силуэт пичужки показался,
Он порхал, тревожился, метался,
Избавляя бренных от оков.

В клюве стиснув тамариска ветвь,
Людям нес он Господа прощенье,
От ошибок предков избавленье,
Пробуждая новой жизни свет.

Свой подарок бросил у ворот
Православных Горненского храма,
Что за скалы держится упрямо,
Уходя главами в звездный свод.

И, взлетев за паперть вдоль стены,
Ангел Божий в лике Божьей птахи
Песнь завел, чтоб слышали монахи,
Что избавлен мир от сатаны.

II

Соловья прерывистый катрен
Разбудил светило за горами,
И оно, умножась куполами,
Озарило спящий Эйн-Карем.

Воссиял золотоглавый храм,
Словно россыпь звезд на небосклоне.
Кипарис застыл в немом поклоне.
Новый день, рождаясь, заиграл…

Заглушая филомелы трель,
Голоса из храма зазвучали,
Полные восторга и печали,
Уносясь в мольбах своих отсель.

Белый свет из кованых окон
Озарял иконы, улыбаясь,
И они, пред Ним смиренно каясь,
Плакали елеем на амвон.

Скромно очи долу опустив,
Утопая в цвете белых лилий,
Возлежал по центру без усилий,
Всех за всё заранее простив,

На престоле, устланном ветлой,
Лик Пречистой Девы, мирно глядя.
Ну а Дух Святой забавы ради
Золотил под рамой аналой.

В упоенье преклонив чело,
Чин монахинь слал моленья Богу
Ниспослать прощенье и подмогу
В мире людям всем до одного.

Подхватив сей благостный порыв,
В монастырь сбирались прихожане,
И из дальних мест, и горожане,
Богу сердце искренне открыв.

Их радушно встретил дивный сад,
Весь в цветах лаванды, бальзамина,
В ароматах пихт, маслин, жасмина,
Как две тысячи лет тому назад.

И, как прежде, благостный чертог
Принял всех в радушные объятья.
Осенив паломников распятьем,
Схимонахиня взглянула на восток…

III

Там, где нынче всходит солнца диск,
Где земля едина с небосводом,
Богоматерь шла к целебным водам,
Стиснув в длани нежной тамариск.

Трепетал безудержно цветок,
С чувством праведным благоговенья,
Ведь судьба ему предстать знаменьем
В том, что новой жизни дан исток.

И омыв прекрасное чело,
Устремилась Дева вверх по склону, –
В дом Захарии прийти с поклоном
Повеленье Божие влекло.

Постучавшись с робостью в врата,
Спряталась за веткою сандала.
Но никак она не ожидала,
Что бесценной будет встреча та.

Вышла к ней радушная сестра,
Праведная дева Лизавета,
У которой испросить совета
Был наказ от ангела вчера.

И узрев кузины силуэт,
Приснодева враз возликовала:
Плодоносящей пред нею та предстала
После стольких безуспешных лет.

Возвещая всем благую весть,
Вдруг дитя в утробе возыграло,
На колени женщина упала,
В том узрев Святого Духа честь.

– Пресвященна ибо ты в женах,
И твой плод благословен во чреве! –
Лизавета обратилась к Деве
Голосом Архангела из сна.

И Мария также понесла,
По веленью неба, Божья сына.
Приняла ее в свой дом кузина
И в селенье горнем помогла.

IV

В этом месте выстроили храм,
Где покой найдет любой грядущий,
Где очистить люди могут души
От грехов и нецелимых ран.

Жизнь полна и радостей, и бед.
Но лишь дух из тьмы воспрянет к свету,
Как взываем к Новому Завету
Мы в надежде получить совет.

Сотни душ заблудших на поклон
Прибывают к берегу святому,
Позабыв про немочь и истому,
Ищут от невзгод своих заслон.

Пусть сияет праведно звезда
Отражаясь, множась куполами,
Над горой священною крылами
Ангел пусть хранит сей храм всегда!

Елена Палашек

В государстве рифм

Угли в бассейне

Пылает закатное небо,
и падают угли в бассейн.
Был день удивительно нервный.
Я лягу красивой в постель,
не спать, дожидаться рассвета:
любимый сегодня в пути.
Приедет сказать мне «прости»
за это горячее лето.
Прощу, а потом, как в кино,
все будет обычно, банально:
свеча, дорогое вино,
но это не принципиально.
Тесны и сарай, и шалаш,
дворцы, путешествия точно
не блажь, не мираж.
Мой багаж
доставила новая почта
вчера. Не спешу разбирать,
а может, я просто устала.
Легла я красивой в кровать
на гладь простыни, покрывало
отбросив, не спать.
Все равно,
мечтать нелегко на закате

и знать, что свеча и вино
банальности в кинопрокате.

* * *

Я эмигрантка в государстве рифм.
На переезд согласья не давая,
приехала туда совсем чужая.
И, примеряя одеянья нимф,
пыталась доказать, что не нагая.
Любое государство – есть закон
и рамки этикета, и элита.
А кто, как я, с законом не знаком,
тот предпочтет наряд космополита.
И мир во мне, и я почти в миру́,
беспомощна, правитель не унижен.
Закон снаружи, вольно же нутру,
будь то в Афинах, в Риме иль в Париже.

* * *

...кому суждено быть королевой и королем
в то время, которое пахнет падением, гривной, рублем.
Мне охота.
Но квота на королев,
не успев утвердить счастье мирно,
наплевав на падение гривны,
одурев, обнаглев (ну, такое),
загоняет нас в царственный хлев,
где нам пахнет немного покоем.

Поклон

Мне не сложно и нелегко,
я бояться уже забыла,
но парным, словно… молоко

вспоминается то, что было.
Забывается то, что есть,
и свободна моя свобода:
не вынашивать в чреве месть
и не ждать своего ухода.
Не словам доверяю, делам,
отгораживаюсь занавеской.
Мой поклон всем предавшим, вам,
мой поклон до земли одесской.

* * *

Мы стали наркозависимыми от безысходности.
Наши бонусы – враки и подлости.
Человечность от профнепригодности
перестала быть человечностью.

На иголку надежды подсажены,
пересудами обезображены,
не себе, но кому-нибудь скажем мы,
что сердечность грешит быстротечностью.

Политичность чужой отсебятины
заполняет надежды пустые.
Стены, двери хранят дыры, вмятины.
Лбы разбитые стены простили.

Кузнецову

В какой тональности поет твоя душа,
о чем сыграешь на пороге мира,
как проще жить, вразлет иль не спеша?
Об этом Юру я спросить забыла.
В полете руки кажутся родней:
летают снова руки над роялем.

Я не могу винить родных людей
за то, что миг и краток, и финален.
В какой тональности мне о печали петь,
когда скорбит со мной моя Пальмира?
Кому нужна безвременная смерть?
Об этом Юру я спросить забыла.

Первые шаги

218 Одесское «Море талантов»

Одесское «Море талантов»

Все работы, вошедшие в сборник «Море талантов», обладают ценным качеством – они самобытны, интересны, свежи своими задумками, хорошо оформлены. Благодаря педагогам, наставникам, преподавателям школ, студий, библиотекарям, ребята имеют возможность развивать свой талант, совершенствовать мастерство, создавая произведения, которые отражают сегодняшний день, мысли и надежды подрастающего поколения, перед которым открыта дорога в литературную жизнь.

Инна Ищук, член Национального Союза писателей Украины,
председатель Объединения детских писателей Одессы

Лиза Новаковская, Одесса

Игрушки

Жили-были игрушки в волшебной коробке. Они были очень дружны. Но однажды забрался в коробку злой Паук. И решил поссорить игрушки. Он ударил Мишку и спрятался. И Мишка подумал, что это Зайчик. Но кукла София заметила проказы Паука:

– Как тебе не стыдно, – сказала она. – Мы столько лет дружно живем в коробке. И никогда еще не ссорились.

– А я совсем один, – расстроился Паук. – И когда я вижу, как вы играете, мне становится обидно, что я никому не нужен.

– Хочешь, играй с нами, – предложил Мишка.

– Давайте в прятки, – предложил Зайчик.

– Ну вот, Паучок, теперь мы друзья, – сказала кукла София. – Приходи к нам в гости. Мы всегда будем тебе рады.

Паучок обрадовался и сплел кружевную салфетку для куклы Софии, имя которой обозначает «мудрость».

Илья Рознерица, Одесса

История лошадки Малинки

В пять лет мне подарили игрушечную лошадку. Она была мягкая, красивая. И я назвал ее Малинка. Она стала моим другом. Я рассказывал ей все свои обиды, она меня терпеливо выслушивала. Куда бы я ни шел, я всегда брал с собой Малинку. Я не расставался с ней даже во сне. Она приходила ко мне. И катала меня. Во сне она была маленькой красивой пони. Мы ехали по зеленой траве навстречу солнцу.

Однажды на прогулке в детском саду мы собирали листья в парке. Я так увлекся, что я забыл Малинку на скамейке.

И с букетом разноцветных листьев ушел домой. А лошадка осталась в парке. Пошел дождь. Малинка промокла. Над парком летела фея. Она увидела промокшую лошадку и пожалела ее.

Утром, когда дети пришли в парк, они увидели пони, которая укрылась от дождя под навесом. Но я искал свою лошадку, которую оставил в парке. И не мог даже подумать, что это моя пони. Обыскав все кусты, я стал плакать. Так жалко мне было Малинку. Пони подошла ко мне. И уткнулась в мои ладони. Я посмотрел ей в глаза и вспомнил свой сон. И понял, что это моя Малинка. Теперь моя лошадка выступает в цирке, она катает детей. А когда я прихожу, бежит ко мне. И мы разговариваем обо всем, что нас волнует.

Сергей Кара, с. Вольное, Тарутинский район

Каждый учится на своих ошибках

– Милый мой зайчик, расскажи что-нибудь о себе, – попросил я своего любимого зайчика – игрушку.

– О себе – нет, – ответил пушистик, – а вот расскажу о моем знакомце, друге.

– Хорошо, я согласен, – и внимательно стал слушать.

– В густом-прегустом темном-претемном лесу жила была семья: сын Зайчонок, мать Зайчиха и отец – глава семьи.

Семья была трудолюбивая, дружная и честная. В округе все их уважали, с ними дружили. Один Волк никак не мог равнодушно смотреть на Зайцеву семью. Но перед коллективом соседей он всегда либо смягчался, либо терялся. Никто этого не знал, но видели, что Волк всегда их сторонился.

Жили Зайцы в добротной светлой избушке. Из окна была видна речка, просторный берег, большая усеянная цветами поляна и ухоженный Зайцев огород.

Отец Заяц все время копался в огороде. Он выращивал на нем морковь, капусту. Еще была у него слабость – цветы. Их тут в палисаднике и в огороде было множество. Мать Зайчиха на лавочке вяжет все лето теплую одежду для семьи на зиму: и свитера, и носки, и варежки.

Только маленький Зайчик не знает, чем заняться. И не потому что не хочет, а потому что маленький еще. Но он не сидит. То отцу чем-то подсобит, то матери клубок ниток распутает. Все же не бездельничает.

Наступила осень. Задумались родители припастись еще коечем на зиму, да и сыну надо справить обувь. Собрались на базар.

Сыну наказали дома сидеть, в окно глядеть, огород охранять и никого не подпускать. В придачу дали ему лук и стрелы из моркови.

– Смотри, просто так не стреляй, никого не пугай.

Ушли Заяц с Зайчихой. А Зайчонку не сидится, не глядится. Захотел побегать, порезвиться, лук натянуть, хоть разок стрельнуть.

Дернул дверь. Заперта. Открыл окно и вылез в него. На поляне хорошо. Зайчик стал резвиться и забыл про наказ родителей. Стрельнул раз-другой – и попал Волку в глаз. В это время Волк отдыхал после неудачной охоты. Встрепенулся, завыл, вскочил, поджал хвост и помчался туда, откуда прилетела стрела.

Увидев Зайчонка, Волк обрадовался.

– Вот где ждала меня удача! – зарычал он.

А Зайчонок от испуга закрыл глаза и завизжал на весь лес.

Куда ему деться? Некуда скрыться: дверь заперта, а окно высоко.

Так и попался бы в лапы Волка, если бы…

На дереве недалеко сидели две Синички, близнецы-сестрички. Они подлетели, подхватили Зайчонка и подсадили в окно.

Поскулил Волк, позлился, прижал хвост и поплелся в темный лес.

К тому времени вернулись Заяц и Зайчиха. Отец подарил сыну сапоги, а мать – медовик. Взял Зайчонок медовик и отнес Синичкам.

– А ты? – удивленно спросила Зайчиха мать. – Это же твое любимое.

Не успела мать спросить, как Зайчонок расплакался и сквозь слезы рассказал.

– Не заслужил я подарков, не послушался я вашего совета. Если бы не Синички, не быть мне сейчас с вами.

Мать молча достала второй медовик и протянула сыну:

– Это тебе за честное признание.

Отец помолчал немного, а потом заговорил:

– Ты бери, ешь и помни: каждый учится на своих ошибках.

Дважды первый раз в одну и ту же речку не ступают. Пусть сказка будет вам впрок, а ошибки вам – урок.

Екатерина Кнак, Одесса

Любить – это значит жалеть…

«Будьте человеком, прежде всего и больше всего.
Не бойтесь слишком отяготить себя гуманностью…»
В. Гюго

Ах, как хорошо, когда все так хорошо кончается! А ведь могло быть…

Впрочем, все по порядку.

Эта история произошла со мной, когда я был совсем маленьким. В семье я родился пятым и был самым маленьким и слабым. Вначале мы с братьями жили вместе с мамой – кошкой. А потом нас неожиданно разлучили, посадили в коробку и куда-то увезли.

Оказалось, что нас привезли на рынок, где продавали животных. Там было множество незнакомых людей и таких же, как мы, испуганных кошек и собак, ожидающих своей участи. Сбившись в угол и согревая друг друга дыханием, мы терпеливо ждали. К коробке подходили люди, смотрели на нас и по одному забирали моих братьев.

Но вскоре я остался один, и больше уже никто не останавливался около нашей коробки. Я понял, что никому не нужен.

– Эй, люди! – хотелось мне закричать. – Возьмите меня, и я буду согревать вас зимними вечерами, свернувшись теплым клубочком у ваших ног! Спасите меня, а я спасу вас от одиночества и буду любить вас, даже если вас никто не любит…

Но некому было сказать эти слова… Человек, который нас привез, равнодушно посмотрел на меня, взял коробку со мной и куда-то понес.

«Вот и настал мой последний час», – подумал я.

Он положил коробку на землю. И я увидел спину уходящего человека.

– Подожди! Куда ты?! Не оставляй меня! – закричал я ему вслед, но он даже не обернулся.

Потом мимо меня проходило множество людей: у кого-то в глазах читались жалость и сочувствие, у других – безразличие.

– Мама! Мамочка! – стал я кричать. – Где ты? Забери меня отсюда!

Но никто не пришел… Было так страшно, холодно и одиноко…

Приближался вечер.

Вжавшись в угол коробки, я дрожал от страха и плакал. Вдруг чья-то большая тень накрыла коробку. Огромная овчарка склонилась надо мной, раскрыв свою зубастую пасть. Я замер от ужаса, предчувствуя беду, но собака очень осторожно подхватила меня и не спеша куда-то понесла. Я так испугался, что даже плакать не мог, только, зажмурившись, дрожал в ее пасти.

Неожиданно послышался голос:

– Дина! Кого это ты принесла?

Я открыл глаза и увидел девочку. Собака, которую звали Дина, осторожно положила меня ей в руки.

– Где ты взяла этого малыша? – спросила девочка.

Дина залаяла и побежала к коробке, в которой я находился.

– Так тебя бросили, бедняжка… Ну что, Дина, возьмем его к себе? – спросила добрая девочка, усаживая меня к себе в теплую куртку.

Дина громко залаяла, прыгая вокруг своей хозяйки. И я понял, что больше никогда не останусь один.

Сейчас мне пять лет, я роскошный – мур-мур – домашний кот, и зовут меня Василий. Моя хозяйка Катюша меня обожает, а с овчаркой Диной мы по-прежнему дружим, ведь это она меня нашла в тот счастливый вечер.

Вот такие чудеса случаются в нашей жизни, если рядом оказываются люди, которые умеют любить и жалеть.

Лев Белоконь, с. Нерубайское

Музыкальная история

Жила-была Виолончель. И была она толстой и неуклюжей. Никто не хотел ее слушать, никто не хотел с ней дружить. Ее даже на концерты не пускали и смеялись над ней.

– Куда тебе на концерт, такой толстухе! – хихикали стройные Скрипки.

– Тебе только с Контрабасом дружить. Будете как два слона! – говорили другие инструменты.

Однажды, когда Виолончель выгнали с очередного концерта, она шла печальная и заплаканная.

– Наверное, я действительно ужасно неспособная. И никогда не найти мне друзей.

Но вдруг из-за угла появился Саксофон. Он был тонкий, изящный и начищенный до блеска. Саксофон шел и весело играл на всю улицу.

Виолончели так понравилась его песня, что она стала подыгрывать ему.

Она играла очень тихо и застенчиво, но Саксофон ее услышал.

– Какой у вас замечательный голос! Нам обязательно нужно спеть с вами дуэтом! – закричал Саксофон.

Он тут же пригласил Виолончель на свой концерт (ведь это был очень известный Саксофон) и предложил сыграть вместе.

Это был чудесный концерт! Музыка была настолько прекрасна, что все, кто слышали ее, начинали пританцовывать.

Зрители в зале были восхищены талантом Виолончели:

– Какая замечательная музыка!

– Вы только посмотрите на Виолончель, как она поет!

– И вовсе она не толстая, просто заметная.

Даже Скрипки хлопали Виолончели и поздравляли ее с удачным выступлением.

С тех пор они дружили и часто играли вместе. Контрабас тоже играл с ними.

Анастасия Свеженцева

Возвращение

Странный путь проложен…
Опустевший город…
А лицо прохожий
Стыло прячет в ворот.
Посмотрев на платье,
Оценивши мигом,
Чем болтать со знатью,
Он исчез из вида.
И, захлопнув ставни,
Он замкнет каморку…
Город мой нарядный,
Где в рисунках створки…
Ты понять не дашь мне,
Что знакомы лично.
Поначалу страшно,
А потом – обычно…

Только я считаю:
Что-то здесь неверно;

Не привыкла, знаю,
К тишине задверной.
Сяду на ступеньки:
Мне ведь тоже больно;
Отдышусь маленько –
Встану беспокойно.
И пойду стучаться
В расписные двери.
Не могу дождаться:
Не могу не верить.
Все одно родные
Мы по душам люди.
На одной земле мы
Были, есть и будем.

Владимир Толстиков, Одесса

Весна нагрянула!

Маленькие дворики,
Все в лозе беседки…
Там трудяги дворники,
На лавочках соседки.
Запахи акации,
Каштанов и сирени –
Ах, как сладко дышится
В городе весеннем!
Кот лениво жмурится
В старое оконце,
Где немного хмурится
Мартовское солнце.
Улицы одесские
С весною оживляются,
И коляски детские
В парки возвращаются.
Море берег трогает
Ласковой волной,

Чайки любопытные,
И шумит прибой.
А в районы спальные
Вновь весна идет…
Площадь Привокзальную
Запрудит народ.
И многоголосием
Растечется вдруг
В переулки, улицы,
Заполнит все вокруг.
Да! Весна нагрянула
И волнует кровь!
Как красиво в городе,
Где живет любовь!
Ах, Одесса – мамочка!
Искренне, до слез,
Я люблю ту улицу,
Где так быстро рос!
Там знакома издавна
Сердцу моему
Каждая травиночка,
Что так ждет весну!

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

228 **Анатолий Горбатюк**
Трубач с Садовой

249 **Евгений Голубовский**
Звездные часы Евгения Лукашова

253 **Семен Яуза**
Дворец труда у бывшей Хитровки

264 **Феликс Кохрихт**
МСИО. Я поведу себя в музей?..

275 **Леонид Авербух**
Одесские музы поэтов

291 **Григорий Палатников**
Кремона

Анатолий Горбатюк

Трубач с Садовой

Я начинаю рассказ об Аркадии Астафьеве, дружба с которым началась в конце 50-х годов ушедшего столетия. При этом иногда мы ссорились, но отношения наши не прерывались – просто возникала пауза, по времени, как правило, совсем не значительная, и все продолжалось, будто бы и не было никакой паузы. Короче говоря, нормальная мужская дружба. Сразу хочу подчеркнуть: Астафьев был человеком неординарным, и дело не только в его потрясающем музыкальном таланте. Он был дерзок и смел, достаточно начитан и чрезвычайно остроумен, мог выпить невероятное количество любого спиртного и оставаться трезвым (по крайней мере, для окружающих)… И главное: он никак не заслужил такого ухода в лучший, как уверяют нас оптимисты, мир – в полной изоляции приюта навсегда оставшейся для него чужой страны. Впрочем, давайте обо всем по порядку…

Детство и отрочество

Первые послевоенные годы… Повсюду зияющие развалины – результаты интенсивных бомбежек и артобстрелов Одессы в период ее 73-дневной героической обороны 1941 года. Семья поселяется в подвальном помещении огромного жилого дома в самом центре города – Садовая, 16. Начинается жесточайшая – не на жизнь, а на смерть – борьба с полчищами крыс, которые считают себя полноправными хозяевами подвала и не собираются уступать его двуногим пришельцам. Семья – это бабушка, мама и двое детей: Жанне в год окончания войны исполнилось восемь, Аркадий – на два года

младше. Отец не вернулся с фронта, все лежит на плечах мамы, работавшей, как казалось, круглые сутки, чтобы прокормить семью. Это была замечательная женщина, Мария Самойловна Меламуд (мы ее называли «тетя Маша») – заботливая, чрезвычайно гостеприимная, одаривающая нас доброй улыбкой через толщенные линзы очков. Зрение у нее было ужасное, из-за чего тетя Маша, неизменно тащившая на себе огромные сумки, часто падала…

Аркадий рос хулиганистым пацаном, большую часть времени проводившим в развалинах почтамта – в нескольких десятках метров от своего дома. А кто мог заниматься его воспитанием? Подслеповатая, плохо слышавшая бабушка? Или, может быть, сестра – вся в маму, такая же добрая, как и мама, баловавшая брата-сорванца? А мама, как вы уже знаете, постоянно на работе, да еще и с частыми командировками (она трудилась экспедитором в какой-то «шарашкиной конторе»)… Вот и рос наш юный герой сорвиголовой и первым драчуном в районе – от Соборки* до Нового рынка… Как вспоминает Феликс Давидович Кохрихт, известный одесский журналист и телеведущий, ему «посчастливилось» оказаться с Аркадием в одном классе. Впоследствии Кохрихт и Астафьев были в приятельских отношениях: еще бы, Феликс – большой любитель и тонкий знаток джаза, но тогда… Легко себе представить, какие эмоции вызывал у нашего героя интеллигентный еврейский мальчик с кудрявой головой, да еще играющий на виолончели. Бедный Феликс…

Однажды случилась беда. Прямо скажем – несчастье: во время одной из игр в «развалке» – то ли в казака-разбойника, то ли в фашистов и «наших» – Аркаше в глаз ткнули палкой. Нечаянно, конечно. Его, окровавленного, под вопли обезумевшей бабушки принесли в подвал. Вызвали с работы маму, которая примчалась немедленно и сразу же повезла сына в самую знаменитую не только в Одессе, но и во всем Советском Союзе офтальмологическую клинику, раскинувшуюся на Пролетарском (ныне вновь Французском) бульваре. Повезло: прием проводил лично Он – светило мирового масштаба. (Всю эту трагическую историю мне поведал однажды непосредственно Аркадий, ее мельчайшие подробности я запомнил на всю жизнь.) Закончив осмотр пациента,

* Соборная площадь, в описываемое время – площадь Советской армии.

знаменитость вышла к ожидавшей в приемной маме и произнесла приговор: «Есть возможность глаз спасти, для чего необходимо провести чрезвычайно сложную и дорогостоящую операцию. Она стоит сорок тысяч рублей. Только вам следует поторопиться: в вашем распоряжении – не боле четырех часов, потом наступят необратимые процессы»…

Чтобы было понятно, что такое в те годы сорок тысяч рублей, приведу один пример: в огромной витрине автомагазина на улице Советской армии (ныне Преображенская) стоял красавец экстракласса «ЗИМ» стоимостью семнадцать тысяч, но его не покупали: такие деньги у народа попросту не водились. А тут – сорок тысяч… Мама бросается на поиски этой невероятной суммы. Оббегала всех родственников и знакомых, отнесла в скупку несколько имевшихся у нее ценных вещей (обручальное кольцо, браслетик с камушками, что-то еще…). Получилось много – восемнадцать тысяч. А нужно сорок! Принесла она эти восемнадцать тысяч, умоляла академика, как только может умолять любящая мать… В ответ услышала: «За эти деньги я только могу сделать хороший протез»…

С тех пор и до конца своих дней ходил Аркадий с хорошим глазным протезом, настолько хорошим, что многие и не замечали отсутствия у него глаза. Только характер и повадки Аркадия ничуть не изменились: очень быстро адаптировавшись с измененным взглядом на окружающее пространство, он остается таким же дерзким, таким же свободолюбивым и безрассудно храбрым. Правда, много читал, опять же, благодаря маме, которая из командировок всегда привозила книги. В общем, трудно сказать, какой личностью бы состоялся наш герой, но тут взяла слово Ее Величество Музыка.

А.И. Янус

…Взяла слово Ее Величество Музыка в лице известного в Одессе 1930-1970-х годов капельмейстера, проще говоря – дирижера-духовика Андрея Ивановича Януса (… мая 1889 – 21 июня 1976). Поскольку этот человек сыграл весьма значительную роль в сложной судьбе нашего героя, считаем необходимым хоть немного рассказать о нем.

А.И. Янус. 1916 г.

...Как все «канавские» мальчишки, в далеком детстве мы стремглав мчались на звуки маршировавшего впереди колонны курсантов среднего мореходного училища оркестра, два раза в день – до и после занятий – проходившего мимо нашего дома в начале Канатной. Впереди оркестра вышагивал, величественно дирижируя, статный пожилой красавец. Его руки, одетые в ослепительно белые перчатки, завораживали не только идущих за ним строем музыкантов, но и мгновенно собиравшиеся толпы зевак. Он достаточно заметно прихрамывал, но это никак не убавляло царственности его походки.

Детство очень давно закончилось, но любовь к оркестровой духовой музыке сохранилось навсегда. Безусловно, главную роль в этом постоянстве сыграл именно он, Янус, – тот самый дирижер в белых перчатках из послевоенного детства. Между прочим, с ним в первые послевоенные годы произошла трагикомическая история, каким-то чудом оставшаяся для него без последствий. Ее поведал мне мой друг Николай Голощапов, сразу предупредивший, что это может наполовину оказаться очередным одесским мифом. Как бы там ни было, я с удовольствием перескажу его рассказ.

...Когда до приезда в послевоенную Одессу партийно-правительственной делегации ставшей дружеской для нас Румынии*

* Монархическая Румыния в прошедшей войне входила в число союзников гитлеровской Германии и принесла оккупированной ее вояками Одессе неисчислимые страдания. В конце войны, когда участь гитлеровской коалиции

А.И. Янус. 1973 г.

оставалось несколько дней, дирижер гарнизонного духового оркестра впал в отчаяние, и его можно было понять. При торжественной встрече высоких гостей следовало играть гимны СССР и Румынии. С нашим гимном проблем не было, а где достать ноты румынского гимна? Вот дирижеру и подсказали – только Янус может помочь, а если у него не окажется этих нот, значит, их нет в Одессе ни у кого. Вот и отправился наш майор с визитом к Янусу.

Андрей Иванович встретил неожиданного гостя приветливо, предложил коньяк и поинтересовался целью визита.

– Выручайте, коллега! – сразу приступил к делу дирижер гарнизонного оркестра. – На вас вся надежда…

была практически решена, Румыния повернула свои штыки против Гитлера, за что ее король Михай даже был награжден высшим советским военным орденом Победы.

– А в чем, собственно, проблема? – прихлебнув коньяк, удивился хозяин. – Да вы успокойтесь, если что-то зависит от меня – обязательно помогу.

– Мне позарез нужен гимн Румынии! – нервно выпалил майор.

– И это все? – еще больше удивился Янус. – Из-за этого на вас лица нет, и вы на моих глазах повышаете себе кровяное давление?

– Да знаете ли вы, что со мной сделают, если мы не сможем через три дня сыграть этот проклятый гимн?! Так он у вас есть?

– Молодой человек, успокойтесь и запомните: вы обратились к старому капельмейстеру, у которого есть все гимны – хоть Румынии, хоть Парагвая, хоть…

– Не нужно Парагвая, только Румынии! – у майора с сердца свалился огромный камень.

– Румынии – так Румынии, – Янус несколько вальяжно развалился в кресле. – Давайте выпьем по рюмочке за знакомство, и вы получите необходимые вам ноты. Только, пожалуйста, с возвратом: они у меня в одном экземпляре…

– Коллега, о чем вы говорите! – вскричал счастливый дирижер гарнизонного оркестра. – Завтра к полудню ноты будут у вас.

Выпили – за знакомство, за будущее сотрудничество, за отсутствующих дам (имелись в виду жены), потом еще за что-то… Наконец хозяин квартиры поднял из кресла грузное тело и направился в кабинет, откуда вскоре вышел, держа перед собой взятый в коленкор довольно объемный том.

– Вот они, родимые, – все как один, можете полюбопытствовать, – с улыбкой произнес Янус, но, увидев в глазах гостя явное нетерпение, добавил: – Ладно, начнем с Румынии. Где она у нас… Перу… Португалия… Реюньон… О, вот и ваша Румыния, будьте любезны…

Долго прощались в дверях, майор не знал, как благодарить своего спасителя, обещал щедрый магарыч и, совершенно счастливый, отправился переписывать партитуру.

Через несколько дней прилетела румынская делегация, и точно в нужный момент гарнизонный оркестр, облаченный в парадную форму, сыграл для нее гимн… Только, вот незадача: наблюдавший краем глаза во время исполнения гимна за лицами гостей

Одесские дирижеры духовых оркестров. 1950-е гг. Третий слева в первом ряду – А.И. Янус

наш дирижер, в надежде обнаружить на них приятное удивление, видит совсем иную реакцию. Румыны начинают переглядываться и шушукаться, что, кстати, не осталось незамеченным чуткими ребятами в штатском. Вскоре все выяснилось: к вящему ужасу дирижера гарнизонного оркестра, одетого в парадную форму, его подопечные сыграли гимн… фашистской Румынии времен Антонеску, а не гимн Социалистической Республики Румыния! Стоит ли говорить, что никакого магарыча Андрей Иванович Янус не дождался?

А с другой стороны, при чем здесь Янус? Пожилой капельмейстер, никогда не интересовавшийся политикой, каким-то образом должен был догадаться, что в Румынии поменялся гимн? И вообще, вопрос был поставлен как – есть гимн Румынии? Да, есть, и именно его, а не какой-нибудь Монголии или другой Гватемалы, и дал Янус перепуганному майору. А вот дирижер гарнизонного оркестра как человек военный и обязательно партийный должен был разбираться в подобных тонкостях…

…Сегодня уже не восстановить те события начала 1950-х, которые привели юного Аркадия к легендарному капельмейстеру, но такая встреча состоялась. Более того, Януса, повидавшего на своем продолжительном веку достаточно много и талантливых самородков, и тупых бездарей, крайне заинтересовали выдающиеся, прямо скажем, способности этого коренастого паренька, помноженные на прекрасные физические данные. Заинтересовали настолько, что Аркадию было не только разрешено присутствовать на репетициях духового оркестра мореходного училища, но и – через некоторое время – занять место среди оркестрантов со старенькой трубой, врученной ему самим Янусом. Как вспоминали впоследствии коллеги последнего, тот откровенно гордился новым учеником: «Он скоро даст фору всем одесским трубачам, и при этом будет пить водку не хуже меня!..». Как в воду глядел знаменитый капельмейстер…

Джаз навсегда

Аркадий с радостью окунулся в совершенно новую для него атмосферу, стремительно осваивая все премудрости нотной науки. Более того, обладая великолепной памятью, он очень скоро выучил наизусть партию первой трубы десятка полутора маршей и других произведений из репертуара духового оркестра. Проходит еще немного времени, и 15-летний Аркаша начинает с помощью музыки зарабатывать деньги…

В те уже далекие времена каждое мало-мальски значительное предприятие имело собственный духовой оркестр, который шел впереди праздничной колонны на майских и октябрьских демонстрациях трудящихся, а также участвовал во всех праздничных мероприятиях местного масштаба (вечерах отдыха и др.). Организации поскромнее, не имея возможности содержать постоянно оркестр, с помощью профсоюзного комитета набирали музыкантов, так сказать, разово, и сразу же производили оплату. Легко освоив эту нехитрую систему случайных заработков, наш герой постоянно с гордостью приносил маме заработанные собственным трудом деньги.

А на поддержание имиджа хулигана и первого драчуна времени оставалось все меньше…

И здесь приходит увлечение джазом – буквально бальзам на бунтарскую душу Астафьева. Вот где, оказывается, можно вдоволь похулиганить с помощью трубы, тем более что исполнительский аппарат (то есть дыхательная система, артикуляционные органы – губы, язык, нижняя челюсть, гортань – и пальцы) начинающего трубача как будто создан для этого. А еще и великолепный слух! В лексиконе появляется новое слово – *импровизация*, основа основ джазовой музыки. Только вот что-то не складывается: трубные экзерсисы Аркадия не воспринимаются серьезными джазменами, те морщатся, а иногда и демонстративно затыкают уши пальцами. Оказывается, без знания гармонии импровизировать невозможно. Спасибо Янусу, заставлявшему его играть гаммы и запоминать, сколько диезов и бемолей в каждой из них…

Аркадий постоянно слушает старенький «Рекорд», настроенный на короткие волны, чтобы через треск гебевских глушилок уловить волшебный для миллионов любителей джаза голос Уиллиса Коновера* с его программами «*Jazz Hour*» и (с 1955 года) «*Music USA*». С творчеством каких великолепных трубачей он познакомился тогда! Их имена и сегодня вызывают трепет и почитание: Диззи Гиллеспи, Майлз Дейвис, Луи Армстронг, Клиффорд Браун, Чет Бейкер, Кларк Терри, Мейнард Фергюсон, Нат Еддерли, Гарри Джеймс, Эдди Рознер, в конце концов…

Когда Аркадия не стало, в потоке вылившихся в Интернет соболезнований я обратил внимание на высказывание о нем известного в прошлом одесского музыканта, джазового барабанщика Джорджа Гелмиса: «Одесский Фергюсон». Сравнение, безусловно, достойное ушедшего, но я бы назвал Аркадия: «Наш Луи Армстронг», – потому что Астафьев поклонялся именно этому великому музыканту, филигранно копируя его музыкальные фразы, но при этом явно слышалась самобытная манера самого Аркадия…

…Взахлеб слушая «вражеское радио», он при этом не пропускает ни одного приезда гастрольных джазовых коллективов, постоянно участвуя в джем-сейшн. Лет в шестнадцать Аркадий

* Уиллис Кларк Коновер (младший) – американский джазовый продюсер и радиоведущий на радио «Голос Америки».

часто присутствует на репетициях институтских оркестров, в первую очередь – Водного института, которым руководил Евгений Болотинский, ставший для Аркадия вторым (после Януса) музыкальным и духовным наставником. С огромным сожалением не могу не заметить: как жаль, что Астафьев не всегда прислушивался к советам Евгения Наумовича… Пишу эти строки 30 ноября 2017 года – на сороковины Аркаши. Может быть, он уже встретился с Болотинским и еще со многими, многими друзьями-музыкантами?..

В те далекие уже времена – вторую половину 1950-х – Астафьев, как губка, впитывает все лучшее из деятельности местных трубачей – Эдика Мурадяна, Виктора Грицаева, Якова Вайнштока… Особое его внимание привлекала манера приехавшего в Одессу с осколками развалившегося «Зеленого джаза» под управлением Александра Горбатых прекрасного трубача, тонкого импровизатора Владимира Черепанова. И Грицаев, и Вайншток, и Черепанов не слишком долго задержались в Одессе и уехали в ведущие столичные коллективы, где успешно проявили себя. Астафьев, на глазах превращаясь в классного востребованного музыканта, имел все основания последовать их примеру, более того, неоднократно получал вызовы, но из Одессы выезжать не желал. Ну, разве что на непродолжительные гастрольные поездки с концертными бригадами. Для свободолюбивой натуры нашего героя этот вариант казался предпочтительнее, да и денег в бригадах зарабатывали значительно больше, что для Астафьева было немаловажно: ему нравилось *жить на широкую ногу*…

Концертные бригады. Возвращение

Следует заметить: музыканты бережливые после нескольких поездок в составе гастролирующих бригад, если только не были горькими пьяницами, становились людьми весьма состоятельными (первый признак состоятельности в те времена – покупка собственного авто). Они только недоуменно пожимали плечами, наблюдая, как безжалостно расправляется наш герой с таким трудом заработанными «башлями»**.

** «Башли» – деньги (муз. сленг).

Аркадий Астафьев с Олегом Золоевым. 2012 год

Действительно, в гастролирующих бригадах условия деятельности были крайне сложными: на доживающем свой век тарахтящем автобусе, да еще по нашим знаменитым дорогам-направлениям добиралась бригада до очередного забытого Богом поселения. Заведующий клубом снимал с дверей амбарный замок, и артисты забирались на сцену. Какие там комнаты отдыха, гримерки – прячься за жиденькую кулису и приводи себя в порядок. Публика в зале – пьяные мужики, лузгающие семечки принарядившиеся по такому поводу женщины и невероятно неусидчивые дети разных возрастов. Главное – не вступая в конфликт с не всегда благодарными слушателями, быстренько провести концерт, пожелать труженикам полей новых трудовых побед, влезть в автобус – и на новую «точку»…

Таких «точек» при опытном администраторе в день могло быть две, а иногда и три. На музыкальном сленге такая активная

деятельность называлась «чёс». На ночлег размещались в каком-нибудь Доме колхозника, завтрак – и снова в автобус… Далеко не все выдерживали такой стремительный режим. Аркадий выдерживал, более того, у него появился дополнительный и весьма ощутимый приработок благодаря раскрывшемуся еще одному таланту: он оказался прирожденным игроком – в карты, домино, нарды… Иногда задерживали выдачу суточных, и тогда «гастролеры» обращались к Астафьеву, у которого всегда можно было взять в долг.

Аркадий, как правило, становился душой коллектива, несмотря на молодость, с его мнением считались. Также ценили и его остроумие, которое стремительно развивалось параллельно с музыкальными успехами. Небольшая иллюстрация к сказанному.

…Знойным июльским днем в очередной раз забарахлил автобус. Пока водитель, чертыхаясь, колдовал над двигателем, артисты расположились в тени нескольких чахлых деревьев на берегу небольшой речушки, сразу же получившей название Вонючка – как все подобные малопривлекательные загрязненные водные потоки.

– Кто хочет выкупаться? – под общий смех спросил Аркадий. – Никто не желает освежиться? Плачу пятерочку тому, кто переплывет Вонючку.

Народ оживился: за пять рублей можно купить бутылку водки, да и на закуску останется…

– Я могу! – первым поднялся контрабасист. – Только бабки вперед.

– Согласен, – откликнулся Аркадий, – но при условии: в концертной форме и с инструментом.

Любитель легкого заработка на миг задумался, потом молча кивнул и пошел в автобус переодеваться. Вскоре он появился – в ярких полосатых концертных брюках, пиджаке в блестках и галстуке-бабочке, держа перед собой контрабас. Под общий хохот, брезгливо морщась, он вошел в воду и, толкая перед собой инструмент, переплыл Вонючку. А что там плыть? От берега до берега – метров двадцать, не больше. Вышел пловец на противоположный берег и кричит оттуда:

– Аркадий, прибавь еще пятерочку, и я точно так же переплыву Вонючку обратно.

– Это необязательно, – не задумываясь, отвечает Аркадий, – можешь оставаться там, где стоишь…

Пришлось повторный заплыв в Вонючке выполнить, так сказать, за свой счет…

…В Одессе возвращения Аркадия из таких гастрольных поездок с нетерпением ожидало огромное количество друзей. Еще бы: они знали, что сейчас начнется! И таки да – начиналось… Первые гости в подвале на Садовой, 16, появлялись где-то к полудню: музыканты, как известно, любят поспать. К этому времени усилиями тети Маши и Жанны стол уже был накрыт, и какой стол – с участием всех одесских деликатесов!

…В центре его, на самом почетном месте, стоит блюдо с только что пожаренными бычками. Рядом на чугунной подставке устроилась огромная алюминиевая кастрюля, из-под крышки которой пробивается ароматный парок, благодаря которому вы безошибочно отгадываете, что в кастрюле – целиком отваренная рассыпчатая картошка, густо посыпанная укропом и сдобренная изрядной порцией крестьянского желтоватого масла. В глубокой тарелке в обрамлении веточек петрушки отливает матовым блеском икра из «синеньких», конечно же, и близко ничего общего не имеющая с консервированной баклажанной икрой. Рядом в вазочке покоится самый вкусный в мире форшмак из нескольких жирных селедок, чьи упругие молоки, посыпанные мелко-мелко нарезанным зеленым луком, лежат тут же, декорированные чуть сморщенными греческими маслинами. Рядом в глубоком блюде плавают в кислом соусе кильки, а по соседству – те же кильки, но уже в виде котлет. На большом блюде мирно соседствуют крупно нарезанная ароматная кровяная колбаса и не менее ароматная овечья брынза, выбирала которую лично хозяйка, для чего дважды обошла весь молочный корпус Привоза, очень тщательно пробуя указанный продукт у доброго десятка бабушек-торговок. По краям стола стоят еще две вместительные вазы с разрезанными пополам знаменитыми одесскими степными помидорами, огурчиками и сладкими красными перцами. Масло, только что вынутое из холодильника и наструганное на терке, лежит в нескольких местах рядом с ломтями свежего хлеба. Вроде бы всё? А, вот еще: в трехлитровой

Слева направо: Олег Золоев, Николай Голощапов, Аркадий Астафьев, Анатолий Горбатюк, Анатолий Кравченко. 2006 год

бутыли в особо приготовленном рассоле плавают листья салата – лучшая в мире закуска под водку. Водка – «Столичная», высшего качества, в запотевших бутылках, расположилась на отдельном столике в соседстве с армянским коньяком и легким вином «Ркацители»… Вот теперь – все!

А гости прибывают, и каждому находится место за столом. Они начинают, глотая слюну, накладывать в тарелки всю эту вкуснятину, но их останавливает окрик тети Маши, появившейся в дверях с огромной суповой вазой, распространяющей неповторимый аромат:

– Ребятки, остановитесь! Сначала – по тарелочке ухи!..

Ах, эта замечательная легкая уха из свежих бычков, заправленная красным перцем и посыпанная укропом, перед которой любые стерляжьи и прочие белужьи супы должны побледнеть и срочно уйти в тень!..

Тосты звучат один за другим – за Аркашу, за кудесницу маму, за Жанну, опять за Аркашу… Судя по количеству пустых бутылок, выпито много, можно даже сказать – очень много, но пьяных нет: попробуй опьянеть с такой едой!..

Завтрак, плавно перешедший в обед, закончен. Гости благодарят хозяек и расходятся, а кто-то устраивается подремать на широкой тахте пару часиков, чтобы к ужину быть как огурчик… Да, к ужину, который Аркадий устраивает в одном из ресторанов, чаще всего – в «Красном»… И в таком режиме – завтра, послезавтра… Словом, пока не закончатся гастрольные бабки. Вот такая была широкая натура у нашего героя…

Находясь в Одессе, Аркадий работает в ресторанах с лучшими оркестрами: любой коллектив считал за честь сотрудничать с этим замечательным трубачом. Да и не секрет, что многие завсегдатаи ресторанов шли «на Астафьева», потому заинтересованность была взаимная.

Одесские будни

…Трижды Аркадий «становился под знамена» Евгения Наумовича Болотинского: первый раз – в 1958 году при создании знаменитого молодежного симфоджаза (этим оркестром в тесном содружестве с театром «Парнас-2» были поставлены две прекрасные концертные программы: «У самого синего моря» и «Как пройти на Дерибасовскую»); второй раз – в 1967 году, когда Болотинского, уже работавшего в Ленинграде, пригласили возглавить филармонический биг-бенд (тогда получило широкое признание эстрадное шоу «Гамбринус-67»); и в третий раз – в 1995 году при создании достойного музыкальной Одессы джаз-оркестра «Пульсар». К огромному сожалению, из-за отсутствия средств в филармонии и у местных меценатов «Пульсар» через полтора года с начала творческой деятельности прекратил свое существование, успев показать две замечательные программы: «В гостях у Гленна Миллера» и «Отражение». Отзывы прессы были самыми лестными. Более того, оркестр приглашается в Киев на фондовую запись для Украинского радио, но… Кто придумал эти проклятые деньги?.. Не могу не вспомнить, что в «Пульсаре» Астафьев выступал с блестящими соло.

Хочется рассказать более подробно о работе нашего героя в программе «Гамбринус-67». Тогда для усиления состава оркестра

Евгений Наумович Болотинский привез с собой группу ведущих ленинградских джазменов во главе с Давидом Голощекиным. Кстати, с одним из них, прекрасным саксофонистом Михаилом Костюшкиным, я сдружился, даже был свидетелем на его свадьбе с одесской красавицей Надей Коваленко. Брак, к сожалению, был недолгим – но качественным. Помните вокальный дуэт «Чай вдвоем»? Вот Стас Костюшкин – их сын… Но вернемся к «ленинградской группе». Ребята оказались весьма заносчивыми (вначале, по крайней мере), на местных музыкантов смотрели свысока, правда, не на всех: к Астафьеву у них сложилось особое отношение, некая зависть, замешанная на остром чувстве несправедливости. «Что же это получается? – возмущенно жаловались они друг другу. – Целый день не выпускаешь инструмент из рук, гаммы гоняешь… А этот – даже не раздувается перед работой, вынимает из футляра свою со всех сторон заклеенную изолентой трубу и играет как бог!..»

Со временем ленинградцы с такой «несправедливостью» смирились, а после нескольких посещений подвала на Садовой, 16, во время репетиционного периода в Одессе – и вовсе полюбили и Аркадия, и тетю Машу, и этот замечательный подвал…

Работа в ресторанных оркестрах была далеко не легким промыслом, и дело не только в многочасовом изнурительном труде: рестораны регулярно посещали местные мафиози, особое внимание уделявшие музыкантам. Попробуй не сыграй сразу же по желанию какого-нибудь разбойника «Мясоедовскую» – скандал с угрозой насилия, а эти угрозы зачастую исполнялись. И здесь присутствие в составе оркестра Астафьева было значительной страховкой безопасности музыкантов: бандиты его уважали не только за виртуозную игру, но и за умение в экстремальной ситуации дать отпор…

…В ресторане «Море» оркестр, в котором я играл с моим другом, инженером и замечательным гитаристом Толей Кравченко (к сожалению, уже покойным), заканчивал работу в 23:30, и периодически, наспех сложив инструменты, мы устремлялись в ресторан «Киев», оркестр которого – главное действующее лицо варьете – играл до половины первого. Здесь нас кроме Аркадия ожидали друзья, прекрасные музыканты Костя Швуим,

Жора Гелмис, Миша Шпрехер (к сожалению, скончавшийся в США несколько лет назад)… Руководил варьете прекрасный человек, еще до второй мировой войны – эстрадный куплетист, потерявший в войну глаз, Генрих Григорьевич Пинский. Устраиваясь на работу в варьете, Аркадий именно ему предложил переговорить *с глазу на глаз…*

Посидели за накрытым столом, выпили, закусили, побалагурили. Все, время – далеко за полночь, «программа» выполнена, пора бы и по домам… Как бы не так: мы отправляемся… в аэропорт! «Зачем?» – спросит любой нормальный человек. Ответ прост: выпить шампанского. «А в ресторане, где вы только что сидели, шампанское закончилось?» – продолжает приставать тот же нормальный. Нет, конечно, просто компания, ведомая неутомимым Астафьевым, пожелала сменить обстановку. Выпив шампанского, мы возвращаемся в город. Но на этом встреча не заканчивается. «Навестим моего коллегу?» – задает риторический вопрос Аркадий. Все понимающе кивают головами.

Мы останавливаемся возле одной из хрущевок на Черемушках, в которой сладко посапывает во сне джазовый трубач Гриша Казавчинский (ныне мистер Грегори Кэй). Он тоже играл в ресторане «Море», но по окончании работы не поехал с нами в «Киев». Гриша как «законопослушный» муж отправился домой на собственном «горбатом» «запорожце», который припарковал под окнами. Как всегда, мы не стали будить Гришу, а, поднатужившись, подняли «запорожец» и буквально втиснули его в пространство между находящимися рядом двумя деревьями, расстояние между которыми в точности соответствовало длине Гришиной машины. Вот теперь – всё! *С чувством глубокого удовлетворения* мы разъезжаемся по домам. Хуже всех, конечно, Толе Кравченко и мне: остальные участники «культпохода» в аэропорт будут спать до полудня, а нам без четверти восемь необходимо быть на рабочих местах в порту. Но нас согревает мысль о том, что вечером с серьезными физиономиями мы будем слушать причитания Гриши по поводу действий «каких-то сволочей», с помощью автокрана в очередной раз переставивших его машину…

В упомянутом ресторане «Море» некоторое время играл и Астафьев. Вспоминается смешной эпизод, когда к оркестру

с «заказами», которые принимал Аркадий, одновременно подошло несколько человек. Астафьев берет у клиента, пожелавшего услышать в нашем исполнении запрещенные музыкальными властями «Семь-сорок», деньги и видит, что стоявший за ним очередной любитель музыки поворачивается, собираясь отойти. «Что вы хотели?» – обращается к нему Астафьев и слышит в ответ: «Уже ничего: я хотел заказать «Семь-сорок», но передо мной это уже заказали». «Послушайте, – доверительно берет его за пуговицу пиджака Аркадий, – давайте деньги, и мы будем это замечательное произведение играть исключительно для вас!»…

Кстати, в этом же ресторане наш герой отправил в глубокий нокаут наглеца лейтенанта, весь вечер отравлявшего атмосферу в зале пьяными приставаниями к посетителям. Как выяснилось, поверженный лейтенант был мастером спорта СССР по боксу…

На финишной прямой

…Ярким запоминающимся событием в музыкальной жизни Одессы стал театрализованный «Парад трубачей» в честь 60-летия Аркадия Астафьева, в котором вместе с юбиляром приняли участие Вячеслав Ширяев, Владимир Вакулович, другие известные трубачи. Этот истинный праздник музыки состоялся усилиями молодежного биг-бенда под управлением Николая Яковлевича Голощапова при активной поддержке начальника порта Южный Владимира Григорьевича Иванова, в прошлом – саксофониста, игравшего с Аркадием в симфоджазе Евгения Наумовича Болотинского. Переполненный зал Дворца моряков с восторгом приветствовал «Золотую трубу Одессы» – Аркадия Астафьева…

В следующем, 2000-м году состоялся «заключительный аккорд» в творчестве нашего героя: он блестяще сыграл сольные партии в сложнейшем «Духовном концерте» Дюка Эллингтона, поставленном неутомимым Николаем Голощаповым.

Потом все пошло не так. Могучий организм Астафьева начал давать серьезные сбои, пришлось оставить любимый инструмент, а вскоре Аркадий вынужден был отправиться как эмигрант

Слева направо: Аркадий Астафьев, Юрий Кузнецов, Николай Голощапов. 2004 год

в Германию. Я написал тогда (это был 2002 год): «…Самая ощутимая, на мой взгляд, потеря для Одессы за последнее время – Аркадий Астафьев, уникальный музыкант, безукоризненно владеющий инструментом, способный один украсить выступление даже самого заурядного оркестра. Два года назад Одесса чествовала своего выдающегося трубача, многие известные одесские деятели воздали ему должное, называя гордостью Города… Когда для одесских музыкантов наступили тяжелые времена, Город, его преуспевающие предприниматели оказались неспособными поддержать тех, кто ублажал их слух добротной музыкой. Когда-то в Одессе слова «предприниматель» и «меценат» стояли обязательно рядом. К великому сожалению, сегодняшние нувориши этой «слабостью» не страдают. Многие великолепные одесские музыканты вынуждены были эмигрировать. Так оказался в Гамбурге и герой нашего очерка». Но будем справедливы: отъезд в Германию дал ему возможность прожить еще пятнадцать лет, хоть, честно говоря, для всегда моторного Аркадия это уже было

существование – не жизнь в его понимании. Впрочем, поначалу он еще не утратил свое остроумие. Посудите сами.

…Попав в гамбургскую больницу, Аркадий был приятно удивлен стерильной чистотой и оборудованием палаты, в которой оказался. Больше всего его обрадовало наличие телевизора и видеомагнитофона.

После проведенного обследования он выслушал через переводчика рекомендации врача и сразу же попытался включить телевизор, но услышал категорическое «nein!». Закрепленный за ним врач оказался большим занудой. Он монотонно объяснил пациенту, что по нынешнему состоянию здоровья тому нельзя смотреть телевизор, нельзя читать (это вконец расстроило нашего трубача), нельзя подниматься с кровати… Короче говоря – сплошное «nein!».

Стоит ли говорить, что с каждым часом прекрасная палата нравилась трубачу все меньше, а педантичный эскулап стал и вовсе ему ненавистен. Так продолжалось несколько дней, пока в палате не появился старший менеджер. Измученный пациент попросил его вмешаться в ситуацию.

– Как это так? – возбужденно говорил он. – Книги – «nein!», телевизор – «nein!», даже видик – и тот «nein!»! Так же с ума сойти можно!..

Между старшим менеджером и лечащим врачом произошел короткий разговор. Выходя из палаты, старший бросил:

– Пусть смотрит одну кассету в день.

А что немца может заставить не выполнить приказ? Вот он, подавляя раздражение, и обращается к одесскому трубачу, ныне жителю Гамбурга:

– Ты какую кассету хочешь посмотреть? Но имей в виду – только одну.

– А мне и одной хватит. А посмотреть сегодня я хочу первую серию «Сталинградской битвы»…

Каждый год Астафьев приезжает в родную Одессу, но это уже далеко не тот Астафьев, которого любил и почитал одесский народ: он стал чрезмерно раздражительным, подозрительным, умудрился перессориться с людьми, которые проявляли заботу и чуткость, даже самого близкого своего друга, светлой памяти

Олега Золоева, который оказался терпеливее всех, умудрился обидеть! Да, скверная это штука – старость, умноженная на целый букет болячек…

Как бы там ни было, мой друг, с которым и я последние два года уже не общался, о чем сегодня искренне сожалею, как бы там ни было, всей своей предыдущей жизнью он не заслужил такой кончины, – в чужой стране, в приюте престарелых, с полной изоляцией от внешнего мира. Вскоре его не стало – то ли от болезней, то ли от невыносимой тоски. Повторюсь: он умер в полном одиночестве…

Хоть чуть-чуть сглаживает боль утраты то, что одесские музыканты, проживающие сегодня в США, Германии, Австралии (Ян Фридман, в первую очередь), а также Всемирный клуб одесситов исполнили последнюю волю знаменитого трубача: на собранные средства тело Аркадия кремировали в Гамбурге, и урну с прахом захоронили в могиле его мамы на Таировском кладбище Одессы. Справедливость восторжествовала – прах «Золотой трубы Одессы» покоится в одесской земле!..

Евгений Голубовский

Звездные часы Евгения Лукашова

В жизни каждого человека есть мгновения, которые можно назвать звездными. У одних их больше, у других – меньше. Это уже как сложилась жизнь, но не в меньшей степени, как сам человек творил свою жизнь.

В декабре 2017 года во Всемирном клубе одесситов проходила выставка живописи и графики из собрания Евгения Лукашова. Уже одиннадцатая выставка, которую за 25 лет он показывал в нашем клубе.

И каждый раз в коллекции были изюминки – работы Юрия Коваленко и Валентина Хруща, Николая Прокопенко и Серафима Чаркина.

Сколько замечательных работ показал Евгений Лукашов зрителю, сколько подарил музеям?!

Об этом подумал именно сейчас, на очередной его выставке. Перед тем что Евгений Отарович Лукашов отметит весной 2018 года свое семидесятилетие.

Звездные мгновения. Я запомнил один из дней в квартире Евгения Лукашова, когда посреди комнаты стоял мольберт, и здесь писал на большом холсте свое босоногое детство Юрий Коваленко. Или другой эпизод. Из Подмосковья вернулся Лукашов, гостивший у Валентина Хруща, и пришел в галерею «Либерти». Выставку, надо делать выставку! С каким волнением он развешивал на стенах свежие, только написанные, отправленные в Одессу акварели Хруща…

А как все начиналось?

Первые воспоминания мальчишки связаны с Пушкинской, на которой он жил с мамой. Напротив Музея западного и восточного искусства. Сколько раз он побывал в этом музее? Кто посчитает?.. И видел за работой художников – Фраермана, Зайченко. Так с детства в его жизнь входила живопись.

Мама Констанция Феликсовна Лукашова была балериной, затем балетмейстером. До Одессы в ее жизни был харьковский оперный, ансамбль Моисеева и ансамбль Вирского. И в тот, и в другой ансамбль она приходила в первый набор.

Нужно ли удивляться, что сын буквально жил в оперном театре, а с юных лет начал танцевать?

Звездные часы Лукашова – это и участие в детском балетном спектакле «Щелкунчик», и взросление – четыре партии в балете А. Хачатуряна «Спартак», который поставил в 1963 году в Одессе балетмейстер Н.И. Трегубов.

А параллельно шли занятия в музыкальной школе № 1 по классу фортепиано. Все привлекало – и эстрадный коллектив, и классическая фортепианная музыка, и тянуло к морю, в походы с друзьями. Так складывался характер.

Немного об отце Отаре Михайловиче Какабидзе, юристе, известном в Тбилиси, выдающемся шахматисте, боевом офицере,

прошедшем войну. Сын рос без отца. Семья распалась. Но в Лукашове живет гордость за путь этого человека, принадлежавшего к старинному дворянскому роду.

Кстати, когда после развала СССР начало возрождаться Дворянское собрание, в числе первых, кто много сил и времени отдал этому движению, был Евгений Лукашов.

И для него звездными мгновениями стали те, когда он, вице-предводитель Дворянского собрания Юга Украины, принимал в Одессе, в Воронцовском дворце ее императорское высочество великую княгиню Марию Владимировну в 2009 году, а в 2011-м его императорское высочество великого князя Георгия.

Помню, как и где я познакомился с Женей Лукашовым. Тогда иначе мы его не называли. В середине семидесятых годов я часто бывал в доме Александра Владимировича Блещунова. Однажды пришел Женя Лукашов показать свои новые находки самоцветов. Тогда он был страстно увлечен этим собирательством. И Блещунов, физик и альпинист, тоже знавший толк в камнях, с интересом рассматривал эти находки.

Моя жена вспоминает, что больше всего ее поразили камни Чукотки. Казалась, вся первозданность мира была запечатлена в этих неярких, но поразительно мрачных камнях.

Вот вам еще один звездный час Лукашова. И завершился он созданием первого в СССР частного музея самоцветов.

Можно немало интересных историй рассказать о поездках Лукашова с миротворческой миссией. И в воюющее Приднестровье, и в Нагорный Карабах. А сразу после землетрясения в Армении Евгений Лукашов вылетел туда, добрался до Спитака, чтобы помочь, поддержать. Я читал, что в одном из чудом сохранившихся Дворцов культуры слушали стоя, со слезами на глазах, как играл Евгений Лукашов «Реквием» Арама Хачатуряна.

И сегодня Евгений Оскарович не прекращает давать концерты.

И сегодня Евгений Лукашов пишет стихи. Издал книгу стихов.

И гордится, что был знаком с Андреем Вознесенским, Булатом Окуджавой, дружил с Иваном Рядченко и Николаем Базилевым. Это формировало его вкус, понимание и отношение к жизни.

Кстати, о вкусе. Как коллекционер Лукашов всегда открывает заново забытые имена, помогает талантливым людям.

– Мои книги о Юрии Коваленко не были бы написаны, – говорит Олег Губарь, – если бы не доброжелательное участие Евгения Отаровича. А как он помогал Мише Пойзнеру находить одесские пейзажи А. Чемисова… И всегда щедро, от всей души.

Я могу добавить, что исследователям жизни и творчества караимского художника Анатолия Асабы помог Лукашов, что для меня нашел футуристический рисунок А. Крученых, что многие музеи получали и получают его дары. Вот в декабре 2017 года в Дом культуры Лиманского района он отвез в дар 62 работы одесских художников, открыв там выставку-музей с постоянной экспозицией.

Кто он – романтик или прагматик? Я бы ответил, что он одессит, вобравший в себя ярчайшие черты нашего города. Кстати, вслушайтесь в то, как назвал он своих сыновей, и вам многое станет понятным в характере этого человека. У Евгения Отаровича двое сыновей. Данко (старший) и Максимилиан (младший), а внучка Адель занимается балетом, продолжая семейные традиции.

Не знаю, как отметит свое семидесятилетие Евгений Отарович. Пригласит ли всех на концерт и сыграет Шопена, Брамса, Хачатуряна. Откроет ли очередную выставку и покажет неизвестные работы А. Чемисова, а может, устроит очередной акт дарения одесским музеям. Знаю лишь, что звездные часы Евгения Лукашова будут еще долго длиться на радость его согражданам.

В сборнике стихов Николая Базилева «Во веки и присно» есть стихотворение, посвященное Евгению Лукашову. Оно заканчивается четверостишием:

Весенний птах вспорхнет над головой,
Блеснет вода живая в недрах света,
И грань невиданного в мире самоцвета
Волшебно озарит весь облик твой.

У самоцвета много граней. И мы еще увидим его новые отблески в делах музыканта, миротворца, мецената, дворянина Евгения Отаровича Лукашова.

Семен Яуза

Дворец труда у бывшей Хитровки

Вот и чугунные ворота, от которых, по слову мемуариста, тянулась «длинная, как улица, плохо вымощенная аллея». Теперь нет ни ворот, ни аллеи, только несколько оглохших от пыли деревьев по левую и правую стороны и асфальтовая дорога, прерывающаяся где-то там впереди, и трудно вообразить, что в иные дни здесь не раскатывали, шурша колесами, автомобили, а шли густым потоком совслужащие, торопясь к урочному часу. Иногда опоздавшие (тот же М. Штих, несостоявшийся соавтор романа «Двенадцать стульев»), дрожа начальственного гнева, проникали во Дворец труда со стороны Москворецкой набережной. Там и калитка попроще, и аллеи нет: тотчас задворки дома. Но, пожалуй, и к лучшему, что из аллегории «Милосердие и Воспитание», встарь украшавшей парадный въезд в эти казенные пределы, исчезли фигуры благодетельных пеликанов. Сотрудники «Гудка», весьма и весьма насмешливые молодые люди, уроженцы портового города, отлично знали – каковы морские вольные птицы: наглые, вороватые, прожорливые, зря ли слово «баклан» стало крупицей блатного жаргона, «бакланы» (во множественном числе, не иначе, во множественном – всем скопом, всей кодлой) означает «хулиганье». Кроме того, вчерашние и позавчерашние одесситы помнили и одесского городского голову Б.А. Пеликана, человека взглядов крайне реакционных, энергичного деятеля Союза русского народа и Союза имени Михаила Архангела, предлагавшего в борьбе с еврейской интеллигенцией опираться на иудеев-ортодоксов.

Представляется, впрочем, в здешних местах многое бы должно было напоминать о родной Одессе. Вот и скульптурные груп-

пы работы И. Витали – нечто столь классическое, что уж чересчур, слышен тонкий привкус обмана, каковой при желании можно посчитать и сокрытой иронией. Так должен был восприниматься и наряженный в тогу, как будто для него чуть великоватую, Дюк, безвыходно торчащий на Николаевском бульваре, а ныне – бульваре Фельдмана. О, эта псевдоантичная тога с чужого плеча!

Весь район вокруг Солянки – вотчина обрусевшего итальянца, музей под московским распахнутым небом: на Лубянской площади против здания бывшего страхового общества «Россия», занятого ВЧК, а затем ОГПУ (вот откуда то шажком, то побежкой распространились слова – госстрах и госужас), украшенный чугунной композицией по его эскизу фонтан, из которого извозчики поили лошадей, разом споря и соглашаясь на том, что овес нынче дорог.

Строения, где размещался прежде Воспитательный дом, тоже исполнены в псевдоклассической традиции. Желто-белые, едва белесоватые архитектурные громады – знак екатерининских времен, официоза, – тянущиеся к античным образцам и ни в коей мере не могущие дотянуться. Там – легкость самой каменной тяготы, здесь неподъемная огромность бюрократии, ленивая толща кирпичных стен, дремота вполглаза арок и коридоров, сень потолочных сводов, заменяющая природную.

А рядом: Хитровка, сметенная новой властью в 1923 году, но живучая. Хитрованцы – оборванцы и босяки, людская пестрядь. Густой влажный запах от близкой и грязной воды, прозываемой рекой Москвой, и впадающей в нее речкой Яузой, еще грязнее и ближе. Православный храм, освятивший этот удел столицы, и даже синагога в Большом Спасоглинищевском переулке, что взбирается от Солянки вверх по одному из многих московских холмов, которых, сообразно принятым меркам – семь, а на деле – едва ли не сорок. Иначе откуда это здешнее – сорок сороков? На каждом взгорке по церкви.

Молодые безбожники, давно растерявшие веру, независимо от происхождения своего и семейного вероисповедания, ни храмов, ни синагоги, следуя на службу и со службы, не замечали. Они спешили, их влекла благородная цель – заработать, чтобы выкроить свободное время и писать.

Редакция «Гудка» несколько раз меняла адрес, то ли по нетерпению, склонности к переменам, то ли потому, что редакции железнодорожной газеты, где изо дня в день талдычат о подвижном составе и беспорядке путевого хозяйства, по статусу не положено обустраиваться надолго.

В тот период, о котором рассказывается здесь, адрес менялся дважды. Просуществовав сколько-то на Ново-Басманной – вообще улицы и переулки около Разгуляя обжиты путейцами: тут находился дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железных дорог, а к тридцатым годам началось строительство здания НКПС, из числа примечательнейших московских зданий, – редакция переместилась к центру, обосновавшись возле улицы Тверской.

Переулок этот, где располагалась типография «Гудка», а теперь устроилась и редакция, мемуаристы называют коротко Чернышевским, что не совсем верно или неверно совсем. Речь идет о Большом Чернышёвском переулке, переименованном в улицу Станкевича (так вместе с новым именем переулок в 1922 году получил и новый статус, был как бы повышен в ранге). А Чернышевским переулком, по фамилии уже не московского генерал-губернатора, но писателя-демократа, чем обусловлена смена е и ё, стал называться бывший 2-й Мариинский переулок совсем в другом конце столицы. Ясности это не вносило.

На улицу Станкевича как-нибудь предстоит вернуться, пока же дорога лежит на Солянку, во Дворец труда, куда откочевала неуемная редакция газеты «Гудок». День можно назвать почти точно – 1923 год, 23 либо 24 июля (колебания в дате связаны не только с тем, что не чересчур определенны источники, переезд всегда требует не вполне определенного срока).

Вариант был или промежуточным, или принят от безысходности. Вроде бы намечалось разместить редакцию в здании на углу Калашного, Нижнего Кисловского и Малого Кисловского переулков, но дом, затем известный как дом Моссельпрома, не был еще достроен, вернее – отремонтирован (наспех возведенный из некондиционного кирпича, отвратно спланированный, долго он не простоял, стена рухнула, сложившись на все свои семь этажей).

Позже дом Моссельпрома стал эмблемой современности, новизны (хотя сооружать его начали до первой мировой войны), комплекс зданий бывшего Воспитательного дома представлялся символом навсегда отошедшего в нети времен. Два корпуса были возведены в XVIII веке по проекту К. Бланка, в XIX веке комплекс достраивался, расширялся при участии братьев Жилярди, А. Григорьева, М. Быковского. Когда бушевал великий московский пожар 1812 года, и сгорело многое множество строений в разных частях города, спасли главный корпус служители учреждения, по преданию, вкупе с жандармами, оставленными Наполеоном для призора раненных французских воинов, находившихся тут же, и потому здание это – редкий образец архитектуры допожарной Москвы.

Некоторые постройки существуют десятилетиями, но так и остаются всего лишь постройками, не больше того. Некоторые становятся обязательной частью былого. Вокруг некоторых, чей воздух своеобразен, ни на что не похож, клубится собственная мифология. В записной книжке Ильфа можно отыскать наброски таких локальных мифов, вряд ли действительных, скорее, выдуманных им самим, но выдумки такого рода совсем не случайны. Упоминается мифический или облаченный легендой часовщик, который бродит по Дворцу труда из комнаты в комнату. Обширность здания, бессчетное число помещений, разнесенных по коридорам, порождают и другую фантастическую фигуру – товарищ Шапиро, про которого, «в какую комнату ни зайди» и ни спроси, здесь ли тот занимается, говорят: подождите, он вышел. Персонаж этот напоминает товарища Кальсонера из булгаковской «Дьяволиады», оба – фантомы, порожденные бюрократической системой, каждый на свой манер, оба неуловимы и вездесущи. Хотя почему оба, если Кальсонеров двое, из-за путаницы, внесенной этими близнецами, едва и не потерял рассудок герой «Дьяволиады».

Короткие сюжеты из ильфовских записных книжек, занесенные для памяти, отнюдь не проигрывают рядом с сюжетом повести Булгакова. Ироническую фразу: «Вел свое происхождение от лошадей Мюрата, стоявших во Д<ворце> т<руда>», – можно избрать в качестве завязки для повествования о мошеннике.

Почему б по Дворцу труда не бродить, вроде «сыновей лейтенанта Шмидта», как бы кентавру, подкованному на все четыре копыта в уголовном кодексе?

Или вот сюжетная перипетия, в которой могли бы сыграть достойные роли Остап Бендер и Воробьянинов: «Собирали на построение Дворца труда». Не сродни ли эта уловка другой, когда собирали деньги на поддержание известного Провала в Пятигорске. Провал давным-давно образовался, и с ним ничего не стрясется, Дворец труда вовсе не строился, он был учрежден в уже имевшихся архитектурных объемах.

Что за чудесные пространства! На лестницах и площадках чугунные плиты, украшенные кругами с орнаментом. Когда-то и беспредельные коридоры выложены были такими плитами.

О коридорах Дворца труда лучше всего рассказано в «Двенадцати стульях». Необычайную точность описания подтверждает мемуарист, но свидетельство это следует принимать, делая поправку на жанр. Ильф и Петров сочиняли роман-памфлет, а не памятку молодого строителя, их занимали характеры персонажей и суть явлений жизни. Впрочем, не в ущерб верности натуре.

К вечеру коридорные пролеты сказочно преображались: «В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы». Это ли не мистика, если указатели ведут в никуда, а движение утратило смысл, ибо к чему оно, когда все похоже на все? Ильф и Петров вдвоем и порознь исходили эти бескрайние коридоры, где можно было не только спешить по делам, но и без дела прогуливаться, выполнив дневной урок, перед тем как приняться вечером за сочинение собственного романа. Тогда-то и познакомились они со странной традицией, каковая запечатлена в «Двенадцати стульях» одной-единственной лапидарной фразой: «В Москве любят запирать двери». Выйдя на площадку лестницы, рискуешь не попасть обратно.

Редакция «Гудка» располагалась не на втором этаже, как считают вольные комментаторы, которые вряд ли удосужились разузнать, что к чему, или просто задуматься над нумерацией редакционных комнат, а на третьем, там в кои веки помещались дортуары воспитанников, круглые дортуарные окна глядели в двухсветный коридор. Окна эти остались, и остались медные

дверцы печей, обогревавших спальни. Возле одной из таких, нечищеных, но тускло сиявших дверец собирались покурить и потрепаться гудковцы и те, кто забредал в редакцию по необходимости или по обыкновению. Кто-то назвал этот пятачок «Клубом у вьюшки». Место походило на вагонную площадку, и не зря сам коридор третьего этажа Ильф сравнил с коридором пассажирского вагона.

Комнаты, где сидели сотрудники «Гудка» и, кроме прочих, отдела, именуемого для простоты «Четвертая полоса» и под таким названием вошедшего в историю отечественной словесности, отнюдь не напоминали купе. Были они пусть и не чересчур велики, но и не малы чрезмерно. Столы в два ряда сдвинуты вместе. Получилось нечто вроде углом выведенного помоста, где можно разложить письма, свежие, едва из-под пресса, еще влажноватые гранки, справочники. Так удобнее – больше места для работы, ведь сотрудников в культурно-бытовом отделе предостаточно. Кстати, неофициальное название за отделом числилось по инерции: когда вырос объем газеты, материалы, подготовленные отделом, печатались уже на шестой полосе, а не на четвертой. Основу коллектива составляли обработчики, или, в просторечии, правщики, то есть те, кто готовит к печати, вернее же говоря, переписывает заметки рабкоров. Сейчас этот процесс называется «рерайтинг», но отличие современных рерайтеров от гудковских правщиков в том, что рерайтеры текст усредняют, подгоняя его под общий стиль издания, тогда как гудковцы создавали тексты на особину.

Вышло оно само собой, постепенно сделалось обычным для «Четвертой полосы», где работали по большинству начинающие литераторы, а молодым скучно держаться норм, хочется оригинальничать, испытывать свои силы, не экономя их, тратя по пустякам.

Заведовавший отделом А. Григорович (кстати, известный тогда автор, выпустивший с десяток книг) благоразумно решил, что к хорошему это вряд ли приведет, раньше или позже эксперименты обернутся скандалом, и перевелся в другой отдел.

Место его занял И. Овчинников, личность, вроде бы, не чересчур примечательная, и все-таки вписавшаяся в анналы литературы.

Новый зав стал прототипом одного из персонажей «Золотого теленка», в чем-то определив и сюжетные повороты романа. Считается, что именно у него Ильф и Петров заимствовали отданную затем Корейко привычку к поеданию сырой репы – сырыми овощами завтракал и заведующий культурно-бытовым отделом. На деле же не любовь к сыроядению главное, но об этом поговорим как-нибудь при случае.

Другой местной достопримечательностью, кроме грызущего то морковку, то репку завотделом, была, если не считать огромной карты полушарий, вывешенной для вящей красоты, стенгазета с предельно скупым названием «Сопли и вопли». Стенгазета упоминается разными мемуаристами, которые пишут о ней восторженно и скупо. А зря, очень и очень зря. Вот хотя бы название.

Можно высказать догадку – таинственное (но оказавшееся настолько удачным и емким, что, делая пометки на полях чужой рукописи, будто литературоведческие термины и формулировки, использовал его Катаев) это название восходит к устойчивому обороту, популярному среди бывших одесситов. И не исключено, что предложил его Бабель, захаживавший в редакцию «Гудка», либо кто-то из хороших его знакомых выхватил эту отчасти поговорку, отчасти присловье, из бабелевской повседневной речи.

Косвенным подтверждением служит фрагмент письма 1930 года, адресованного Бабелем сестре: «У нас и дом будет, и покой, и работа – и все мы будем вместе – все это сделается – нечего издавать тут сопли и вопли – сопли на вопли… <…> Мне, дураку, кажется, что надо радоваться, имея сына с такой несокрушимой философией – а тут сопли на вопли… Фэ – это глупо…».

В стенгазете, занимавшей простенок «за спиной Ильфа» (хоть в чьих-то воспоминаниях указывалось, что была она в полную стену, значит, ни о каком простенке рассуждать не приходится, да и у Ильфа спина вроде не так широка), собраны были печатный вздор, глупости, в том числе и благоглупости, ляпсусы, высокопарный бред – все, чем богаты и рады страницы газет и журналов.

А начиналось так. Обрабатывая рабкоровские письма, сотрудники «Четвертой полосы» давали им занятные названия, часто заголовок был рифмованным. Даже возник свой характерный

стиль. Но что годится для фельетона, смерть для деловой корреспонденции, однако рифмованные заголовки стали появляться и над материалами прочих отделов. С того и пошла есть стенгазета.

Высмеивали глупое подражательство сослуживцев. Издевались над вычурностью стиля, огрехами слога, над языком «шершавого сукна». Читая другие издания, тоже находили смешные заголовки, ляпы и тяпы. Усердно искал материал для стенгазеты Евгений Петров. Стенгазета росла и ширилась, возникали новые рубрики. Например, раздел «Так говорил Яков Рацер». Тут помещались стихи торговавшего углем и дровами нэпмана, который лично сочинял рекламу для своего товара. Стихи были глупые, несуразные, однако ж застряли в истории словесности, а ведь многое, куда как достойное, смыто густым потоком времени.

Особый раздел назывался «Литературно-музыкально-вокально-хореографический хедер имени Марселя Пруста». Название дано по шутке Ильфа. Хедером, как известно, зовется еврейская начальная школа, где обучают основам грамоты. В «Гудке», этой школе их мастерства, работали начинающие писатели. Молодые сочинители, по большинству – иудеи, писали «слишком изысканно, почти брезгливо к слову», наподобие того, как относился к слову Пруст, законодатель тогдашней стилистической моды, кутюрье от изящной словесности (при том условии, что он служит во всесоюзной транспортной газете, хотя бы в отделе писем). Выдержки из рукописей начинающих авторов, общего у которых с Прустом было разве то, что не имелось ни минуты лишней, и пребывали они в вечных раздумьях – куда же девается время, если его всегда не хватает, и составляли данный раздел.

Учились писать не одни гудковцы. Двадцатые годы породили тьму тьмущую журналистов-непрофессионалов – рабкоров и селькоров (и даже комкоров, которые, впрочем, отношения к пишущей братии, как правило, не имели, за исключением разве что Виталия Примакова, писавшего столь же лихо и наотмашь, как махал он шашкой и наганом). Остро требовались учебные пособия, а те отсутствовали либо из рук вон были плохи. И потому зашедший в редакцию «Гудка» сотрудник другой газеты обрадовался от души, увидев такое внушительное собрание пусть и отрицательных примеров. Он копировал самые подходящие

образчики и учил рабочих корреспондентов не как следует, а как не следует им писать. По его предложению сотрудники культурно-бытового отдела сочинили пособие для начинающих, но, созданное по канонам «Четвертой полосы», вышло то, скорее, памфлетом, нежели учебником.

Надо заметить, что и манера, и тематический круг тогдашнего «Гудка» были далеки от официального ригоризма. Появлялись заметки откровенно фантасмагорические, просто взывающие к разоблачению. Например, информация: поймана рыба-пила с 36 детенышами в животе. Кончилось тем, что на страницах журнала «Заноза» Катаев выступил с опровержением, заявив – это не рыба-пила, а пил кто-то из гудковцев.

Еще одна история также указывает на качество публиковавшегося в газете материала. Известный переводчик Давид Бродский, московский одессит, пришел к Багрицкому с просьбой – нужны деньги на покупку замечательных, редких книг, а денег нет и не предвидится. Самый простой способ подзаработать – тиснуть дежурное стихотворение, но загвоздка в том, что такое стихотворение Бродского или не напечатают вовсе, или будут мурыжить незнамо сколько, а деньги требуются, как говорится, «здесь и сейчас». Багрицкий дело иное, стихи под его фамилией напечатают тут же, какого бы качества ни были. Так не подпишет ли Эдя сочиненные Бродским стихи?

Багрицкий по мягкости душевной не любил отказывать, хотя и вирши, и сама затея ему не нравились. Но отчего не помочь земляку, даровитому литератору? И Багрицкий поставил свою фамилию под чужим стихотворением, которое и напечатали. Следовало получить гонорар, что платили тогда не раз в месяц, а еженедельно.

Пройдошливый книгочей его бы и получил, когда б в окно Багрицкий не увидел одного из насельников кунцевской литературной колонии. Тот шел, ежась от холода, поскольку от безалаберности и бедности не имел пальто. Будто в одесской песне, откуда и слова не выкинуть, –

мама, мама, что ж мы будем делать,
когда наступят зимни холода?.. –

становится все студенее, денег нет и не будет, а сосед по светелке этого фейгеле хочет получить неправедный гонорар. Кончилось тем, что доверенность для бухгалтерии «Гудка» выписана была не Бродскому, но его соседу. И таки пальто он купил, что зафиксировано мемуарами и подытожено долгой жизнью счастливца, окончившейся на десятом десятке: чужая забота греет душу не хуже пальто, строенного на добротном ватине, а уж теплое пальто заботливо, как родной человек.

Таковы гудковские и возлегудковские будни. Но картина пребудет неполной, если умолчать о том, что творилось за толстыми стенами бывших дортуаров, в кишмя кишащем работниками и посетителями Дворце труда.

Здесь, кроме прочих учреждений и организаций, разместилось с полусотню отраслевых газет и журналов («журналы и журнальчики», как презрительно окрестил их один литератор, работавший в респектабельном альманахе, и был по-своему прав). Изданиям, даже ведомственным, чтобы выходить регулярно, требуются материалы. И в редакции чередою тянулись авторы. Вернее сказать, словно пчелы, несли они в этот огромный, шумный и бестолковый профсоюзный улей свою скромную лепту – очерки, стихи, информации. Или слетались, будто на мед, ведь, не в пример всяким пчелам, авторы получали гонорар, который можно было истратить, скажем, в местной столовой, расположенной в полуподвале.

Тут разрешалось курить, и тут подавали пиво. Его пили часто и помногу, о чем поминает в дневнике Булгаков: «Без проклятого пойла – пива не обходится ни один день». Киевлянину, попавшему затем на Кавказ, да и застрявшему там на несколько лет, пиво, конечно, не в радость. Одесситам, знававшим пиво заводов Енни, Санценбахера и Родоканаки, что уж вспоминать пиво завода Паулины Гоппенфельд, пить его – не труд, но обыкновение.

Однако не о привычках, плохих ли, хороших, речь. Булгаков с его культом призвания, противопоставленным ежедневности бытия, по сути – долга жить, расплачиваясь собственными временем и силами, из гудковцев чуть ли не первым заявил, что цена непомерно, чересчур велика. Поденщина кормит и поит, взамен пожирая нахлебника. Сопротивлению активному Булгаков

предпочел пассивный отпор, производственный – если уместно такое словцо – стрекулизм. Вместо установленных по договору восьми фельетонов в месяц начал делать то семь, то пять. Ссылаясь ли на забывчивость, тисками сдавившие обстоятельства, и не ссылаясь вовсе, ставя начальство перед фактом: фельетона нет. Однако фельетонистов в «Гудке» имелась чертова дюжина, если не целый чертов гросс. Было кому давать материал. Да и желающих заработать, чтобы потом весело потратить внеочередной гонорар, было хоть отбавляй. А наведавшись в кассу, можно спуститься по ступенькам, что ведут в столовую Дворца труда.

За столом располагались компаниями, затевался общий разговор, смеялись, пикировались, не жалея сил, их по юности лет с избытком. Шутили всегда и везде. О, как они шутили!

Феликс Кохрихт

МСИО. Я поведу себя в музей?..

«Я поведу тебя в музей!» – сказала мне сестра.

Из детского стихотворения 50-х годов XX в.

Уже месяца два как в ФБ одна за другой публикуются записи бесед с Валентином Хрущом, которые сделала Анжела Завьялова. Это отредактированные и адаптированные монологи, которые он, видимо, произносил по просьбе публикатора в 2000-е годы то ли в Кимрах, где жил, то ли в Москве. Может быть, и на роди-

«Заборная выставка». Фото Ильи Гершберга

не. Тогда мы организовали две ретроспективные выставки работ Хруща одесского «бархатного» периода, которые он рассматривал, как мне показалось, с грустью…

Среди современников и друзей Валика, его учеников отношение к этим материалам неоднозначное, как, впрочем, и у меня. События, описанные в них, в основном, имели место быть, но передать уникальную речь Хрущика, его интонации, местоимения, частицы и иные средства его коммуникации с городом и миром могут быть воспроизведены только посредством оригинальной звукозаписи – со всеми паузами, эканьями, со всем его ехидством и величием…

Недавно А. Завьялова опубликовала очередной фрагмент, касающийся, пожалуй, самого важного события в жизни Валентина Хруща и его единомышленника Станислава Сычева. Хотя оно и вошло в историю авангардного искусства Одессы и в монографии, посвященные его становлению, под весьма легкомысленным девизом «Сычик + Хрущик», словно взятым из повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» с его героями Петей и Гавриком, но на самом деле значение его велико и серьезно. Обстоятельства и время – драматичны, и исход действа для его организаторов был непредсказуем.

Речь идет о первой в СССР неофициальной, не санкционированной ни Союзом художников, ни властями выставке картин так называемых нонконформистов. Ранним утром 8 мая 1967 года Сычик и Хрущик развесили свои работы на заборе, окружавшем оперный театр во время ремонта. Затем сели на бордюр Пале-Рояля и стали ждать, что из этого получится.

Что получилось – об этом сегодня можно прочитать в воспоминаниях современников, монографиях и статьях, на сайтах и в ФБ, в том числе и в публикациях А. Завьяловой. Все, о чем она рассказывает со слов Хруща, давно известно и опубликовано, кроме одной, но важной детали. В беседе с публикатором Хрущ (с ее слов) рассказал следующее. Он вспоминает, как к оперному среди первых примчались журналисты – в основном «Комсомольской искры», Евгений Голубовский и другие, и, главное, фотокор Михаил Рыбак. Он был одним из самых оперативных и профессиональных среди своих одесских коллег. Я, который

в тот день тоже был у забора с картинами, помню, как он все щелкал и щелкал своей камерой… Спустя годы, уже в наши дни, Хрущ, как утверждает Завьялова, вспоминал, что Миша через пару дней передал ему много снимков, а главное – негативы.

И вот он: эксклюзив, во всяком случае – для меня. Снимки и негативы тогда же выпросил у Валика Слава Сычев, который собирался передать их некоему специалисту, который сделает классные и большие фотографии. Судьба этих материалов не известна…

Фотографий, сделанных в тот день другими свидетелями события, – единицы.

До недавнего времени если не всю легендарную экспозицию, то ее фрагменты можно было увидеть в одном из залов Музея современного искусства Одессы. Словно перенесенные машиной времени из шестидесятых в век XXI, эти доски, пусть не из «того» забора, эти холстики и картоны, пусть и не все – «те», но, несомненно, «того» времени и тех художников, впечатляли зарубежных и отечественных искусствоведов и молодых художников, для которых и Хрущ, и Сычев – легенда… Да и нас – Голубовского, меня, Василия Рябченко, Александра Лисовского, Юрия Плисса – считающих себя последователями Хрущика и Сычика, реконструкция была впечатляющей и волнующей.

С декабря 2017 в этом зале – работы других художников, как и в соседних, где сегодня не увидишь картины и рисунки, к которым приходил с особым чувством. Нынче в МСИО – иная концептуальная экспозиция, о которой мы будем разговаривать с ее создателями, и еще своими мыслями по этому поводу поделится один из самых уважаемых культурологов и собирателей, причастный к становлению нового искусства Одессы. Но вначале – несколько цитат из концепции новой экспозиции, обнародованной МСИО в день ее открытия:

«*Музей современного искусства Одессы представляет принципиально новую экспозицию, актуализирующую художественную проблематику через призму одесского искусства.*

Одна из ключевых задач современных музеев – это поиск новых форм интерпретации коллекции и взаимодействие со зрителем…

Своего рода экспериментом является перенос из одного контекста в другой заметных явлений в истории искусства нашего города: одесская живописная школа 1960-70-х годов; творчество первого одесского советского абстракциониста Олега Соколова; первая в СССР неразрешенная выставка «Сычик + Хрущик» (1967 г.); квартирные выставки в середине 70-х художников, нонконформизм которых проявился на уровне коммуникации и создания альтернативного художественного языка; концептуальное движение поколения 80-х... Все эти феномены изъяты из поддерживающей их миф среды и размещены в диалоге с художниками официального круга».

Автор концепции задает себе и нам вопрос:

«*На что необходимо ориентироваться в определении понятия «современное искусство» – на временные рамки, новые медиа, интеллектуальную составляющую, форму презентации? Современное – это modern и (или) contemporary?*»

Проще всего было бы исчерпывающе ответить библейским: «В начале было Слово».

Но мы отсылаем тех, кто заинтересовался этой коллизией, к полному тексту концепции новой экспозиции МСИО, она этого стоит.

Я поведу себя в музей…

А я начинаю беседу с ее автором Викторией Великодоменко с поздравления:

– Мы встретились с вами сразу после открытия новой экспозиции, по сути – нового МСИО… Не каждый куратор получает в свое распоряжение целый вполне состоявшийся музей и в конце

концов наполняет его залы и новым содержимым (работами), и новым состоянием (аурой).

Вам это удалось – вне зависимости от того, кто и как сегодня воспринимает эту работу и ее результат. Сразу выражу уважение позиции директора МСИО Семена Кантора и признаюсь, что не решился бы на столь революционную ситуацию.

Вы ведь знаете, что мне приходилось принимать участие в создании фундаций нового искусства, их коллекций, в реализации проектов, кроме того, у нас дома собраны работы одесских художников, работавших в разное время и в разной манере, но в основном тех, о ком в разных нынешних контекстах идет речь в концепции новой экспозиции МСИО.

Поэтому сегодня у меня к вам, Вика, вопросы как к коллеге и единомышленнику.

– Что побудило вас к идее и реализации этого проекта? Острое ощущение: надо что-то менять? Стремление приблизить бренд одесского музея к тренду зарубежных фундаций? К примеру, Прадо, Пинакотеки, Дрезденской галереи, кото-

Виктория Великодоменко

рые в последнее время во имя той ли иной концепции практикуют сближение, а порой и столкновение работ мастеров разных эпох, стилей, мировоззрений…

– Социокультурный процесс сегодня настолько динамичен, что многим музеям приходится искать новые формы интерпретации своих коллекций и способы коммуникации со зрителем. В 2018 году Музей современного искусства Одессы будет отмечать свое десятилетие. За это время фонд, безусловно, пополнился новыми экспонатами, но…

Каждый музей имеет топовые работы, которые остаются в экспозиции, как бы она ни менялась. Этим произведениям необходимо давать новую жизнь. И не только произведениям. Заметные события художественного процесса, феномены тоже нуждаются в подаче в ином ракурсе.

– Продолжим разговор о мировых тенденциях. В последние годы мне довелось познакомиться с масштабными проектами вышеупомянутых музеев, где после сведения вместе работ великих и знаменитых художников разных времен удалось и создать новую реальность, и открыть новые, подчас парадоксальные смыслы и качества их произведений. Но тамошние кураторы не только привлекают для этого работы из своих богатейших и необъятных фондов, но и одалживаются у коллег из иных музеев и галерей, собраний знаменитых коллекционеров. Вам же пришлось работать с тем, что есть в нашем, пусть динамично развивающемся, но молодом музее с не сравнимыми возможностями. Вот, на мой взгляд, и случилось, что в нескольких случаях сведены работы, не сопоставимые и по масштабу, и по классу авторов.

– Вы правильно сказали: обычно приходится работать с тем, что есть. Музей ограничен своим фондом. Поэтому мы сотрудничаем с частными коллекционерами. Например, наряду с экспонатами из фонда мы разместили в нескольких залах произведения не музейного уровня. Это обусловлено отнюдь не желанием подчеркнуть значимость наших работ. Скорее наоборот. Мы провоцируем зрителей задуматься относительно художественной ценности тех или иных произведений.

– Исходя из своего опыта знаю, что в любом собрании замена нескольких, а то и одной работы ведет к изменению композиции, которую составляют картины и рисунки, собранные на одной стене, а иногда – и на всем экспозиционном пространстве. А уж если речь идет о музее… Вы, разумеется, знали об этом и пошли на это. Что вы ощущаете сегодня? Довольны ли результатом? Нет ли желания что-либо изменить?

– Целью и было кардинальное изменение концепции музейной экспозиции. Мы отказались от хронологии, акцентов на знаковых авторах и ярких явлениях в истории искусства Одессы (залы, посвященные Олегу Соколову, «квартирные» и «заборные» выставки, концептуалисты и т. д.). Сегодня, когда экспозиция только открылась, у меня нет желания что-либо изменить, за исключением, возможно, невидимых зрителю, но существенных для нас технических нюансов. Говорить об изменениях (не радикальных) можно будет через какое-то время, когда увидим, как выстраивается или не выстраивается диалог со зрителем.

– Сколько продлится этот, с моей точки зрения, спорный, но и смелый, креативный проект? Что ожидает в будущем, пусть и не далеком, поклонников современного искусства – наших и приезжих? Гости города увидят срез истории и сегодняшнего дня одесского авангарда, причем вашими глазами, и уедут с этим представлением о нем? И личное: неужели я и мне подобные, как говорится, «участники движения», будем лишены возможности увидеть любимые и памятные работы?

– Экспозиция продлится до августа 2018 года Я рада, что мы немного изменили нашу выставочную практику. Теперь музейную коллекцию можно будет увидеть и летом, когда идет основной поток туристов. Последние несколько лет гости нашего города заставали различные выставочные проекты и сожалели, что не могут ознакомиться с коллекцией Музея современного искусства Одессы. Любимые работы (а их много) остались, только они перенесены из одного (привычного для них и для нас) контекста в другой. И архивная составляющая тоже присутствует, но уже в новой – интерактивной форме.

– Я с сожалением узнал, что скоро вы покинете Одессу, где успели создать немало интересных и масштабных проектов.

Ваше последнее (по времени) детище остается, как говорится, без авторского, но, если хотите, материнского надзора… Придет другой куратор. Вы готовы к тому, что ему захочется что-то изменить в вашей экспозиции, в вашем проекте?

– Мне тоже отчасти жаль уезжать. Особенно сейчас, когда я только в начале пути, и столько проектов хотелось еще реализовать… А что касается авторского надзора, то… новый куратор будет работать уже над следующей экспозицией.

– И последний вопрос. Вы ведь и сами берете интервью у художников, искусствоведов, кураторов… О чем бы вы сегодня спросили у себя?

– Как мотивировать зрителя читать тексты?

Евгений Голубовский:
А я и сам хожу в музей, и приглашаю всех друзей

Музею современного искусства Одессы 10 апреля 2018 года исполнится 10 лет. Думаю, что не меньше пяти раз за это время менялась в корне постоянная экспозиция. Меняли не кровати, а девочек, если вспомнить старинный анекдот.

Чем это вызывается? Прежде всего, расширением коллекции. Но, конечно, и величиной, и конфигурацией выставочных залов.

И, наконец, пришедшим опытом, диктующим иногда и парадоксальные решения.

Уверен, что зритель, побывавший в музее в 2008 году в Сабанском переулке, вообще не узнает нынешний музей на Белинского (Леонтовича). Другая эстетика, другие приоритеты, да и экспонаты. Хорошо ли это, или плохо? Считаю, что так ставить вопрос некорректно. Музей – живой организм. И должен развиваться, меняться. Пожалуй, больше, чем все другие музеи города, он, чтобы оставаться *современным*, должен реагировать на сиюминутный творческий процесс.

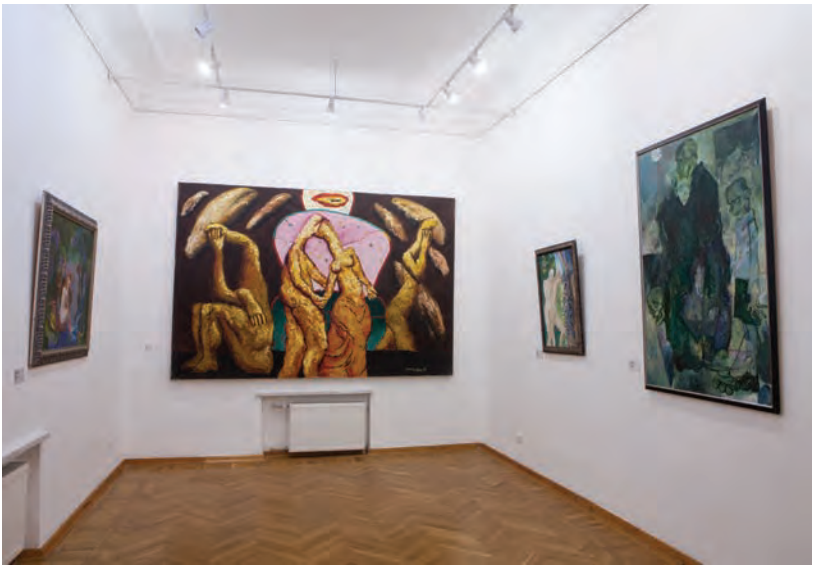
Итак, я за постоянное экспериментирование в масштабе этого музея. Не удивился бы, если бы мне показали экспозицию, посвященную одесскому концептуализму, в который по-юношески влюбился директор МСИО Семен Кантор. Но скорее удивился. Музей предложил стать куратором, создателем экспозиции не художнику, не искусствоведу, а молодому культурологу Виктории Великодоменко, чьи интересы во многом близки к теоретическим.

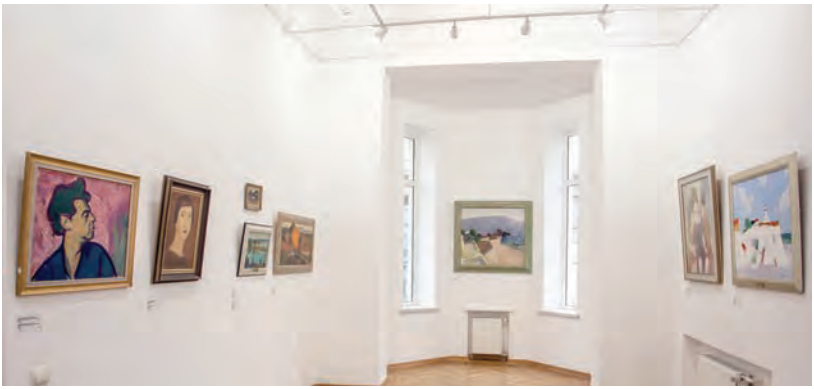
А что такое произведение искусства? Как определить, какое произведение искусства станет дорогим, а какое упадет в цене? Можем ли мы дизайнерскую компьютерную игру вывесить рядом с картиной Наумца? Костанди? Рафаэля? Меняется ли табуированность в разные века?

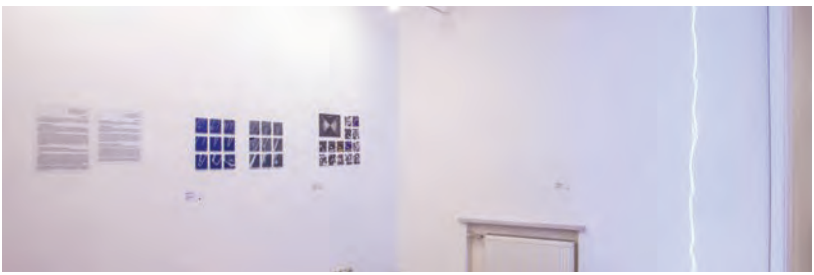
Не думайте, что это вопросы доктринерские. Культуролог постаралась на них ответить экспозицией. Это еще одно произведение искусства – авторская экспозиция, построенная по принципу сталкивания картин, видео, инсталляций, разного уровня, но посвященных в одном зале или закутке – одной теме.

Музей помолодел. Ощущение, что мы под современным искусством понимаем 17 лет нового века. Прочее – классика, место которой на Софиевской.

Напомню, что предыдущие экспозиции строились по хронологии развития искусства в Одессе. Этот подход давал возможность образовывать зрителя. Нынешний подход скорее заставит думать, чем сопоставлять с историей искусства. Концепций придумать можно множество. Я тут же представил, что следующий куратор создаст Красный зал, где уютно будут чувствовать себя







Фрейдин и Белик, и Синий зал, где Олег Волошинов посмотрит на Юрия Егорова, Зеленый зал, где Юрий Коваленко окажется веселее, чем Леня Войцехов…

Но эта экспозиция просуществует до середины августа. Как раз за девять месяцев можно родить ребенка. И назвать его Озаринской. Ее инсталляция – семья – произвела на меня большее впечатление, чем гендерные проблемы, решаемые с дотошностью акушера Перевертуном.

Обязательно посмотрите новую экспозицию МСИО.

Но мне все равно не хватает зала Юрия Коваленко, зала Олега Соколова, зала Юрия Егорова, великолепного собрания МСИО работ Олега Волошинова, нонконформизма как явления «иных», к которым мы относим и Сиренко, и Асабу, и Тихолуза, и Коровенко… Я из того поколения, для которого современное искусство – это и Люсик Межберг, и Люсик Дульфан, Люда Ястреб и Саша Ануфриев. Как мне их не хватает… И не заменит мне их ни любимые мной Гусев и Стас Жалобнюк, ни не любимый Подлипский и… А тут я мог бы уже голосовать списками…

Я рад, что увидел авторский взгляд, не мой, но имеющий право быть показанным. Интересный. Творческий. Не одесский. Волны Черного моря не бьются о рамы картин, об экраны телевизоров, даже когда там идет великолепный гротеск Ройтбурда (одно из немногих истинно одесских произведений).

Я рад, что музей призвал меня задуматься: а что из *современного* искусства останется в искусстве, а что уйдет в шум.

Я жду 10 апреля – десятилетия МСИО; я жду августа – а вдруг следующий ребенок воплотит и мои мечты…

«Я поведу себя в музей!»

Важно, что эти материалы, содержащие размышления о новой концепции МСИО, рождались в декабре 2017 и в начале января нынешнего года – тогда, когда уже отошла в сторону экзальтация и напряжение презентации. Музей зажил новой жизнью, и началась притирка работы к работе, когда их авторы, знакомые и не знакомые друг с другом, вступают в ночной диалог, когда

и те, кто отверг новую реальность, и те, кто горячо ее принял, возвращаются в эти залы, чтобы утвердиться в своих первых ощущениях или усомниться в них. В музей сегодня приходят и те, кто раньше в нем не был, – вот они удивятся, когда в августе новый куратор осуществит свою идею, и вновь здесь случится перемена…

Удивимся ли мы? Удивлюсь ли я?

Есть лишь один способ узнать это.

Иного не дано:

встречаться в музее!

«Я поведу тебя в музей…»

Те, кто постарше, узнают в этом первую строку старого стихотворения, которое мы заучивали в детстве.

Пока я писал эти заметки, сводя воедино свои сомнения, беседу с Викторией, монолог Евгения Голубовского, этот зачин все время вертелся в голове. Кроме местоимения: вместо «тебя» – «себя», менялись чувства, их степень. Так вопрос сменился многоточием, и в конце восторжествовал восклицательный знак.

Признаюсь, он основан на надежде на то, что заборчик-новодел с классическими работками Хрущика и Сычика вернется: в тот или иной зал – вот это как раз неважно. Придем сюда еще не раз, пристально следя за тем, что будут вытворять очередные молодые кураторы при соучастии директора. И убедимся в том, что пространственно-временной континуум, который отныне размещен в одном из подвальных помещений старого особняка на Белинского, активно работает к удовольствию одних и недоумению других.

Леонид Авербух

Одесские музы поэтов

В.В. Маяковский и Е.Ю. Хин

Писатель Д.Л. Быков в своей книге «13-й апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях», изданной в 2016 г. (серия ЖЗЛ) написал о том, что мне не встречалось в других источниках. Речь идет еще об одной из муз поэта, достаточно тесно связанной с нашим городом.

Маяковский бывал в Одессе в 1924, 1925, 1926 и 1928 годах. Встреча с этой женщиной произошла летом 1926-го. Быков пишет по этому поводу: «На каждом повороте жизнь Маяковского могла превратиться в роман, и каждый раз вместо романа выходил какой-то другой жанр». Быков пишет так, как будто бы он был свидетелем и участником этих встреч, но определенно опирается на воспоминания героини этого очерка. В интервью радио «Свобода», к которому мы еще вернемся, он сослался на ее мемуары, однако среди полусотни источников, приведенных в библиографии к книге, они не значатся. Обнаружить их удалось в первом номере журнала «Звезда», вышедшем в январе 1959 года. Потом дважды переиздавались в сборниках. Увы, книги, вышедшие в России, малодоступны. Необычайно интересным оказался этот насыщенный образами и фактами романтический текст…

Он стоял на балконе гостиницы «Лондонская», перед ним на парапете – бокал вина, был ослепительный июньский день, дул легкий ветер с моря. Она сидела внизу, напротив, в платановой аллее над обрывом, с его книгой. Она знала, что он в городе, и бессознательно желала попасться ему на глаза. Ей с утра уже

донес один из поклонников, что… приехал, приехал. Остановился в «Лондонской». Обрит наголо. С палкой. И – великолепен!

И вот она на бульваре. На балконе – Маяковский. Он смотрел на нее, она подняла глаза. Книга стихов Маяковского упала с колен – обложкой вверх. Он поднял бокал и выпил за нее. «За своего читателя», – подумала она. Улыбнулись друг другу. Но тут на извозчике приехал сияющий Семен Кирсанов. Они с ней были знакомы по одесским поэтическим вечерам, и если бы он ее заметил, то немедленно представил бы Маяковскому. Она этого пока не хотела. Она вообще не знала, хочет ли этого, и убежала к морю, карабкалась по обрыву в зарослях сирени и лишь полчаса спустя вернулась на аллею. А там стояли Маяковский с Кирсановым, поджидая именно ее.

– Товарищ девушка!– сказал Маяковский медленным басом. – Вы мне по росту. Давайте гулять вместе.

И далее – если кто-то хочет представить, какой она была тогда, – именно с нее рисовал садовницу Ласочку Евгений Кибрик, когда иллюстрировал «Кола Брюньон» Ромена Роллана. Кибрик был тогда двадцатилетний одесский студент, завсегдатай литературных вечеров. Сразу скажу, что этот рисунок нашего впоследствии маститого земляка, академика живописи, народного художника СССР – единственное изображение героини очерка, которое удалось обрести… Даже в книге Быкова, снабженной внушительным фотоблоком, оно отсутствует. Кто же она? Быков ошибочно утверждает: «Ее звали Женя Дьяконова, и она была уже замужем, фамилия по мужу была Хин…». Как узнает читатель, на самом деле Хин – ее родная, девичья фамилия. Более того, не была она в это время замужем, а Дьяконовой она стала значительно позже, присоединив к своей фамилию мужа, и даже не первого, а второго… Итак, ее звали Женя, Евгения Юрьевна Хин, и было ей в то время 22 года.

Главным увлечением Евгении Хин была литература, а работала она экономистом, только что окончила одесский Инархоз – Институт народного хозяйства, существовавший до 1930 г.

– Стихи любите? – спросил он у Жени.

– Больше всего на свете.

– Кто любимый поэт?

– Надо, наверное, сказать, что вы.

Он улыбался. Пошли в порт, постепенно обрастая компанией местных поэтов: таково было свойство Маяковского – он собирал вокруг себя толпу и всех вел угощать, особенно же не любил один оставаться в гостинице по вечерам. Рассказывал о Мексике. Стало между тем быстро, как всегда на юге, темнеть, зажегся синий маяк, молодежь начала читать стихи. Кирсанов опять старался. Попросили Маяковского. Он покачал головой. Евгения увлеченно (интерес, любопытство, безусловно, переросли в увлечение) повествует о деталях их прогулки, о вдохновении, которое Маяковский испытывал при созерцании морского пейзажа, кораблей в порту, девушек на молу, уверенно цитирует отрывки диалога, реплики спутников девушки и поэта…

Она жила на улице Коминтерна (Дворянская, Петра Великого, С.Ю. Витте. – **Л. А.**), совсем близко, но старалась вести его окольными путями, чтобы подольше. Ворота ее дома были заперты, она потянулась позвонить… Еще раз пошли гулять, часовой узнал поэта, пропустил в ночной порт – он поднялся на корабль,

«Рыжеволосая садовница Ласочка». Рисунки (два варианта) Е.А. Кибрика из иллюстраций к роману «Кола Брюньон» Р. Роллана

стал говорить с матросами, случайно услышал: «Павка по мачты втюрился!» – и год спустя написал: «Я теперь по мачты влюблена в серый «Коминтерн», трехтрубный крейсер».

Убежденный, что Женя склонна к поэтическому творчеству, В. В. попросил ее почитать стихи. Свои она читать побоялась и прочла Пастернака, «Марбург», который, как вспоминала она потом, был паролем в их среде. Особенно его любимая строфа: «В тот день всю тебя…». Он тоже ее часто цитировал, и в только что напечатанной статье «Как делать стихи» – снова.

– Завидую этим стихам, – сказал он. – Завидую поэтам, которых ночью в провинции читают девушки прерывающимися голосами.

А вот еще о ней, о Жене:

– Одобряю короткие юбки! Сразу видишь, с какими ногами имеешь дело.

– Читайте! Вы обещали, – сказала она.

Он сбросил к ее ногам пиджак – всегда его снимал перед выступлением, вешал на спинку стула, – и прочел сперва «Тамару и Демона» («И пусть, обалдев от помарок…»), потом «Разговор с фининспектором», «Мелкую философию», «Юбилейное»… Постепенно мрачнел. Сел рядом с ней на канаты и прочел последнюю строфу из «Домой!» – ее одну: «Я хочу быть понят своей страной…».

На обратном пути на рассвете она заметила, что была ему уже не нужна: он выговорился… Но они оставались почти неразлучны до самого его отъезда. Он ждал ее на углу Портофранковской. Бродили по Пересыпи, бывали на Ланжероне, в Аркадии. Сопровождать Маяковского на прогулках, наблюдать его остроумное общение с людьми было наслаждением, пишет «Женя Юрьевна».

Быков, да и не только он, считает, что от общих одесских друзей Ильф и Петров знали об этом увлечении Маяковского – да и сама она была знакома с Ильфом, в одном кругу встречались, – и что Хина Члек (имя, столь же редкое, как и созвучная ему фамилия Хин. – **Л. А.**) из «Двенадцати стульев» являет собою гибрид Жени Хин и Лили Брик.

– О чем вы больше всего мечтали в юности?

– О славе. Только о славе. Немного о женщинах.

В.В. Маяковский. Фотографии середины 1920-х годов

– А писать когда начали?

– Всегда писал, ничего в этом нет особенного. Не понимаю, почему другие не пишут…

Она вспоминает, как при одной из встреч достала у него из нагрудного кармана пиджака листок с новым стихотворением

и стала читать. Бросилось ей в глаза посвящение: «Лиле Юрьевне Брик».

– Вы все ей посвящаете?

– Все. Вместе и по отдельности.

– Ну…– она явно обиделась и не знала, чем уравновесить это признание.

– Мне тоже посвящают!

– Прочтите.

– Вот! Но мы спокойны, мы поспорим со стражами Господня гнева… И пахнет звездами и морем твой плащ широкий, Женевьева, – закончил он.

Она опешила:

– Это что… еще кому-то? Откуда вы…

– Это Гумилев,– сказал он, не вдаваясь в объяснения.

23 июня он читал в Одессе доклад «Мое открытие Америки». Летний сад, знаменитая эстрада в виде раковины (очевидно, летний театр в Горсаду, тогда – им. Луначарского. – **Л. А.**). В антракте сам торговал книжками, раздавал автографы. «Что одну берете? Вот еще хорошая книжка!» Продал все. Те самые, не расходившиеся в магазинах, разлетались стремительно. Во втором отделении читался почти весь американский цикл, с особенным успехом – «Бруклинский мост». Зал требовал «Облако». Маяковский был неумолим.

– Почему вы не читаете «Облако»? – спросила Женя после концерта.

Он обижался на эти просьбы. Катаеву в ответ на мольбу почитать из «Облака» – «все поэмы в вашем исполнении слышал, а эту нет» – рявкнул:

– Феерическая бестактность! Говорите поэту, что хотите, – только не смейте говорить, что его последняя вещь хуже предпоследней!

Жене он ответил мягче:

– Я давно перерос «Облако». Вчерашняя вещь. Сплошные «каки».

Позже Чуковский, отношения между которым и Маяковским временами напоминали «любовь-ненависть», именно с Женей Хин недобро говорил об этих «каках». (Я решил подсчитать ко-

личество слов «как» в не такой уж малой поэме. Их оказалось 16. Совсем не много… – **Л. А.**)

26 июня гастролировавший в Одессе театр Мейерхольда давал «Учителя Бубуса». Маяковский восхищался игрой Охлопкова: «Очень вы эффектно умираете, вот этот жест рукой…». Ему очень нравилась Бабанова и нравилось то, что спектакль музыкальный: невзирая на всю свою широко анонсированную ненависть к музыкальной классике, он любил Шопена, а в спектакле Мейерхольда, отчасти стилизованном под немое кино, было «46 музыкальных вставок», Шопен и Лист. Владимир Владимирович привел свою одесскую подругу «на чай» к Зинаиде Райх (которая, определенно, будет героиней одного из очерков этого цикла. – **Л. А.**). «Нужно получить огромное количество контрамарок для моей «ватаги» на все гастроли театра», – напишет Женя даже тогда, когда Маяковский уедет из города. Его принимают с подчеркнутым вниманием.

Маяковский и Мейерхольд, присевшие на балконе гостиницы, явно очень интересовали друг друга, но и какая-то опасливость, настороженность видна в их отношениях; они напоминают двух крупных зверей, принюхивающихся друг к другу. Изучают друг друга и в любую минуту готовы к столкновению. Зинаида Райх чрезвычайно внимательна к поэту.

– А вы заметили, как она чай разливала? – выходя, говорил Маяковский. – Каждая чашка, протянутая ее рукой, несла другую интонацию. Актриса!

После спектакля пошли к Инне Тереховой, подруге Жени: у нее собрались молодые мейерхольдовцы. Александр Костомолоцкий играл на рояле, рисовал шаржи, показывал нэпмана и хулигана. Танцевали фокстрот: «Там, на Гаити, вдали от событий, от мира, где Сити, туман, – там с пальмы стройной, высокой и знойной, падал соззррревший банан!». И даже Маяковский, танцевать всегда стеснявшийся, на улице долго еще с ней, с Женей, выплясывал.

На следующий день, гордясь близостью к Мейерхольду, он взял ее на репетицию «Рычи, Китай!» – ужасной пьесы Сергея Третьякова. Мейерхольд показывал Бабановой, как надо петь песенку китайского мальчика, и хотя слуха у него не было, а голос дребезжал, он пел так, что Маяковский вздохнул:

– Это самое сильное мое театральное впечатление.

Она в последний раз прошлась с ним по жаркому, белому от жары бульвару. В порт входил огромный пароход.

– Серьезная штука, – сказал Маяковский. – Интересно, какая кличка?

Кличка была – «Теодор Нетте». Маяковский оцепенел. «Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою – пароходом?» Две недели спустя закончил одно из самых известных поздних стихотворений – «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».

28 июня Маяковский уезжал из Одессы, предварительно набрав для нее и ее однокурсников ворох контрамарок от Мейерхольда – на месяц вперед. «Мейерхольд хочет пьесу, он мне не откажет».

– Женя Юрьевна! Напишите мне письмо. Теплое, как объятие.

– Зачем?

В этом вопросе, конечно, ожидание признания, обещания или намека на общее будущее.

– Чтобы вставить его в стихи. О девушке, написавшей письмо поэту.

Но девушка была возмущена до слез, обижена. Желать ее письма только для того, чтобы вставить его в стихи! «Много позже, – пишет она, – я поняла, что жизнь лежала перед ним, как большая тетрадь, и впечатления – передовая «Правды», гудки «Советского Дагестана», походка хромого медвежонка на палубе корабля, мое письмо – ложились в эту тетрадь «отстоявшимися» строчками».

– Как жаль, что я не знала вас раньше, – сказала она, прощаясь. – Этой зимой была в Москве, и все мне казалось, что иду не туда, куда нужно, смотрю не то, что следует.

– Действительно, жаль. Нужно было позвонить по телефону и сказать: «Маяковский! Мне двадцать лет. Покажите мне Москву». И я показал бы!

Когда они встречались, позже, Маяковский говорил:

– Мне нравится наш роман.

– Какой же это роман? Одно недоразумение.

– Но роман и есть недоразумение! Счастье возможно именно только по недоразумению, случайно, кое-как.

После отъезда Маяковского жизнь в Одессе показалась Жене Хин, по ее признанию, нестерпимо унылой. Институт был окончен. Нужно было найти работу. Манила литературная дорога. Она переехала в Ленинград. Осенью того же 1926 года, возвращаясь через Москву в Одессу, чтобы «отдать концы», она побывала на его выступлении в Доме печати. Голос Маяковского гремел в зале. Все места были заняты. Маяковский замечает ее в конце пустого прохода, где она остановилась, охваченная, завороженная ритмикой стихов и голосом поэта. Он закончил стихотворение и – на весь зал:

– Здравствуйте, Женя Юрьевна! Давно ли вы в Москве? Проходите сюда. Вот свободное место.

И вот она в гостях у Владимира Владимировича в Лубянском проезде. В комнате темновато, мрачно, не обжито. Окно выходит в какой-то мрачный закоулок. Ни малейшего уюта. Простые грубые вещи наполняют комнату. Она напоминает полустанок, на котором пассажиры не задерживаются. Ее поразило, насколько он не соответствовал этой мрачной комнате: на трибуне, на корабле, на улицах, в огромных аудиториях он был как у себя дома, на месте, в полном владении окружающим миром, а здесь, в своей рабочей комнате, за своим столом казался чужим всей обстановке, зашедшим на минутку, случайным, не прижившимся гостем.

В углу деревянный некрашеный книжный шкаф, у окна простейший замызганный стол. В комнате сумрачно, не обжито. Камин, ваза с фруктами. На полках небрежно разбросаны книжки Маяковского. Лежит стопочка книг об Америке; только что выпущенные в полосатых обложках книги: «Испания, Гавана, Мексика, Америка». Есть и старые издания – «Про это» с фотомонтажами А. Родченко. Хозяин щедро одарил ее своими книгами.

Задержавшись в Москве, Женя ходила, как на службу, в музей Щукина и Морозовскую галерею. У картин Ренуара и Ван Гога встретилась с Маяковским. Потом гуляли по московским бульварам. Судя по воспоминаниям, таких прогулок и посещений квартиры Маяковского было много. Устраивали соревнования на узнавание авторов разных стихов и даже прозы, она отмечала сверхъестественную память поэта. Он однажды назвал 28 романов и повестей Бальзака. Далее следует многозначительная фраза:

«Эти соревнования *обычно* происходили в Лубянском. Я усаживалась в единственное мягкое кресло, а он разгуливал по комнате… Или полулежал на тахте». Посещал и он Женю в крошечной комнате, где она жила у своей кузины в Б. Афанасьевском переулке на Арбате. Застав у запертой двери двух поджидавших Женю молодых людей, возмущенный, крупно написал карандашом на белой доске:

К этой
самой
Жене Хин
вечно
ходят
женихи

Бурно восхищался Светловым, особенно «Гренадой». Осенью 1927 года они встретились в Ленинграде, куда Маяковский приезжал с выступлениями. Рассказывал о встречах с Блоком, гордился его одобрением «Облака»… Бывая в Ленинграде, приходил в семейный дом Жени и ее первого мужа О. Цехновицера на Адмиралтейской набережной, 10, восхищался их обширной библиотекой, полкой, где хранились и «все сто томов его партийных книжек»… Бывал там и в «предпоследнем», 1929 году, увлеченно рылся в томах Достоевского.

Вспоминает Женя Хин своеобразный эпизод, помогающий понять непростую атмосферу, окружавшую Маяковского в 1928-29 годы. Дело происходит в Ленинграде в конце 1929 года: «У постели больной Лидии Г. собралась литературная ленинградская публика. В углу, опершись подбородком на палку, угрюмый, молчаливый, сидит Маяковский. Разговор, то поднимаясь, то падая, кружит вокруг современной поэзии. Говорят о стихах Пастернака, о Сельвинском. Кто-то цитирует «Юго-запад» Багрицкого. Поминают «Уляляевщину». Называют новые имена, читают новые стихи. О Маяковском – ни слова. Его поэзия не принимается всерьез в этом обществе, вообще не считается поэзией. Это «газетчина», «барабанный бой», в лучшем случае – «социальный заказ», что угодно, но не стихи, не искусство. Из вежливости об этом не говорят в его присутствии. Но политика умолчания выразительнее любой критики.

Маяковский необыкновенно молчалив. В углу, где он сидит, темновато, но, все же видно, что его лицо все больше мрачнеет. наступившей паузе из угла доносится хриплый (во рту пересохло) голос:

– Дайте напиться!

Никто не встает. Больная хозяйка обращается к близсидящему гостю:

– Сходите на кухню. Принесите стакан воды Владимиру Владимировичу.

Тот неохотно поднимается, нарочито медленно идет из комнаты. Молчание. Снова кто-то начинает читать стихи. Лицо Владимира Владимировича искажено, но он молчит.

Воду, наконец, приносят. Она оказывается горячей. Хозяйка небрежно роняет:

– Сейчас остынет. Пускай постоит!

Маяковский резко встает:

– Она постоит, а я пойду! – и стремительно выходит из комнаты.

А Лидия Г. – это ее Хин называет хозяйкой – это Лидия Гинзбург (крупный литературовед, писательница и мемуарист, кстати, тоже наша землячка, уроженка Одессы. – **Л. А.**) в записных книжках описывает этот эпизод с других

О.В. Цехновицер

Ю.О. Цехновицер

позиций, подчеркивая, что для нее Маяковский – «один из самых главных», никакого пренебрежения. Среди присутствовавших она упоминает Н.В. Рыкову, жену Григория Гуковского, близкую подругу А.А. Ахматовой. Вот такой круг общения нашей героини.

В последний раз она встретилась с Маяковским во время его мартовского (1930 г.) приезда в Ленинград, ей запомнилось его одиночество, которое не с кем было разделить, – он всех зазывал в ресторан, никто не шел, у всех были семейные обстоятельства.

Обратимся наконец и к другим источникам, позволяющим пополнить наши представления о Евгении Хин и ее близких, личностях незаурядных и ярких людях, которым, кстати, посвящено намного больше доступных материалов. Так, И.М. Дьяконов, младший брат второго мужа Евгении Юрьевны, в книге воспоминаний, вышедшей в 1995 г., пишет (без комментариев. – **Л. А.**): «Евгения Юрьевна Хин-Дьяконова (1905, Одесса – 1969 или 1970, Ленинград), вдова О.В. Цехновицера, редакторский работник, была собою видная, почти можно было бы сказать – рослая женщина с медными волосами и фигурой Венеры. Говорят, она была красива еще в Коктебеле, но когда я ее впервые увидел в 1938 г. у Миши (Михаила Дьяконова, второго мужа Евгении. – **Л. А.**) в Ламоттовском павильоне (Новый Эрмитаж), я красивой ее не нашел; видно, она была «не мой стиль». У нее были маленькие карие глаза, полное, не вполне правильное лицо. Ну, конечно, я не судья, и это описание, может быть, пристрастно. О ее прошлом, кроме того немногого, что она мне впоследствии говорила о себе, я знаю мало, и все по слухам, достоверность которых, видимо, весьма сомнительна. Она была одесситка, с юных лет соприкасалась с одесской литературной средой, – так, близко знала приезжавшего туда Маяковского, позже писала воспоминания об их встрече. Много имела литературных знакомств в Ленинграде и также в Москве; была настолько близко знакома с возлюбленной Маяковского Лилей Брик, что та рассказывала ей вещи, которые, казалось бы, рассказываются только близкой подруге. Была очень умна; но ее приятельница Лидия Николаевна Браудо говорила про нее: «У Жени ум действует сразу по нескольким этажам», – а это уже был комплимент несколько сомнительный. Рассказывали, что она была (подобно М.М. Зощенко и Илье Ильфу) одно время следователем милиции

(очевидно, все же, речь о Евгении Петрове… – **Л. А.**); рассказывали, что однажды один ее неудачливый поклонник при ней застрелился, и она нашла в себе силы сразу же вынуть свои письма из его кармана. Но все это вовсе не факты, – пишет автор, – за истинность которых я мог бы поручиться, и я привожу эти рассказы, – пишет И. М., – только постольку, поскольку человек характеризуется не только своими поступками и событиями своей жизни, но и тем, какая вокруг него создается легенда».

Как упоминалось, в Ленинграде Женя Хин вышла замуж за филолога. Первый муж Жени Хин Орест Венедиктович Цехновицер (21.08.1899, Псков – 21.08.1941, действующий флот) – интересный человек, как оказалось, также связанный с нашим городом, профессор Литературного отделения ЛИФЛИ, сотрудник газеты «Красный Балтийский флот», полковой комиссар в начальные недели войны, погибший в возрасте 41 года на штабном пароходе «Вирония», потопленном немцами в первый день перехода из Таллина в Кронштадт; посмертно награжден орденом Красного Знамени «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество» (об этом см. Н. Левин, Профессор университета стал полковым комиссаром. «Псковская губерния» № 12-13 (182-183), 31.03-06.04 / 07-14.04.2004 г.).

О.В. Цехновицер – публикатор и исследователь наследия В.Ф. Одоевского, Ф.М. Достоевского, Ф.К. Сологуба. А в упомянутой выше работе Н. Левина я прочитал: «После войны вдова Ореста Вениаминовича Евгения Юрьевна Хин (1905-1970), редактор по профессии, продолжая дело мужа, подготовила к печати большой сборник «Повестей и рассказов» Одоевского, также включив в него утопию «4338-й год». Гослитиздат. 1959».

«Моя мать Евгения Юрьевна Хин считалась в молодости первой красавицей Одессы», – пишет единственный сын Евгении Юрьевны Юрий Орестович Цехновицер и подтверждает, что именно с нее был написан художником Е. Кибриком широко известный портрет Ласочки с двумя вишенками во рту. Портрет этот так понравился Р. Роллану, что он назвал его «деревенской Джокондой» (так что, Джокондами назвали обеих одесских подруг поэта – и Денисову, и Хин. – **Л. А.**). Сам Юрий (09.11.1928 – 1993, по другим данным –

1994 или 1995), после гибели отца жил в семье отчима, инженер-строитель, архитектор – бунтарь, художник андеграунда, фотограф, диссидент. О нем, безусловно, необычайно интересном и талантливом человеке, доступен значительный объем информации. Известно, в частности, что его дочь Ольга (26.04.1956) – оперный режиссер, литератор и художник. Моя попытка отыскать внучку Евгении Юрьевны Ольгу Юрьевну Цехновицер, скорее всего, сменившую фамилию, и раздобыть у нее хоть какую-то фотографию бабушки также не увенчалась успехом.

Второй муж Евгении Хин Михаил Михайлович Дьяконов родился в семье известного писателя М.А. Дьяконова в 1907 году. Востоковед, специалист по древней истории Ирана, истории искусства и культуры стран Ближнего Востока, археолог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Таджикской ССР. В 1921 году с родителями переехал в Норвегию, где несколько лет учился в университете в Осло. В 1930 году окончил факультет языка и материальной культуры Ленинградского университета. С 1931 года (с перерывами) работал в Государственном Эрмитаже, Ленинградском отделении Института истории материальной культуры, в Академии художеств СССР, преподавал в ЛГУ и МГУ. С первого дня Великой Отечественной войны добровольцем вступил в ряды действующей армии и оставался в ее составе до начала 1944 года. Принимал деятельное участие в Согдийско-Таджикской археологической экспедиции как руководитель (с 1946 года) отдельных отрядов, а с 1953 г. – в качестве руководителя экспедиции. Дьяконов – автор первой в отечественной литературе сводной работы по древней истории Ирана («Очерк истории Древнего Ирана». М., 1961) и многих десятков других работ. За отсутствием более точной информации можно предположить, что их брак с Е. Хин был заключен после 1944 г., хотя отношения между ними были еще при жизни Ореста. Автор книги воспоминаний, которая мной цитируется, – младший брат Михаила Игорь Михайлович Дьяконов, также маститый историк-востоковед, доктор наук, лингвист, специалист по шумерскому и афразийским языкам, древним письменностям.

Разыскивая следы Евгении Юрьевны в библиографических обзорах литературных журналов, я обнаружил немногое, что вовсе не означает, что ее публикаций вообще было мало. Это журнал

«Звезда», Хин (Хин-Дьяконова) Евгения Юрьевна, за 1994 год, № 8, с очерком «Коктебель. 1938», где есть интереснейший материал о ее дружбе с Михаилом Зощенко. К сожалению, этого номера нет в Одесской научной библиотеке. В «Звезде» же устные рассказы М.М. Зощенко («Телефонный разговор»; «Самый дурной поступок в жизни»; «Свадьба»; «Как лгала женщина» / Запись Е. Хин-Дьяконовой – **Прим. ред.**) – с. 102, № 7, 1975. Немногочисленны упоминания о Евгении Хин в одесских публикациях. В сборнике научных статей и публикаций нашего литературного музея «Дом князя Гагарина», выпуск 5 (2009) А.Л. Яворская опубликовала статью «Письма Семена Кирсанова», где цитирует письмо поэта к Эмилю Фурманову (литератор и редакционный работник. – **Л. А.**): «Олендер (очевидно, Семен Олендер, одесский поэт. – **Л. А.**) мрачен: стихов не пишет, настроение скверное. В Москве была Женя Хин – (помнишь «Фокстроты»?)». И далее: «Женя Хин – Евгения Юрьевна Хин-Дьяконова (1905-1970). В 1920-е годы считалась одной из первых красавиц Одессы, позднее жила в Ленинграде. Была дружна с В. Маяковским. Е. Кибрик, иллюстрируя повесть Р. Роллана «Кола Брюньон», нарисовал ее в образе Ласочки».

М.М. Дьяконов

С датами, как всегда, проблема. В «Метрической книге Одесского раввината о рождении» за 1904 г., ч. 1, на стр. 239, «о родившихся», за № 1006 имеется запись о том, что «…в Одессе у могилев-подольского мещанина Иегуды Менделева Хин и его жены Хаи 1 мая родилась дочь Евгения». Так что, к моменту встречи с Маяковским в 1926 году Евгении Хин исполнилось 22 года. В воспоминаниях Евгения вскользь упоминает о старенькой маме, живущей на Слободке-Романовке.

На обороте последней фотографии, приведенной в статье А.Л. Яворской «Письма Кирсанова», рукой Маяковского написано: «Милой Клаве [Кирсановой] – дикобраз. Выбросьте, взглянувши раз…

Прежде чем завершить это повествование, не могу не привести еще несколько знаковых, на мой взгляд, слов из интервью, которое автор книги «13-й апостол…», безусловно, изучивший значительный пласт литературы и документов о трагической фигуре «звонкого забулдыги – подмастерья…» народа-языкотворца, дал главному редактору московского бюро радиостанции «Свобода» Леониду Велехову.

Закадровый текст: «Поэт Дмитрий Быков издал большую книгу о Маяковском. Стихи Быкова нравятся многим, литературоведческие штудии – далеко не всем. Книга о Маяковском – не исключение. А книга хорошая – хотя бы уже потому, что она воскрешает потихоньку забываемого поэта. И за это Быкову спасибо – в частности, от тех, кто в юности «переболел» Маяковским. Забывать его не стоит, поэт он был настоящий, есть строчки, которые останутся в поэзии навсегда».

Диалог:

Леонид Велехов: – Кого все-таки из всех этих женщин он любил такой мужской любовью?

Дмитрий Быков: – Евгению Хин. Это моя глубокая вера.

А от себя добавлю: жаль только, что не удалось найти ни одного стихотворения Маяка, достоверно посвященного этой, безусловно, незаурядной женщине – одесситке Евгении Хин…

«Море уходит вспять, море уходит спать…»

Григорий Палатников

Кремона

Хорошо быть богатым бездельником. Бедным бездельником быть тоже приятно. Всю жизнь, а это нивроку семьдесят лет, и как (Исаак Эммануилович говаривал: «Это тебе не таракан начхал на скатерть») всеми фибрами души своей чувствовал я, что рожден для сладкого безделья. Конечно, богатое безделье предпочтительней, позвонил и попросил приготовить яхту на послезавтра к переходу на Сейшелы, гостей будет человек восемь, и на вопрос, когда и куда возвращаемся, отвечаешь:

– На Сейшелах разберемся. Позаботьтесь, чтобы бар и холодильник были полны.

Богатого безделья я не прочувствовал. Не пережил. К сожалению. Не даровал господь. Но и бедное безделье прелестно.

Размышляю об этом на пляже, растянувшись на песке после первого купанья. Пляж пуст. Ранее утро. Шезлонги и зонты еще и не думают расставлять. Лежу и думаю:

– Почему я, рожденный для безделья, всю жизнь работаю, как осел? Ведь каждая клетка моего организма протестует против этого. И дело не в хлебе насущном и социальном расслоении общества, голодная смерть мне никогда не угрожала, тут какой-то порок, скорей всего, сбой генного механизма, который породил позорное врожденное слабоволие, не дающее даже надежды улизнуть из-за письменного стола или мольберта.

И я начал перебирать моменты, когда на душе моей было хорошо и спокойно. Моменты, связанные с женщинами, я отбросил сразу, потому что рядом с этими непостижимыми созданиями никогда не удается достигнуть полной расслабухи. Остается игра

с детьми и сон заграничных вояжей, и такая, как сейчас, медитация – на бреге Понта Эвксинского.

«Понтийские медитации» уже написаны. Про детские игры я еще напишу, когда вырасту.

Остается рассказать о сладком сне вояжей. Тема для российской словесности не нова. От классических записок путешественника – до тривиальных, когда я был во Флоренции, или вояжировал из Чернигова в Воронеж. Но там главное – куда стремится непоседа. Например, насладиться великой революцией в Париже. Зрелище, можно сказать, захватывающее. Главное – вовремя успеть унести ноги. Пока комитет общественного спасения не заинтересовался тобой и не отправил на свидание с мадам Гильотиной. Можете представить ласковую улыбку Робеспьера. Или, восхитившись мифической ленью и уголовными наклонностями испанцев, радостно сообщить соотечественникам, как ты выжил, как ты спасся, как удалось избегнуть дорожных напастей и сохранить жизнь и скарб. Или еще развлекать аристократический бомонд рассказами, как сменил пухлую наваррку на сухопарую толедианку. Из всего этого слагается вся прелесть той суммы точек, из коих и состоит отрезок, соединяющий А и Б. Но как вы успели заметить, если учили хотя бы основы матанализа, какая в отрезке прорва безвестных бесконечно малых, и каждая бесконечно малая – это миг пути с его неповторимыми ощущениями; я не говорю мыслями, мысль не успевает сформироваться – и не надо, перепрочувствуй момент в его неповторимой полноте, будь то млеющее от жары бескрайнее кукурузное поле, до горизонта, или проплывающие по самому краю окоема башни неизвестного собора. Или прелестная деревушка, увиденная с умопомрачительной высоты моста над ущельем. Промелькнет, и домиков не успеешь сосчитать, да что там домики, подумать не успеешь, почем там сметана, – а деревеньки уж нет, поезд нырнул в туннель, и через три минуты прельстившая тебя деревушка/местечко – по другую сторону хребта. А там, может, и не делают сметану, а может, оная лучше той, за хребтом… И ты уже не в Лигурии, а вообще в другой стране, на Лазурном побережье Франции.

Любите отрезок между А и Б, в него вмещается вся ваша жизнь. Для кого-то это стремительный затяжной прыжок из ма-

теринского лона в могилу, для кого-то – монотонное следование малой скоростью. По тому же маршруту. Между этими буквами помещаются и сорок пять минут классной тоски над отрезком прямой, соединяющей две точки с унылыми пешеходами, движущимися навстречу друг другу. И сказочный круиз из Одессы до Александрии и обратно, как он помечен в туристских справочниках и капитанских картах. Так вот, ничего я так не люблю, как эти бесконечные точки, составляющие этот отрезок.

То замечательное «и» из детской загадки – про А и Б, сидевших на трубе. Вот это «и» и вмещает все счастье познания от перемещений по земле. Из А отбыл, и все, что с ним связано, осталось позади, а до Б или два двадцать, или два тридцать с минутами, если это самолет – средний европейский перелет, или ночь, а может, сутки, если поезд или автобус; главное – блаженное выпадение из суеты. Проблемы А остались за спиной, а к новым, связанным с Б, еще не прибыл.

Важно отключить память, не возвращаться все время в А и не гадать, что будет в Б, – а впитывать смену освещения, изменения пейзажа за окном. И еще прелесть европейских дорог. Прелесть есть и в дороге через казахскую степь, как бы длинна и трудна она ни была, хуже с прибытием в пункт Б. Мой излюбленный маршрут лежит через Австрийские Альпы. Маленькие автостанции. Раннее летнее утро. Пробирает холод. Мурашки пробегают по спине. Хорошо. Рядом стена гор. В долине виднеется деревушка, прикрытая туманом, только колокольня высится над этой ласковой периной. Быстро пересекаешь дорогу по направлению к бару. Вдыхая немыслимо чистый, до сладости, воздух. Запах кофе. До дверей еще метров сто, а его аромат уже явственно щекочет ноздри – как они его варят? Может, дело не столько в качестве кофе и умении его варить, а в непередаваемой словом чистоте горного воздуха? А сливки, а вкус хорошего пива… Я люблю этот маршрут через Черногорию или Словению, а дальше – через Инсбрук по Австрии в Италию или Францию. К сказанному могу добавить, что вкус кофе в Венском музее истории искусств затмевает все воспоминания об этом напитке, где бы ты его ни пил: в Риме, Варшаве, Париже или Стамбуле. Так что, львовские кавярни, о чьих прелестях столько глаголют галицкие литераторы, могут отдохнуть.

А пока я пишу эти строки в блаженном состоянии одесского безделья. С утра было пасмурно, небо заволокло тучами, было похоже на дождь. Но на пляж все же пошел. И море вознаградило за верность ему сказочным переливом жемчужно-серых оттенков и золота бликов на округлой низкой волне. Ей приятно плыть навстречу, а потом она плавно несет тебя к берегу. По дороге с пляжа купил кулек белого налива и абрикосов. Яблоки и абрикосы были сорваны – по словам хозяйственного крыжановского мужичка, расставившего свои корзины в тени акаций, – сегодня ранним утром. Мужичок не соврал, стоило надкусить яблоко, как сок брызнул во все стороны. Я люблю эти яблоки-скороспелки. Созревающие к середине июля. Дома, нарезав плоды дольками, я поедал их попеременно. Сладкие абрикосы чередовалась с кисло-сладким белым наливом – все это запивалось остатками коньяка. В бутылке осталась примерно треть, так что завтрак аристократа удался. Да, кофе варят лучше в Вене, но лучшей «фрукты», чем у нас на юге Украины, нет. От мариупольской черешни, поразившей английского генерала в «Хождении по мукам», – до дынь и арбузов Эдуарда Багрицкого. А вишня Подбельского – остановиться нельзя, хоть язык уже немеет от умопомрачительной кисло-сладкой благодати. Благослови Господь память о человеке, который вывел этот сорт.

На мою долю досталось дешевое, бедное безделье. Зато наслаждаться им я умею мастерски. Могу поспорить, что из десяти голодранцев не более двух могут поспорить со мной в этом искусстве, да и то я дам им фору. Сколько раз я пересекал благодатную Ломбардскую долину и область Венето – и все время меня сопровождали надписи дорожных указателей: до Милана 240, и стрелка с загнутым концом: до Кремоны 70. До Турина 280, до Кремоны 110. До Вероны 160, и та же загнутая, как указательный перст, загогулина стрелки в сторону Кремоны. Несмотря на все мольбы – «Заедем на часок!» – туристский ковчег не изменял курса, и искривленная стрелка, отмечавшая развилку на Кремону, оставалась позади, а я, проглотив досаду, продолжал надеяться на счастливый случай. И вот Бог сподобил. В Бергамо мы прилетели. И на этот раз передвигались из города в город поездами. Обосновались в Милане. И вот на третий день во время

обеда, даже не во время, а в тот замечательный час, когда допивают вино, а чек еще не принесли, разговор свернул на прелесть ансамблевого исполнения в Ла Скала. Да и вообще в Италии. То, что итальянцы умеют петь, как никто, давно стало общим местом, общепринятой банальностью, и никого не удивляет. Но ансамбли – дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т. д., а хоры! Оркестр! В любом оперном театре неподражаемо звучат, как фондовые записи, а это рядовой, обыкновенный календарный спектакль; по закону ассоциаций дошли до инструментов, на которых исполняется эта благодать. Тут и возникла, всплыла память о стрелке с загнутым наконечником и надписью – Кремона 70. Давай съездим в Кремону. Ночью по дороге в гостиницу зашли на Теормини и выяснили, что поезда на Кремону уходят каждый час и пребывают в пути примерно столько же. Следующим утром, сидя в электричке, мы вопрошали всезнающий Гугл о прелестях Кремоны. Гугл поведал, что в ней семьдесят тысяч жителей, собор двенадцатого века, музей скрипки с филармоническим залом для демонстрации достоинств инструментов и чудес исполнительского мастерства, пинакотека и оперный театр – для городка, не достигшего статуса стотысячного, – сверхдостаточно.

Вышли на маленьком вокзальчике. Чудом сохранившемся раритете начала строительства железных дорог. Меня вообще трогает бережное отношение даже не к столь далекому прошлому. Сохранили все. И крошечную деревянную шкатулку кассового зала, и чугунные колонки с умилительными коринфскими капительками, поддерживающими столь же крошечный стеклянный навес над перроном.

То, что мы прибыли в город Амати, Гварнери и Страдивари, было видно сразу по выходе из вокзала. По другую сторону привокзального скверика блестела скрипка. Пересекли садик с запущенной растительностью и неухоженным газоном. И уткнулись в символический памятник, скорее не памятник, а архитектурный знак – посвященный скрипке. Он был хорош. Из лона расколотой надвое виолины вылетали, закручиваясь спиралью, линейки нотного стана с разбросанными по ним нотными знаками. Жаль, что я музыкально безграмотен. Теперь, когда я пишу эти строки, я почти уверен, что это была запись мелодии. Был утренний час.

По дороге нам попалось всего двое или трое пешеходов – сонный городок, ни одной машины, какая прелесть, тишина и покой, ничего не отвлекает, полируй свои скрипки, самосовершенствуйся и не спеша живи, со вкусом переживая каждый миг бытия. С мыслями, как бы хорошо было поселиться здесь на старости лет и спокойно завершать все начатое, отшлифовывать свои рисунки до совершенства скрипичных мастеров, приводить в порядок архив, а если не хватит мельтешни и суеты, до Милана – час. Ладно, мечты, мечты.

Итак, медленно, поминутно справляясь с картой, мы двигались к центру просыпающегося городка. Иногда фотографируя изысканные особнячки, то в стиле модерн, то арт-деко. Вышли на площадь перед собором. Она была полна. Шел рыночный торг, продавалось все, от джинсов до цветов и фруктов. Груды оранжевых, желтых, красных плодов полыхали на фоне мрамора соборного фасада. Их оттеняли цветы – невиданное буйство форм и красок, – срезанные и в горшках и горшочках. Над всем этим изобилием возвышался собор. Собор был хорош. Да и вся площадь хороша. Поднялись по широкой средневековой лестнице в мэрию городка, расположенную напротив собора. Двери радушно распахнуты, в самой мэрии ни души, осмотрели зал заседаний совета, полюбовались на средневековый штандарт города, на кресло мэра, из любопытства присели на него – никак не прочувствовали, не сопережили забот и тревог, одолевающих первое должностное лицо, и пошли осматривать другие залы. Они были отделаны в стиле то провинциального ренессанса, то провинциального барокко. Последующих стилей не было. Дальше только подновляли и реставрировали. На стенах висели картины, соответствующие отделке, зато вид на площадь *из открытых окон* был потрясающ. Окна были открыты. Я снимал и снимал, переходя от одного окна к другому, – собор, прилегающий к нему с двух сторон изысканный мраморный портик, такой же изысканный баптистерий, то ли тринадцатого то ли четырнадцатого века, чья конструкция купола на сто лет предвосхищала купол флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре, – и благословлял Господа за то, что надоумил свернуть с больших туристских дорог. Насытившись видом площади, отправились искать музей скрипки, по пути решив, что в таком очаровательном городке не грех остановиться на ночь.

Собор. Западный портал

Клаудио Монтеверди

Монумент скрипке у вокзала

Главный вход в собор

Скульптура у входа в музей скрипки

Южный портал трансепта

Лоджия собора

Патио музея скрипки

Тут мы и встретили маэстро Монтеверди. Зачинатель оперы сердито смотрел на нас с невысокого постамента, прижимая к груди кипу бумаг – надо полагать, нот. Хотя по взъерошенному выражению лица вполне можно было предположить и долговые расписки, выводившие из себя творца. Сразу было видно, что это «не подарок». Человек сложной судьбы и невиданных страстей. Таково было его время. Его жизнь началась в раскаленную эпоху Ренессанса, а закончилась во время невиданных извивов барокко. Вообще, он как две капли воды походил на моего приятеля, актера и режиссера, постоянного моего собутыльника во времена моего сотрудничества с еврейским театром. Лицо крайне недовольного собой человека. Бронзовый композитор. Написал и ужаснулся – что может быть более нелепым, чем застывший в неизменности образ творца, но искусство умеет преодолевать и не такие трудности, как статическое начало скульптуры. На нас смотрело лицо человека, подверженного житейским порокам. Особенно красноречиво указывал на пагубную страсть пьющий нос. Но сказать, что перед вами заурядный выпивоха, язык бы не повернулся. Декарт, изображенный Франсом Хальсом, если верить великому портретисту, тоже был неравнодушен к вину. А Хальсу можно верить, рука и глаз у него были безошибочны. Да и сам живописец был выпить не дурак. Особенно хорошо получались у него собутыльники, среди которых встречались и очень непростые люди. Писал он своих собратьев по застолью с особой симпатией. Вот и Декарт – умен, ироничен, мог оказаться за одним столом с Монтеверди и Хальсом, и Россини присоединился бы, одна компания. Сдвинули бокалы или кружки, посмеялись, поболтали, опять сдвинули – глядишь, и портрет написан или ария, и особенно ясно становится после третьей бутылки, что человек – это мыслящий тростник.

И я мысленно извинился перед итальянцами за промелькнувшие мысли о несоответствии размеров памятника величию человека и отсутствие пиетета к национальному гению, сказавшееся в трактовке скульптуры. Какая любовь к человеку живет в этом народе, ко всем его проявлениям. И какой насыщенный жизнью образ. И я про себя повторил, не то что повторил, проорал слова Маяковского: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю

всяческую жизнь!». А поскольку я в душе неисправимый бездельник, мне как никому другому понятна вся прелесть жизни Хальса, Монтеверди, Декарта. Великих собутыльников в братстве себе подобных. Их застолье, протянувшееся через столетия, и главное тут – братство, не по гражданству, подданству, не по воинской присяге или принадлежности к определенной корпорации, а по причастности к общечеловеческому братству симпатичных друг другу людей, собравшихся вместе выпить и закусить.

С этими мыслями пришел я в музей скрипки. Там я дивился инструментам, сработанными за столетия легендарными семьями, – это не только Амати, Гварнери и Страдивари, их десятки родов из столетия в столетие фабриковавших это невиданное ни до, ни после них совершенство, просто у всех на слуху самые знаменитые. Придумано прекрасно. Стоишь перед виолиной – фиалкой, как называли ее во времена Монтеверди, – за стеклом, а она поет тебе. Знай переходи от красавицы к красавице, как султан в гареме, и наслаждайся совершенством форм и чувственностью голоса. К сожалению, я не султан – евнух в мире музыки, не дано сжать жадными пальцами гриф с откинутой, готовой к страсти изысканно выточенной головкой, прильнуть щекой к трепещущему лону, не извлечь страстный звук, не польется упоительная мелодия, не извлеку, не дано. Счастлив лишь тем, что могу смотреть и слушать голоса, вызванные к жизни великими виртуозами.

Покидали мы музей с последними посетителями. И только тогда вспомнили, что целый день прожили на чашке кофе, выпитом в Милане. Нам было не до того. Покоренные сюрпризами Кремоны, мы забыли о еде. Вот тебе и маленький городишко. В поисках ресторанчика опять прошли мимо Сердитого Маэстро. Еще раз подивились на недовольное выражение лица создателя жанра. Затем долго стояли перед витриной скрипичной мастерской, смотрели, как молодой парень нехитрым скребком снимал еле видную, подобную пыли стружку с деки, изредка прикладывая ее к металлическим шаблонам и сверяясь с прибором, вероятно, скрипичной модификацией микрометра. В мастерской он был один. За исключением высоты помещения и сводчатого венецианского окна мастерская очень походила на гравюру Александра Кравченко. С потолка свисали скрипки разной степени готовности, а на столах

лежали дощечки с вычерченными контурами деталей скрипок. А парень сидел в глубине интерьера, далекий от соблазнов вечерних развлечений, полностью погруженный в свою погоню за совершенством, и все истончал незатейливым скребком золотистую плоть деки. Я мысленно пожелал ему удачи: может, и сотворит чудо, и запоет новопостроенная скрипка голосом, не уступающим голосам ее классических сестер. И тогда я понял смысл сердитого выражения на лице Монтеверди, человека, недовольного собой в непрестанных поисках совершенства. То, что вызывает восторг сию минуту, через пару мгновений может оказаться пройденным этапом, общим местом, банальностью. Он поднимался, как и всякий творец, к небу, по горящей лестнице, не оглядываясь на уже пройденные ступени; только он переступал с них на следующие, они, отделившись и полыхая огнем, падали в пропасть времен, но он не останавливался, он шел наверх. Это была лестница Якова, постоянно сжигаемая жаждой совершенства.

Он уехал из Кремоны давно. Только в зыбких видениях снов он возвращался сюда, в город своей юности. Его приковала Венеция. Море. Столь изменчивое, оно диктовало невиданные партитуры невиданных опер, и только скрипки – скрипки, что присылали ему в подарок из Кремоны, властно напоминали: ты из племени мастеров. Для таких инструментов грех писать плохо, и он писал. Мы не знаем, как проходил процесс его творчества, писал ли он набело, или без устали переписывал, была ли это работа – вряд ли. Тут скорее можно говорить об образе жизни. Примерно в таком русле текла наша беседа за ужином.

Можно говорить обо всем. Всякое явление достойно повествования, но почему-то о прелести ленивого течения жизни написано не так много. Как я говорил, страсть к безделью у меня в крови, поэтому я как никто могу *прочувствовать* всю прелесть неспешной кремонской жизни. И если взять самых отпетых одесских бездельников, то в искусстве проживать dolce, dolce far niente со мной могут поспорить не многие – тут я бесспорный дока. И с жаром поведал я своему спутнику теорию плодотворности вот такого времяпровождения. Необходимого подножия всяческого искусства. Литровый кувшин вальполичеллы мы допили и принялись за второй. Над нами мерцали звезды, а мы все говорили

о счастье искреннего высказыванья… да что высказыванья – проявления произведения в ходе такого не мотивированного ничем, кроме безделья, творчества. Только так, чтобы занять себя, чтобы скучно не было, можно поставить задачу создать чудо-скрипку, а когда это получилось, прибавить: «Во славу Господа». Нарекая их – Дель Джезу.

То, что эта погоня за совершенством растянется на всю жизнь, станет ясно гораздо позже, и только так через много десятков лет ты поймешь, что ты сделал и кто ты есть. «Я высек Пиету Ронданини для собственного удовольствия», – написал Микеланджело, как говорят дети, просто так, – а это был последний год жизни мастера.

Не знаю, как мой друг, но я твердо проникся мыслью, что сколь бы невероятно сложна ни была поставленная задача, *одним* трудом ее не решить. Полюбите свое дело – и вам никогда не придется работать.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Публикации

302 **Алена Яворская**
«Какой-то поэт однажды сказал…»

314 **Евгений Голубовский. Евгений Деменок**
Михаил Кольцов
316 **Михаил Кольцов**
Красный Китеж
Троцкий

322 Аркадий Штейнберг – знакомый и незнакомый
Публикация Вадима Перельмутера

Алена Яворская

«Какой-то поэт однажды сказал…»

Иван Бунин и Анатолий Фиолетов

27 ноября 1918 около 4-х часов дня выстрелом в упор был убит инспектор уголовно-розыскного отделения, студент 4-го курса Натан Шор, двадцати двух лет от роду. Он погиб, «выслеживая на «Толчке» важного преступника».

Казалось бы, что общего между милиционером и писателем? Между Натаном Шором и Иваном Буниным?

Анатолий Фиолетов (Натан Шор). 1916

21 апреля 1919 Иван Бунин записал в дневнике.

«Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, – тягостная, тревожащая

душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового», тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели – любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей – все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой – чувство легкости, молодости. И наряду с этим – какая тоска, какая боль!

Анатолий Фиолетов. 1900-е гг.

<…> Пишу при светильнике, – масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься – так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, – идейно – и убитого большевиками! – Да, мы теперь лошади очень простого звания».

Бунин ошибся – студент уголовного розыска Натан Шор поступил в уголовный розыск еще весной 1917, после Февральской революции, и убит был не большевиками, а бандитами.

Впрочем, поэта Анатолия Фиолетова Бунин впервые узнал еще в 1916. А появился поэт Фиолетов на свет двумя годами ранее, в 1914.

Именно в начале 1914 два друга – гимназист Натан Шор и реалист Эдуард Дзюбин – разыграли два цвета – фиолетовый и багровый. И появились два поэта – Фиолетов и Багрицкий. Сводная сестра, Эльза Рапопорт, писала о брате: «…поэт, взявший псевдоним Анатолий Фиолетов. Он был очень нежный и тихий мальчик. Писал инфантильные стихи».

В июне 1914 поэт Фиолетов выступал на организованном Петром Пильским и Александром Биском вечере молодых поэтов. В газетах писали: «Главная заслуга вечера, что он показал публике двух молодых, еще нигде не печатавшихся, но, безусловно имеющих право на внимание поэтов – гг. Багрицкого и Фиолетова».

Участник того же вечера, Валентин Катаев, писал в воспоминаниях: «Петр Пильский открыл прекрасный способ зарабатывать деньги. Он выбрал группу «молодых поэтов» и возил нас все лето по увеселительным садам и дачным театрам, по всем этим одесским ланжеронам, фонтанам и лиманам, где мы, неуклюже переодетые в штатские костюмы с чужого плеча, нараспев читали свои стихи изнемогающим от скуки дачникам.

Сам же Пильский, циничный, пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве, отчаянно перевирая не только названия наших произведений, но даже фамилии наши. Денег он нам, разумеется, не платил, а выдавал только на трамвай, и то не всегда».

В действительности молодые поэты выступали не только на «фонтанах и лиманах», и не только в 1914.

26 апреля 1916 в Литературно-артистическом клубе состоялся седьмой вечер молодых поэтов. Правда, из семи выступавших молодыми можно было назвать лишь Багрицкого, Исидора Бобовича и Фиолетова. Остальные были как минимум лет на десять старше и уже имели определенное имя. Вступительное слово о современной поэзии произнес Габриэль Гершенкройн.

Анатолий Фиолетов, Эдуард Багрицкий, Габриэль Гершенкройн. 1917

Из отчета Литературно-артистического клуба:

«Авторами были прочитаны свои произведения.

Э. Багрицкий – «Дионис», «В пути», «Рудокоп».

И. Бобович – «Гомер», «Филоктет», «Искатели жемчуга».

А. Горностаев – «Вчера рояль стоял не замкнут», «Глубоким утром», «Сыр-Бор».

В. Инбер – «Рай», «Небо стало меньше и уютней».

С. Кесельман – «Рыбачья песня», «Праздник», «Андерсен».

П. Сторицын – «Успокоение», «О Польше», «Из цикла «Памятники».

А. Фиолетов – «Щелкунчик и мышиный князь», «Художник и лошадь».

Этот вечер посетил проездом через Одессу поэт И.А. Бунин».

Наверное, именно тогда Иван Алексеевич впервые услышал стихи молодого поэта.

Щелкунчик и мышиный князь

Щелкунчик в нарядном лиловом камзоле
На елке подарен был маленькой Оле.
Щелкунчика взоры горели отвагой,
И он, опоясанный тонкою шпагой,
В лихой треуголке, с косичкой немецкой,
Пленил окончательно кукол из детской.
Случалось, колол он зубами орешки,
И куклы, конечно, всерьез, без насмешки,
Шептали друг другу восторженным тоном:
«Как много в нем общего с древним Самсоном!»
Однажды Щелкун волновался безмерно,
Увидев, что мыши в тулупчиках скверных
По детской средь ночи нахально шныряют
И куколок спящих пребольно кусают.
Тогда из гусар в панталончиках красных,
А также китайцев, ужасно моргавших
Косыми глазами, он выбрал наилучших,
И с доблестной ратью вояк столь могучих
Щелкун, не боясь мышей ни на йоту,
К ним в стан посылает военную ноту.
Едва только куклы об этом узнали,
Их красные щеки от слез полиняли.
Одна из них с именем нежным: Агата,
Прижавши Щелкунчика к персям из ваты,
Воскликнула: «Ах, у меня сердцебьенье!»
И тотчас лишилася чувств от волненья.
Щелкунчик снял пояс с девичьего стана,
Сказав: «Я в бою забывать не устану
Агату, мою дорогую подругу,
И сим пояском повяжу себе руку».
Затем он отправился в бой… И, конечно,
С мышами сражался вполне безупречно.
Солдаты из пушек горохом стреляли,
Трусливые мыши метались, пищали,
И вскоре, услышав, что князь их в порфире,

Захваченный в плен, умоляет о мире, –
Постыдно покинули поле сраженья,
Тем самым признавши свое пораженье.
Щелкунчик отпраздновал шумно победу,
Мышиного князя зажарив к обеду,
За то, что захваченный ловко в охапку,
Щелкунчика нос изувечил он лапкой.
Щелкунчик, понятно, краснел и стыдился,
Но вскоре с изъяном своим примирился
И с доброй Агатою зажил счастливо,
Хоть нос и синел, как французская слива…

Художник и лошадь

Есть нежное преданье на Нипоне
О маленькой лошадке, вроде пони,
И добром живописце Канаоко,
Который на дощечках, крытых лаком,
Изображал священного микадо
В различных положеньях и нарядах.
Лошадка жадная в ненастный день пробралась
На поле влажное и рисом наслаждалась.
Заметив дерзкую, в отчаяньи великом
Погнались пахари за нею с громким криком.
Вся в пене белой и вздыхая очень тяжко,
К садку художника примчалась вмиг бедняжка.
А он срисовывал прилежно вид окрестный
С отменной точностью, для живописца лестной.
Его увидевши, заплакала лошадка:
«Художник вежливый, ты дай приют мне краткий,
За мною гонятся угрюмые крестьяне,
Они побьют меня, я знаю уж заране…»
Подумав, Канаоко добродушный
Лошадке молвил голосом радушным:
«О бедная, войди в рисунок тихий,
Там рис растет, там можно прыгать лихо…»

И лошадь робко спряталась в картине,
Где кроется, есть слухи, и поныне.

Об этой встрече не осталось никаких записей – ни у Бунина, ни у Веры Муромцевой.

Петр Сторицын, выступавший на вечере, финансировал издание альманахов, в которых печатались стихи Фиолетова. Сторицын активно рекламировал альманахи и щедро дарил всем литераторам. Подарил ли он Бунину, трудно сказать.

Но в любом случае после бегства в Одессу летом 1918 Бунин не мог не услышать о Фиолетове, хотя бы от Валентина Катаева, часто у него бывавшего. В записях Веры Николаевны подробное описание встречи с Катаевым, примерно через месяц после приезда Буниных в Одессу:

«30 июня / 13 июля.

<…> Пришел Катаев. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть со словами: «Секретов нет, можем здесь говорить». Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала.

После нескольких незначущих фраз Катаев спросил:

– Вы прочли мои рассказы?

– Да, я прочел только два, «А квадрат плюс Б квадрат» и «Земляк», а больше читать не стал, – сказал с улыбкой Ян, – так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант, – это я говорю очень редко, и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались. <…>

Я искоса посматриваю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом».

И Катаев, и Фиолетов (несмотря на службу в уголовном сыске), выступали на вечерах «Студенческого Литературно-художественного кружка». И, возможно, тогда же, Бунин прочел или услышал одно из самых цитируемых стихотворений Фиолетова «О лошадях».

О лошадях

1

На улицы спустился вечер зябкий
И горестно мерцал в овальных лужах.
Сновали исполнительно лошадки,
Стараясь заслужить, как можно лучше,
Физическим трудом свой скромный ужин.
Уныло падал дождь, сочась из тучи,
И лошади, зевавшие украдкой,
Шептали про себя: «Как будет сладко,
Домой часов в двенадцать воротившись,
Овес сначала скушать, утомившись,
Затем уснуть, к коллеге прислонившись...»

2

О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

А в ноябре Анатолий Фиолетов (Натан Шор) был убит. В записях Буниных нет упоминаний об этой гибели. Как нет и упоминаний о состоявшемся 4 декабря заседании кружка «Среды».

Об этом кружке стоит сказать несколько слов. В Литературно-артистическом обществе, продолжавшем действовать все время Гражданской войны, литераторы оказались в меньшинстве. Остроумный выход из положения нашел Натан Инбер. Александр Биск вспоминал: «Инбер подал своим единомышленникам идею: устроить государство в государстве. Так образовался литературный кружок «Среда», просуществовавший примерно с конца 1917 года до самой смерти Литературки, последовавшей в январе 1920 года… Наши лозунги были: уйти в подполье, спасаться от адвокатского красноречия, которым были полны общие собрания Литературки.

<…> Мы действительно ушли в подполье, нам был предоставлен подвальный этаж с отоплением, освещением, прислугой, канцелярскими принадлежностями и т. д. Все это было, конечно,

не вполне законно, т. к. не было статута, на основании которого часть членов общества могла забаррикадироваться в помещении, принадлежащем всему обществу. И, однако, это произошло, и я даже не помню протестов по поводу этой узурпации прав остальных членов общества.

Председателя в «Среде» не было, мы учредили Исполнительное бюро из четырех лиц: Ната Инбера, Габриэля Гершенкройна, меня и Алексея Толстого. Я упоминаю Толстого на последнем месте, ибо его участие было чисто номинальное, вся работа лежала на нас троих. Наше трио составило список будущих членов «Среды». Фильтровка была, в смысле строгости, совершенно фантастическая. Мне просто стыдно вспомнить сегодня некоторые имена тех, кого мы забаллотировали. Достаточно сказать, что количество членов «Среды» никогда не превышало сорока. Каждый член «Среды» имел право ввести на собрание не более двух гостей. Это соблюдалось с необычайной строгостью, поэтому собрание никак не могло насчитывать более 120 человек. Можете себе представить, какой бум поднялся в Одессе, падкой на всякую сенсацию. Люди, которые никогда не интересовались никакими лекциями, разбивали мой телефон, чтобы попасть на собрание «Среды»; публика толпилась у входа в чаянии попасть на Собрание, но напрасно: мы были неумолимы. Мы хотели замкнуться в себе, уйти в чистую литературу: читать свои произведения, разбирать их, без краснобайства, косноязычно, но добираться до истины».

7 декабря «Одесские новости» сообщили об очередном собрании литературного кружка «Среда»: «Состоявшееся в среду 4 декабря собрание кружка «Среда» было особенно многолюдным. Кружок посетили и многие приезжие литераторы, как И.А. Бунин, граф А.Н. Толстой и др.

Председательствовавший А.А. Биск сделал краткое сообщение о трагически погибшем поэте Анатолии Фиолетове и прочел несколько его стихотворений. Память Фиолетова была почтена вставанием».

Александр Биск, который был одним из организаторов первого вечера «молодых поэтов», эмигрировал с женой и маленьким сыном Анатолием. Анатолий Биск стал Аленом Боске, француз-

ским поэтом, и отец писал в посвященной сыну книге: «Судьба устроила так, что ты, французский поэт, и я, русский поэт, пишем на разных языках: не единственный ли это случай в мировой литературе, оказавшийся возможным в злосчастную первую половину двадцатого века?».

В злосчастной первой половине не счесть тех, кто оказался в эмиграции. Тяжелый путь для большинства начинался из Одессы, из города, который казался последней надеждой на нормальную жизнь, а оказался последним городом родины.

Вера Николаевна записала 20 декабря 1918-го: «У нас был Сергей Яблоновский. <…> Он бежал из Москвы, т. к. был приговорен к расстрелу». Сергей Яблоновский – это Сергей Викторович Потресов, известный журналист, театральный и литературный критик. По семейным легендам, участвовал в заговоре в Екатеринбурге с целью освобождения Николая II, за что и был приговорен к расстрелу.

У Яблоновского и Бунина много совпадений в биографии. Оба из старых дворянских семей, родились в один год: Бунин – 10 октября в Воронеже, Потресов – 15 ноября в Харькове. Эмигрировали оба в начале 1920-го: Бунин из Одессы, Яблоновский – из Новороссийска. Умерли в Париже в 1953-м: Бунин – 8 ноября, Яблоновский – 6 декабря.

Отношения их, вначале дружеские, в последние годы жизни стали непростыми. Впрочем, речь не об этом.

К осени 1920-го Бунины уже добрались до Парижа, а Яблоновский оказался в Египте. Оттуда он пишет Бунину:

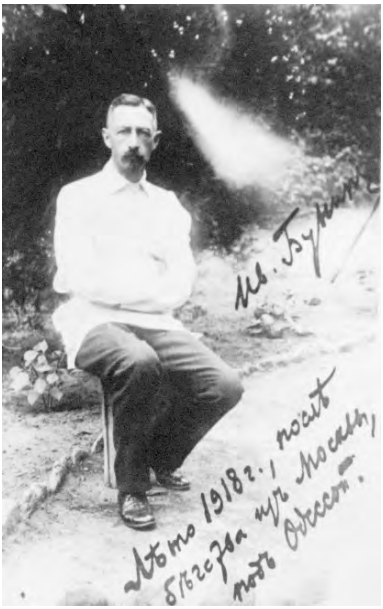
5/X.[19]20.

Дорогой Иван Алексеевич,

говорит с Вами Сергей Викторович Яблоновский, а Вы ради Бога слушайте внимательно, потому что это не столько письмо, сколько крик почти захлебнувшегося человека.

Живу я с марта в пустыне, в палатке, за колючей проволокой <…> Жену и четверых детей должен был бросить в Ростове без денег и в условиях, при мысли о которых ужасно хочется повеситься.

Написал я отсюда в Париж Алексею Николаевичу Толстому, прося вызволить меня из пустыни, и получил в ответ гораздо больше, чем ожидал: Толстой сообщил, что мне высланы деньги на дорогу



И. Бунин. Одесса. 1918

в Париж, что он постарается подыскать мне работу и что его знакомый, Р.А. Кривицкий, хлопочет перед французским министром иностранных дел о разрешении мне въезда во Францию. Затем я получил и деньги, и разрешение; ликовал, готовился к отъезду, но вдруг пришел из Парижа контрордер, отменяющий уже данное разрешение. Это было бы совершенно непонятно, так как ни в моей литературной, ни в политической, ни в какой иной жизни нет для этого данных, если бы не более чем веское предположение, что из Тель-эль-Кебира дали обо мне в Париж дурной отзыв. <…> Я написал графу Толстому в начале августа, потом в начале сентября, прося выяснить это, – но мои письма точно падают в яму – никакого ответа. Писал я и Кривицкому, но с тем же успехом.

Между тем и раньше плохие условия нашей жизни ухудшаются с каждым днем: все лучшее разъехалось, так или иначе устроившись; сейчас многие отсылаются в Крым (завтра едут с «Херсоном»). Все пустеет и пустеет наш камп. Начинаются холодные ночи, скоро наступит период дождей, и жить в палатке для меня, бронхитика и эмфизематика, станет опасно. Физической работы найти я не могу: в ноябре мне 50 лет, и у меня больная рука. В зависимости от международного положения и англо-египетских дел положение русских беженцев может сделаться совсем печальным.

Иван Алексеевич, у Вас как у художника яркое воображение. Попробуйте вообразить, до чего я стосковался без книг, без газет, без всех условий культурной жизни. Если бы жил не в полотняном конусе, давно бы разбил себе голову об стену. Ради Бога

сделайте для меня, что можно сделать. Если Толстой в Париже, узнайте у него, – что, как и почему. Повторяю, я вою шакалом (которые соревнуются со мною) и, кажется, больше месяца такой жизни не выдержу.

Жду Вашего ответа, как ждут помощи тонущие на корабле. Верьте, повторяю, что это не слова, что я дошел до точки.

Супруге привет. <…>

P. S. Помните, родной, что паспортная моя фамилия, на которую надо брать permis, – Потресов.

Еще раз – выручайте!

Крепко жму руку.

Ваш Сергей Яблоновский»

15 ноября 1920-го, в день своего пятидесятилетия, Яблоновский покидает Египет.

12 июля 1921 года Бунин пишет в альбоме Яблоновского:

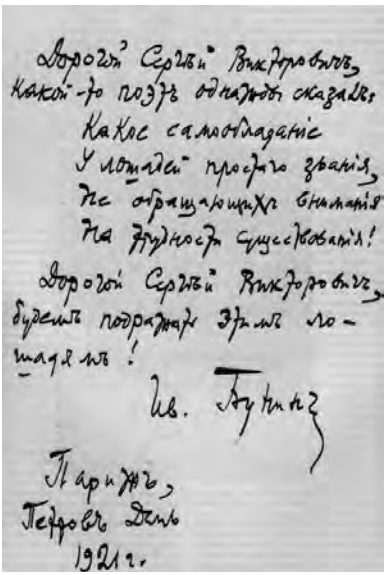
«Дорогой Сергей Викторович, какой-то поэт однажды сказал

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования.

Дорогой Сергей Викторович, будем подражать этим лошадям!

Ив. Бунин

Париж, Петров день, 1921»


Дорогой Сергей Викторович,
какой-то поэт однажды сказал:
Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающихъ вниманія
На трудности существованія!
Дорогой Сергей Викторовичъ,
будемъ подражать этимъ ло-
шадямъ!
Ив. Бунинъ
Парижъ,
Петровъ день
1921 г.

И это последнее известное упоминание Иваном Буниным стихов Фиолетова.

Евгений Голубовский. Евгений Деменок

Михаил Кольцов

Михаил Кольцов – одна из самых загадочных фигур советской истории и журналистики. Человек яркого таланта, замечательный организатор, за 20 лет творческой жизни более 2000 фельетонов, он создал 12 журналов, выпустил 20 своих книг и множество книг товарищей по перу.

Родился в Киеве 12 июня 1898 года. В 17 лет уехал в Петроград, поступил в психоневрологический институт. Снимал в городе комнату на троих. Двумя его соседями оказались Исаак Бабель и Ефим Зозуля, так же, как и он, студенты Бехтеревского института.

Зозуля, а он самый старший, 1891 года рождения, уже публиковался в одесской печати, а сейчас завоевывал петроградскую. Это Зозуля, прочитав первые рассказы Бабеля, отнес их Максиму Горькому. Мэтру рассказы понравились, и он их опубликовал. А Михаил Кольцов по примеру сокурсников начал писать заметки, брать интервью в студенческой прессе.

Уже в 1917 году Михаил Кольцов становится заметен. Ему дает пространное интервью Александр Керенский. С ним рассуждает о роли театров Анатолий Луначарский. И в 1918 году нарком Луначарский дает 20-летнему Кольцову рекомендацию в члены ВКП(б). Но недолго музыка играла. В том же 1918 году Михаил Кольцов публикует в «Киногазете» открытое письмо, заявляя о выходе из ВКП(б), так как партия насаждает единомыслие. И уезжает в родной Киев.

А в Киеве меняются власти. Скоропадский. Петлюра. Большевики. Кольцов печатается в беспартийной газете «Куранты», начинает собирать статьи в книги. Результатом поездки в Киев стала его первая книга «Петлюровщина». И ряд статей, которых ему никогда не забудут. В том числе статья о Л.Д. Троцком.

Но с начала 1920 года Михаил Кольцов уже в Одессе. Всего полгода он пробыл в нашем городе, возглавляя ЮгРОСТА, но как много успел… Организовал плакатную мастерскую для «Окон ЮгРОСТА», куда пригласил всех авангардных художников Одессы.

Создал два журнала, «Лава» и «Облава», пригласив в них редактором поэта-акмеиста Владимира Нарбута.

Ежедневно писал статьи в одесской прессе.

Но, как выяснилось впоследствии, самым важным его делом в Одессе весной 1920 года стала простенькая записка – он пишет рекомендацию Исааку Бабелю в Первую Конную армию. Теперь уже не Бабель, а Кирилл Васильевич Лютов уехал из Одессы как военный корреспондент ЮгРОСТА.

Предполагал ли Кольцов, что стоит у истоков «Конармии» Бабеля? Скорее всего, чувствовал. Как когда-то в Петрограде, прочитав первые рассказы Бабеля, пил с Ефимом Зозулей за новую звезду русской литературы.

В 1921 году М. Кольцов снова в Москве. Он возрождает «Огонек», создает «Крокодил», «Смехач», издательство «Земля и фабрика» (ЗиФ), журнал «За рубежом».

Ежедневные фельетоны в «Правде».

Но вернемся к связям с Одессой. В 1926 году Кольцов задумывает, а с января 1927 года выпускает на страницах «Огонька» роман-буриме, который написан 26-ю писателями. Первую главу написал Александр Грин, назвав ее «Большие пожары». Это стало названием романа, главы в котором писали Алексей Толстой и Вера Инбер, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко, Исаак Бабель и Ефим Зозуля… Редактировал, сводил концы, а последнюю главу, показав талант беллетриста, написал сам Михаил Кольцов. Курировал процесс одесский друг Кольцова редактор «Огонька» Ефим Зозуля. Даже медлительного Бабеля заставил за неделю написать очередную главу.

А потом – звездный час Кольцова. Всю эпопею Гражданской войны он проводит в Испании среди интербригадовцев, и как корреспондент «Правды» (это официально), и как личный представитель Сталина (это по сути заданий). Его репортажи составят три тома и станут бестселлерами. О Кольцове в Испании писали Э. Хемингуэй, А. Мальро, И. Эренбург.

Но в конце 1938 года Сталин отзывает Кольцова в Москву. Заслушивает его доклад. И, как будто шутя, спрашивает, есть ли у товарища Мигеля личное оружие. Естественно, есть. «Но ведь вы не собираетесь

кончать жизнь самоубийством», – смеется Сталин. И дает задание прочесть на общем собрании писателей Москвы доклад о новой конституции. «Никто лучше вас этого не сделает».

Кольцов не кончил жизнь самоубийством. Он с триумфом прочел доклад. Поздно вечером вернулся в «Правду». За ним в его кабинет в «Правде» пришли чекисты. Два года на Лубянке. Два года пыток с требованием признаться, что он немецкий шпион. И расстрел 2 февраля 1940 года.

Одним из первых реабилитированных после смерти Сталина был Михаил Кольцов.

Его книги издаются и переиздаются. А вот про фельетон о Льве Троцком, опубликованный в киевском журнале «Куранты» в 1918 году, вроде бы забыли.

Может, самое время напомнить…

Михаил Кольцов

Красный Китеж

Троцкий

I

У Намюра тяжело ухают пушки. Валлония и Фландрия распростерты в пыли и крови. Воины Бельгии, Тили Уленшпигли двадцатого столетия, в серых кепи и с вещевыми мешками устало отодвигаются вглубь к Антверпену. Париж молчит, осенние деревья в Венсенском парке тяжело шумят. В Café de la Paix – грохот выстрела и падающего тела. Это Жан Жорес склонился простреленной широкой старой грудью на мраморный столик. Первый и последний пацифист великой войны.

На бульварах жутко громят немецкие магазины. В палате жужжит оппозиция. Иностранные корреспонденты покупают у уличных Гаврошей ворохи вечерних газет и шлют длинные срочные телеграммы.

Русские журналисты тоже мобилизованы. Длинные, тоскливые, как изгнание евреев из Иерусалима, эмигрантские споры стали жарче и мучительнее. Свободное от споров, митингов и политических резолюций время все взрослое население русской ко-

лонии в Париже тратит на писание корреспонденций и впечатлений. Горы впечатлений! Дождь из впечатлений! Заказные пакеты везут впечатления парижских изгоев в русские газеты.

Лучше всех впечатления у Антида Ото. Умнее всех статьи у Антида Ото. Содержательнее всех корреспонденции у Антида Ото. Они растекаются широкими и красноречивыми фельетонами на столбцах «Киевской мысли» и «Одесских новостей». Читатели от Могилева до Евпатории зачитываются Антидом Ото. Они видят наяву, в пестрых и ловко сделанных картинах, в умелых характеристиках и сравнениях всю великую борьбу на Западе. Они ясно представляют себе, как кипит портовая жизнь в Марселе, как умирают люди на Марне, как волки когтят в горах альпийских стрелков, как маршируют по французским улицам колониальные войска.

А сам Антид Ото в это время колесит по всей Франции, перескакивает с поезда на поезд. Для своей газеты он повсюду успевает побывать – этот быстрый и обходительный журналист с парламентской бородкой и ловкими движениями. В Булони и в Кале, во Фландрии и в Вогезах, на артиллерийских заводах и в мастерских для искусственных носов. Антид Ото предприимчив и наблюдателен.

Вот госпиталь в великосветском отеле на Елисейских Полях. Антид Ото следит за тем, как «аристократка, дочь генерала республиканской гвардии, величественная блондинка г-жа Н., не дрогнув, выполняет самые щекотливые обязанности инфимьерки, делает солдатам желудочные промывания и, держа в руке сосуд, сохраняет grand air de dignité, точно героиня классической трагедии Расина». Ему нравится и профессиональная сиделка – Леони, корсиканка, очень красивая мужественной красотой. «Надеть ей на голову фригийский колпак, и она могла бы быть образом республики»…

А вот «молодой араб, которого вначале сильно лихорадило, и к нему на ночь посадили наедине одну из великосветских сестер. На другое утро она решительно отказалась продолжать этот опыт. Пришлось посадить англичанина-санитара, бывшего циркового атлета, а предприимчивому арабу тубиб (врачиха) погрозила пальцем»…

А вот красивое пятно. «Смуглые головы в тюрбанах торчат изо всех окон и дверей. Форма хаки ярче подчеркивает экзотический тип азиатских солдат, призванных спасать французское побережье от немецкого нашествия»…

А вот англичане у Булони. «Почти из-под каждого синего зонтика наряду с фигурой торговки торчат спина и две крепкие ноги цвета хаки. Вдоль колючей проволоки раздается возбужденное взвизгивание. Несколько десятков шагов по шоссе, и я убеждаюсь, что Булонь выслала на эти передовые позиции цвет своего женского сословия. Но, с другой стороны, и англо-саксонская раса представлена здесь как нельзя лучше. Ни следа так называемой английской флегматичности»…

А вот те же англичане играют в футбол: «Англичане мигом сделали стойку и вонзились глазами в мяч. Р-ррраз! Капрал хватил по мячу носком»…

– Р-ррраз! – кричит и Антид Ото за футболистами. Ему нравится спорт, спортсмены и спорт на войне. Передавая панегирическую биографию сэра Джона Дентона Пинкстона Френча, «члена знаменитой семьи графства Гальвей, провинции Коннаут», он с увлечением рассказывает, как Френч под бурскими снарядами, не моргнув глазом, рассуждал с военным корреспондентом о плохом освещении, мешавшем делать фотографические снимки. В этой кокетливой генеральской браваде Антид Ото видит «военачальника, скрывающегося за лихим спортсменом, за смельчаком, верящим в свою звезду».

Острое, красивое нравится ему. Он тоскует по интересным жестам и значительным фразам. Он чопорно приподнимает плюшевую эмигрантскую шляпу перед постелью старого капитана, который, умирая, посылает на смерть и двух своих сыновей, но гораздо больше нравится ему маршал Жоффр, который «прибыл домой на Рождество в штатском платье, простой, как всегда. Никто не скажет, что в его руках судьба Франции. Но зато он помолодел на 10 лет, уверяю вас»…

Его тоскливому, неуемному, как сухая губка, честолюбию, которое порой палящим жаром прет из строки, нужны новые атрибуты. Останавливаясь где-то на биографии Гаврилы Принципа, застрелившего Фердинанда Австрийского, он полу-

презрительно замечает, что эпоха «пистолетных героев» уходит в прошлое.

Ему нужен крепкий двенадцатидюймовый железобетонный героизм. И он ждет этого, путешествующий фельетонист с беспокойной бородкой.

II

На белой дубовой двери – старая круглая жестянка: «Классная дама». И новенький, наскоро состряпанный плакат: «Комиссариат военных дел П.Т.К.».

Где прежняя жиличка высокой строгой комнаты с целомудренно выбеленными стенами и широкими окнами на Неву? Уехала вместе со своими питомицами в Новочеркасск или где-нибудь в Елабуге отдыхает от петроградских ужасов и страстей?

Новые люди в Смольном.

У стены, подле входа в «военный комиссариат» – тесное кольцо солдат, матросов, штатских. Лица у всех – безучастные, окаменевшие, серые от усталости и бессонницы. Но глазами все едят комиссара по военным делам.

Народному комиссару – не впервые. Он привык выдерживать взгляд толпы. А как должно быть трудно выдерживать его на себе – благоговейный и испытующий, молящий и недоверчивый взгляд!

Троцкий привык. Он и сам каждую минуту в наступлении. Неторопливо шевелит тонкими губами и одновременно пощупывает глазами лица собеседников. Тайный вызов: Верите? Боитесь?

Солдатам Троцкий чужд, нов и интересен. Таких они еще не видали. Подвойские и Мураловы, Зорины и Дыбенки – все свои, понятные, взнесенные на высоту стихийной красной волной, выброшенные из недр революции, из ее кроваво-огненного нутра. Лениных и Бонч-Бруевичей они тоже знают – многоречивые интеллигенты, «учителя» в спинжаках давно ходят в народ и плохо ли, хорошо ли – знакомы с ним. Такие, как Троцкий, еще не являлись…

Он пришел извне, снаружи. Пришел к революции, а не вышел из нее. Не русский и не иностранец. Как будто еврей, но нет – кажется, не еврей.

Со своего лица, резко семитического, он смел все национальное, все личное, свое. В умных злых еврейских глазах поселил пустоту. От курчавой бородки оставил только один мефистофельский клок – старый знак международных авантюристов.

Он космополит. Он играет в общечеловечность. В этом его выигрыш. Русским людям чужд интернационализм. Во всей русской литературе нет ни одного героя-интернационалиста. И десятки космополитов – людей без отечества.

Солдаты свергли Николая, своего знакомого. Свергли Керенского, своего. А поставили себе – чужого интернационального человека с пустыми глазами и трагическим клочком на подбородке.

Они любят Троцкого. И его глаза. И его голос – пронзительный, скрипучий, скребущий гвоздем по стеклу.

Когда Троцкий говорит, это вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Это Анатэма, пришедший мириться с людьми. Что он им, умный, отважно-находчивый еврей, этим славянам, неожиданно сырым, лесным, скифам?

Чужое – дорого. Они верят Троцкому. Он им нужен. Он даст хлеб и мир.

…Солдаты не читали статей и фельетонов Троцкого, они не знают, что Троцкий обманул их.

Что он не всечеловеческий, а свой, из Бахмута или Елизаветграда. Что он не вулкан, а хороший фельетонист. Они не знают Троцкого – газетного, сначала умеренно-пылкого автора «Писем» в меньшевистской «Искре». Потом изящного, речистого, с хорошими манерами Антида Ото из «Киевской мысли» и «Одесских новостей». Того, который был удобен и портативен. И свободно укладывался в нижний фельетон «Киевской мысли». Который не старался дышать лавой, а был очень мил и разговорчив, и не было у него в глазах вселенской пустоты, этого веселого Троцкого-фельетониста.

Вообще, они разнятся характером. Троцкий-революционер и Троцкий-фельетонист. Иногда они даже мешают друг другу.

Бывает, что Троцкий-фельетонист нескромен в отношении Троцкого-революционера.

Недавно в «Известиях» Троцкий гневно осуждал и упрекал всех тех, кто «не хочет уйти в историю» с трагической печатью

Робеспьера. Это не по-товарищески. Если Троцкий-революционер жаждет «трагической печати Робеспьера», то зачем Троцкому-фельетонисту об этом разбалтывать?

Ведь от Троцкого-революционера ждали не трагической печати, а мира и хлеба.

К 110-летию замечательного поэта и художника, одессита Аркадия Штейнберга

Аркадий Штейнберг – знакомый и незнакомый

Эдик Штейнберг об отце

Восемь лет назад в Москве ко мне обратились телевизионщики – с просьбой помочь им сделать документальный фильм про Аркадия Штейнберга. Планы у них были наполеоновские, вплоть до поездки съемочной группы в Париж – для интервью с сыном поэта. Договорились, в частности, что если у меня будет возможность на несколько дней выбраться туда, к ним присоединюсь и приму участие в этой беседе. Вскоре, однако, выяснилось, что денег на поездку они не получили, но от замысла фильма отказываться не собираются. Договорились, что когда буду в Париже, прихвачу с собою камеру и поговорю перед нею с Эдиком, даже любительская съемка, заверили, их устроит.

Беседа эта произошла в январе 2010 года в парижской квартире (она же – мастерская) Эдика на улице Кампань-Премьер, в сотне шагов от углового (с бульваром Распай) дома, где некогда жили

Юрий Анненков и Зинаида Серебрякова, и в полусотне от отеля «Istria», в котором бывали Рильке, Тцара, Маяковский, а Эльза Триоле дожидалась – и дождалась – своего будущего мужа Луи Арагона.

Мое операторское любительство, по счастью, не понадобилось: нашу беседу об Аркадии Акимовиче отснял сосед и приятель Эдика и его жены Гали, профессиональный французский кинодокументалист Жюль Бастианелли.

Телевизионный фильм в итоге так и не состоялся. А наша беседа – вот она. Я не пытался отредактировать ее, придать ей вид профессионально-журналистского интервью, каковым она никоим образом не являлась. Лишь убрал кое-где обыкновенно и естественно тормозящие на поворотах живой диалог запинки и повторы да выправил несколько проскользнувших мелких неточностей.

Вадим Перельмутер

В. П.: – Меня всегда особо занимало: ты ведь рос, вырастал без отца, встретились вы довольно поздно, ты уже был почти взрослым, классе в девятом-десятом. Мне интересны первые впечатления от этого знакомства, как оно состоялось, как происходило сближение отца и сына. По ощущению, по воспоминаниям.

Э. Ш.: – Могу только сказать, что первая встреча была во время войны. Мне было лет шесть. Он приехал всего дня на три. Носился по комнате, по квартире, привез кучу книг, причем на немецком языке, кстати сказать, его за эти книги потом и посадили… Это была даже не встреча, скорее, как бы назвать, детский миракль, видение… Вторая встреча – уже когда он вернулся из лагеря, но почти сразу уехал обратно, в Ухту…

В. П.: – Это был пятьдесят второй, когда освободили. И уехал он туда, где сидел, только вольнонаемным. Говорил мне, что так было безопасней, меньше шансов загреметь на третий срок.

Э. Ш.: – Ну, да, ему нельзя было оставаться в Москве – поражение в правах. А в Тарусу он воротился окончательно два года спустя, когда Сталин помер, и это стало не так рискованно, хотя «101-й километр» еще не отменили. И вот эта встреча, конечно, была для меня очень знаменательной. Ну, во-первых, я отца просто

не помнил и не знал. Спрашивал: «Где папа?» – и мама очень нервничала, что-то говорила о войне, уклонялась, в общем, от ответа. Ну, и в школе этот вопрос возникал. И мама опять-таки говорила мне всякие уклончивые вещи. Она понимала, что стыдно было говорить, что он сидел. Хотя стыдиться было нечего. Тогда вся страна сидела… Ну, вот, он приехал. И начал смотреть свои вещи, которые оставил, прикоснулся ко времени, когда был свободен. Хотя в тридцать седьмом его тоже посадили…

В. П.: – Тебе сколько месяцев было, когда его посадили?

Э. Ш.: – Ну, как – сколько? Месяца два-три, наверно (на самом деле – девять. – **В. П.**). У меня даже рисунок отцовский есть, мой, так сказать, портрет тогдашний, висит в Москве на стене… Ну, и после этого он… Мы ведь были отчуждены – и ГУЛАГом, и временем, и войной. И не без конфликтов было в семье – между родителями, между дедушками и бабушками, родителями отца и матерью, которая двоих сыновей растила, воспитывала, зарабатывала копейки. Мы с Борькой были, можно сказать, Гаврошами, учились плохо…

Когда он совсем уже вернулся, начал однажды листать-рассматривать свои рисунки. И увидел какой-то рисунок, и говорит: «Слушай, а это я не рисовал». А это я нарисовал – копию с Жака Калло. Я сделал этот рисунок с папиного, с папиной копии. Он сказал: «Голубчик, да ты лучше меня работаешь!». Для меня это был высший комплимент. Думаю, что я впервые поверил в свои силы именно тогда.

Ушел из школы в вечернюю, работал на заводе. И у меня, можно сказать, тоже произошел конфликт с государством, сидел два-три месяца. А когда вернулся, мать меня вытащила, он меня так измудохал. Я ему важно сказал: «Мы с тобой теперь – два зека!». Он ответил: «Вот тебе за зека!». Ну, и получил я…

Знаешь, бывают ожоги между личностями…

А как у нас сложилось… Ну, я уж не говорю – генетически, я ему обязан творчески очень сильно. Мы ведь потом в Тарусу уехали. И там других влияний на меня довольно долго не было. Ведь образования, даже среднего, верней, того, что так принято называть, у меня практически не было. Я даже десятилетку не кончил. Но попал в окружение, с одной стороны – папино, а с другой – Бори Свешникова. И влияние папы было огромное.

Вот ты спросил о встрече – чем она для меня была. Знаешь, как наркотик – вколешь себе, и ты наркоман. Вот такая же встреча была у меня с папой – я стал творческий наркоман. Такая это была личность. Его влияние распространялось не только на сына, но и на многих молодых людей, у него был незаурядный дар – одарять. Не знаю, как назвать это. Может быть – творческая отдача другим. Он жил для других, несмотря на то, что эгоцентрист был страшный, так бывает, хотя очень редко. Повторю: я всем ему обязан, всем. И вкусом привитым, и знанием поэзии, которую, конечно, сейчас уже не так знаю, как тогда, не слежу особенно, и в литературу он меня, можно сказать, погрузил, и в философию, и вообще – в жизнь, в настоящую…

Первый раз он мне прочитал Нагорную проповедь. Тоже – начало…

В. П.: – В его переписке этого тарусского периода с матерью твоей то и дело там – твое имя: «Эдик… Эдик… Эдик… Эдик рисует… Эдик так рисует, что надо все сделать, чтобы это не пропало… Эдика нужно то… Эдика нужно се»… Удивительно: он словно заклинание твердит… Я тебя еще не знал, когда с ним познакомился. И в одну из первых встреч он сказал: «Моя самая большая удача – это Эдик». Я, еще когда пятнадцать лет назад начинал готовить однотомник его и письма читал, подумал, что там разворачивается, нет, верней, сквозит сюжет твоей судьбы – тогдашней и будущей. Вот он уезжает в Москву, оставляет тебя и Бориса на попечение Свешникова, возвращается – и пишет, приехал, посмотрел, пишет, что Эдик наваял, пока меня не было, поразительное дело! Это уже вторая половина пятидесятых, когда Штейнберг в Тарусе стал фигурой из самых заметных. Паустовскому помогает дом найти-купить, начинается их дружба, и вокруг них клубятся молодые – художники, поэты, прозаики. Та самая, ныне почти легендарная тарусская жизнь…

Э. Ш.: – Прежде всего, Таруса – это «город сто первого километра». Тут после лагерей и ссылок осело много московской – и не только московской – интеллигенции. А во-вторых, у Тарусы давние культурные традиции. Здесь жил дедушка Цветаевой, родилась ее мать, в детстве Цветаева не раз проводила в Тарусе летние месяцы, вспоминала о том восторженно, побывала в Тарусе

и после возвращения из эмиграции. И другие генетические культурные корни есть у Тарусы. И особенно много тянулось сюда художников. Недаром кто-то назвал Тарусу Русским Барбизоном… Культурная аура тут была замечательная. И я попал в невероятно интеллектуальную среду. Невероятно… Нужно только было это все усвоить. И слава Богу, что я был человек неподготовленный, без стереотипов тогдашнего образования, не испорченный советскими догмами, и воспринимал это все как ребенок. «Будьта как дети», – сказано в Евангелии. Так и было… И отец, и Боря Свешников, и вся эта интеллектуальная среда, можно сказать, заложили то основание, на котором я вырос… Там были диспуты о Маяковском, о Мандельштаме (его жена Надежда Яковлевна жила в Тарусе летом), о Бердяеве, в общем, говорили, о чем не принято было в официальной советчине. Тогда все-таки можно уже было более или менее спокойно про это говорить, потому что сталинский режим кончился. И люди немножко освободились, хотя бы в слове. Ну, и много было неизданного, самиздатского. И Волошина стихи, и Мандельштама. И папа рассказывал всякие истории про Волошина и про Багрицкого, и про Тарковского, и так далее, и тому подобное.

Что касается Константина Георгиевича, он, конечно, с собою тогда привез… То, что он приехал в Тарусу, зажил там, стало событием. Ну, это тогда уже был миф литературный, классик, которого заметил в свое время Бунин. К тому же, он был незаурядно добрый человек. И он привез своих учеников, вечно они у него там клубились, пили, разговаривали, и я среди них, пацан. Все – старше меня, разных возрастов, и я слушал их разговоры этими огромными ушами. Вот какое было на меня влияние. Но папа влиял на всех. И на Паустовского. Он был действительно во главе всего этого движения. Я не знаю, можно ли это назвать «тарусскими страницами», или нет?

В. П.: – Наверно, можно.

Э. Ш.: – Он был, как тебе сказать, ну, негласный генерал.

В. П.: – Это, так сказать, духовная сторона дела. А Штейнберг… Не только художество и не только Таруса. Когда отмечали его шестидесятилетие, Левик читал на вечере в ЦДЛ замечательный поздравительный адрес. Чего там только не было! Яхты, рыбалка,

рукомесло (кстати, любимое его словцо), длинное-большое перечисление разнообразных занятий и достоинств, ну, и – в свободное время – стихи и переводы. Это, понятно, была шутка, но в ней имелась в виду прямо-таки невероятная жадность к любой деятельности. Об этой тарусской стороне дела поговорим?

Э. Ш.: – Ну, все, что сказал Левик, это резонно. Папа, по-моему, больше увлекался пейзажем, вернее, тем, что творится в пейзаже. Рыбалка, яхты, киряние-выпивание, общение с простыми людьми. Интересна разница между простыми людьми и интеллектуалами, не знаю, может, он это из лагеря притащил, привез, но мне кажется, что больше симпатии у него было к простым людям, он с ними контакты находил мгновенно, запросто. Ну, я уж не говорю, что это великолепный был рыбак, он как будто вложил весь свой артистизм в это занятие. А рыбак, по Платону, это «художник из художников»…

(*Тут мне вспомнилось письмо Аркадия Акимовича, написанное шестнадцатилетнему Эдику месяцев через восемь-девять после выхода из лагеря и поселения в Ухте. Штейнберг тогда всерьез задумывал переезд жены и сыновей в Ухту и намеревался обучить Эдика искусству рыбалки – и дал ему подробнейшие наставления о подготовке. Так сказать, материальному обеспечению сего учения. Я не стал перебивать Эдика, отвлекать от темы. Однако теперь не откажу себе в удовольствии привести этот фрагмент: «Между прочим, позаботься о рыболовных принадлежностях, сатурн* (*леска 0,6-1 мм. Здесь и далее примечания мои. –* ***В. П.***) *самый тонкий и средний побольше, крючки самые маленькие, под мушку, затем под мотыля, обычные средние, лески шелковые плетеные, лески волосяные, побольше таких, они очень хороши, поплавки из куги* (*то есть озерного камыша*)*, поплавки перовые. Постарайся раздобыть у дяди Шуры* (*брат жены Штейнберга*) *наше складное удилище. В общем, собирай это добро. Здесь абсолютно ничего нет для рыбной ловли, и чего ты не привезешь, того у нас не будет. Летом у меня 42 дня отпуска, а при возможности – добавлю две недельки за свой счет. Это два месяца. Мы их с тобой используем на сто процентов. Берегись, рыба! Разживемся лодкой и поплывем порке километров за 50-60»… Переезд, к счастью, не состоялся. Учение отложилось – до Тарусы…*)

…Ну, и плюс ко всему – яхта. Что такое яхта? Он сделал первый в Тарусе парус. Построил яхту и стал кататься. В той Тарусе… Это делал какой-то плотник под его руководством. Не так-то просто. И чертежи – тоже под его руководством, был такой хороший мастер-лодочник, Филипп Палыч. Яхта была «ансамбль», и под парусом могла ходить, и под мотором. Мама моя этот парус шила из огромной ткани, двадцать простыней. В один прекрасный день он засадил туда кучу народа. И, конечно, яхта перевернулась. По-моему, на том такое занятие на Оке и кончилось. Слава Богу, что никто не утонул.

Ну, и чувство юмора у него было неотразимое. А еще он был бард. Задолго до расцвета у нас этого жанра. Лагерные песни пел, одесские… Когда он читал стихи, и не только свои, и чужие, это было замечательно артистично. У меня, к сожалению, эти все пленки украли. Ничего не осталось. Возможно, у кого-то есть, хорошо бы найти. Ну, я опять повторяюсь: это был незаурядный человек-синтез, в нем было все…

В. П.: – А в твоем выборе направления, в том, что ты стал в конце концов делать, в твоем *пространстве* есть какая-то его роль? И если есть, то какая?

Э. Ш.: – Ну, начнем с того, что он меня приучил: искусство – это не просто рисование, это нечто абстрактное – это жест, это интеллектуальное сознание, оно очень много значит, и, конечно, сохранение детскости. Он меня приучал работать с натуры и прививал отношение к классике. Например, я очень любил малых голландцев, через его отношение к ним понял их, ну, и английское искусство, пейзажи, в основном. Можно сказать, что я рисовал через этот «указатель» Акимыча. Потом, конечно, стало немножко «контр». Каждый имеет право на свое мнение, и он это право уважал. Меня интересовал авангард, о котором он, кстати, тоже взахлеб говорил. Но он предпочитал Филонова, а не супрематизм. Я думаю, ему это было не очень понятно, хотя он и не отрицал, не отказывал в праве на существование. Он вообще мне ничего не запрещал никогда. Он как-то мне сказал, что Сезанн это «научный сотрудник»… Но философию, историю искусства и все, что с этим связано, я изучал уже без папы. И жизнь как таковую. А выбор был, конечно, от него. Это – жест и прививка честности по отношению к себе, по отношению к культуре.

Он очень много говорил о девятнадцатом веке. Это был серьезный аспект в его сознании. Но был воспитан – все-таки! – в советское время. Как художник. К сожалению, это так. Багрицкий, Кирсанов… Переводы… Их всех изуродовали эти переводы…

В. П.: – Ну, на нем это мало отразилось.

Э. Ш.: – Естественно, после Волошина… Не только. Багрицкий и Кирсанов, так скажем, не худшие поэты.

Э. Ш.: – Но все-таки советчина была…

В. П.: – Всяко было. Мне он, например, рассказывал, что благодаря Багрицкому узнал Случевского и Ходасевича. Потом три тома стихов и поэм Случевского сопутствовали ему восемь лагерных лет. Он свое находил и в далеком от советчины – по времени. Но давай о другом. У вас с ним был довольно долгий разрыв – перерыв в общении, я как раз в ту пору с ним и познакомился, с тобой-то попозже. И потом, фактически с этой

самой «Малой Грузинской» выставки знаменитой, в семьдесят четвертом, если верно помню, снова началось. Он мне задолго до того, как я тебя увидел, говорил о тебе часто, повел меня на какую-то выставку на Кузнецкий Мост, где у тебя вроде бы всего одна работа была, показал. Мне интересно его отношение к тому, что состоялось, что из этого в конце концов получилось. Как он к этому отнесся? Вот ты говоришь – авангард для него был больше «филоновской стороной», но ведь он всех знал, не только Филонова.

Э. Ш.: – Ну, он оценивал меня прежде всего как сына. Как состоявшегося художника. Во-вторых, он, конечно, понимал, что эта ветвь авангарда идет – и придет – абсолютно в другую сторону. Это как бы водораздел между названиями «Советский Союз» и «Россия». Это правда. Тут есть очень большая стена. Берлинская. Между тем, что такое культура России и что такое советская культура. Хотя авангард того же Филонова, и не только его, это все, конечно, осовечено, а пяточкой – в девятнадцатом веке.

В. П.: – Другой пяточкой все-таки в Европе…

Э. Ш.: – Филонов все-таки… Евразия. Малевич выразил полностью… ну, не хочу говорить «русскую душу», это как-то претенциозно. Ну, а если о Толстом говорить, Толстой все же – тоже европеец.

В. П.: – Филонов… Малевич… Вот тебе удивительная история. Мне рассказывал приятель, поэт Вальдемар Вебер, лет тридцать в Германии живущий, что он однажды в разговоре с Акимычем упомянул одного художника, о котором от кого-то слышал, а картин не видывал. И Штейнберг ему прочитал лекцию про этого художника. Когда Вебер переехал в Германию, начал искать работы этого художника и не мог найти. Пока не попал в Копенгаген, а там – самое большое собрание этого художника. И все, что он увидел, совпало с тем, что он слышал от Акимыча. Откуда тот все это знал – непонятно. Такое впечатление, что он умел «реконструировать», что ли, по альбомам, по репродукциям несовершенным, многие вещи. Ну, и Филонова он ведь видел совсем немного.

Э. Ш.: – Но видел все-таки. Дело не в Филонове. Дело в том, что Акимыч обладал огромной интуицией. Он был очень образованный человек. В отличие от вашего покорного слуги, изучал историю искусств. По-настоящему. Это непросто. Во-вторых, его второй язык был немецкий. Я думаю, он многое читал еще в двадцатые-тридцатые годы. Это ведь не мы, полуобразованцы.

В. П.: – Ну, тогда еще почти все – для чтения – попадало в страну.

Э. Ш.: – Этот твой приятель, который полетел в Копенгаген… Конечно, для него это было открытие, что говорил Акимыч. А для Акимыча это был кусок жизни, это было легко…

В. П.: – И было ощущение, что он знал все. О чем бы ни начинали разговаривать, он тут же включался и…

Э. Ш.: – Ну, а как же. Он тебе мог сказать и про историю искусств, и про медицину, если он работал в лагере этим, ну, резал трупы…

В. П.: – Патологоанатомом.

Э. Ш.: – Это же правда.

В. П.: – Правда чистая.

Э. Ш.: – Я даже фартук его помню. Говорю: «Что ты – сумасшедший: привез фартук?». Это был, я уже говорил, человек-синтез. Время изуродовало, лагерь изуродовал его жизнь, война. Конечно, он много получил от этого, я понимаю, может быть, очищение,

конец иллюзий… Мы как-то насчет Ильина спорили. Иван Ильин, который сейчас перезахоронен в Москве. Он, конечно, был против этого философа. Я понимаю – почему. «Сопротивление злу силой». Он спорил по поводу этой книжки. Я понимаю, почему. Я понимаю, почему он ругал немцев. Я понимаю, почему капитализм, сам по себе, тоже не подарок. Я тоже все это понимаю, прожив уже семьдесят три года. Иллюзии двадцатых-тридцатых годов, они из реального корня росли. Мы не можем судить о них, но можем понять. Даже это вонючее сталинское время, этот фашизм такой советский, и то можно понять…

Асар Эппель

Он был цеховой человек…

Из выступлений на вечерах памяти Аркадия Штейнберга
13 февраля 1998 года и 4 декабря 2007 года

…Рассказывать об Аркадии Акимовиче это все равно что рассказывать о танце. Это рассказать нельзя, это можно только показать. Но, опять же, Плисецкая не может показать, как танцует Уланова. А Уланова не может показать, как танцует Плисецкая. Хотя и та, и та гениальны.

Следовательно, рассказать об Аркадии Акимовиче мы так и не сможем.

Мы как-то приближаемся, пытаемся приблизиться к этому явлению, но не можем в это явление войти.

Я думаю, что в скособоченной этой стране, где каждый, даже великий художник, являлся воплощением – всего лишь – неизвестного самого себя. Потому что совершенно неизвестно – что в нормальной обстановке получилось бы из наших даже самых лучших людей.

В этой стране, где человек, обретя счастливо каким-то хитрым или случайным, или специально устроенным образом некое воплощение, мог пережить еще и развоплощение. Допустим, то, что произошло с оплеванным Зощенко.

В этой стране, в этой ситуации, я считаю, Аркадий Акимович проявил свой величайший талант. Он смог воплотиться в нечто неуязвимое. У этого неуязвимого были какие-то конкретные поведенческие черты, какие-то инстинктивные или продуманные пути, но он сделал свой главный жизненный ход: в общем-то, он вел себя как… Хочется все время про него сказать, что он – человек Ренессанса, что он человек Возрождения, он все мог и умел – к чему бы ни прикасался.

На самом деле он был цеховой человек Средневековья, когда строились соборы и когда мастерство, ремесло еще не разделилось с искусством, а творец не стремился к «номинации». То есть творец был деноминирован. Он был цеховой человек.

Он ведь был никому не известен, кроме довольно-таки тесного круга-сообщества «цеховиков» – переводчиков поэзии и тех немногих читателей стихов, которые не только читают «переводные» стихи, но и обращают внимание на подпись переводчика, и еще, конечно, разновозрастных друзей и знакомых – поэтов, музыкантов, художников…

Он, будучи цеховым человеком, мог и должен был остаться неизвестным мастером – с тем чтобы лет через пятьсот…

В тридцатых годах люди читали «из стихов» Радуле Стийенского, придуманного Штейнбергом на пару с Тарковским, из этого большого понта, потому что Аркадий Акимович – как одессит – умел быть великим понтярщиком. Я это кротко наблюдал и могу ему только аплодировать в этом одном из его свойств. Из многих свойств.

И тогда же читали его переводы из совсем не придуманных Бертольда Брехта и Ошера Шварцмана, а позже, с шестидесятых и семидесятых, – из польских, румынских, немецких, английских, китайских поэтов…

Он был мастером, который в своем деле в своем языке, на котором писал, на который перелагал иноязычных поэтов, не то чтобы знал необычайно много, но *жил* – и чувствовал себя там как в доме своем. Такому никто не может научить, однако, по счастью, нам, кто были младше Штейнберга на двадцать, тридцать, сорок лет, было у кого учиться.

Я как-то раз ему посетовал, что, вот, никак эпитет не выдумаю, не помещается он в один слог. А он говорит: «Вы не выдумаете». – «Почему?» – «Потому что в русском языке есть только один односложный эпитет – злой. И ничего другого в пустующий слог вашей строчки не поместится». А я несколько дней голову ломал.

Кстати, у Высоцкого эта естественность попадания в цель единственно возможного эпитета гениальна: «Что там ангелы поют такими злыми голосами?». Тут вместо слова «злыми» ничего в русском языке найти нельзя. Я пытался.

А Акимыч среагировал мгновенно…

Или еще. Во «Второй дороге»:

…И навзничь лежал нагишом на постели
Обугленный болью, отравленный жёлчью…

Кого ни спроси – все говорят: «желчь». А он знал, что надо говорить: «жёлчь». И если дальше спросил, он ответил бы, что надо говорить: «жёлчный», но «желчнокаменная болезнь».

Или упоминаемые в поэме «топовые огни» идущего по ночной реке катера. Тут приходится заглянуть в словарь – и убедиться в точности этого эпитета, не просто редкого, но, возможно, единственный раз в русской поэзии помянутого, я, во всяком случае, не встречал его больше…

Сергей Васильевич Шервинский говорил, что после революции исчезла классическая филология в России. Кто эмигрировал, кто умер, кто пропал где-то. И остался один человек по фамилии Радциг. Университет окончил в самом начале прошлого века. В двадцатых преподавал где-то в провинции. В начале тридцатых водил экскурсии по античным залам Музея изобразительных искусств. Потом позвали его в МГУ. По своему уровню, говорил Шервинский, это был очень хороший гимназический преподаватель греческого и латыни, увлеченный своим делом, но не более того. Однако благодаря Радцигу сохранился огонь в этом полузаброшенном очаге или, скажу иначе, влага в этом ослабевшем источнике, хранителем которого Радциг оставался до конца шестидесятых, до самой смерти. Из того

источника и возникли и Симон Маркиш, и Михаил Гаспаров, и Сергей Аверинцев, и другие, весь золотой фонд замечательных наших современников филологов.

Моему поколению повезло – нам достался источник полноводный и незамутненный. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вытесненные советской властью из, так сказать, оригинальной поэзии, еще до нашего рождения ушли в поэтический перевод – и создали замечательную школу – Сергей Шервинский, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, Вильгельм Левик. Они существовали, конечно, в страшное время, ухитрились просуществовать, ухитрились писать и ухитрились остаться значительными творцами. И они были нашими учителями.

Они выправляли наши ошибки, наше нетворческое просторечие.

Они знали все. Они знали всю поэзию. У них на все имелся «лакмус», который точно говорил: «это хорошо», «это плохо», «это не так»...

Они не *учили* – у них хотелось учиться.

В одном из стихотворений Штейнберг рифмует «смерти» и «поверьте». Надо сказать, что со «смертью» у поэтов проблема. Потому что со «смертью» мало что рифмуется, и это все уже истаскано, ну, как «кровь – любовь – бровь – морковь – свекровь» и так далее. В этом стихотворении ему понадобилась «смерть» не посреди строки, но под ударением-созвучием, нужно было рифмовать – при этом традиционнейшем четырехстопном ямбе – по всем правилам, и тогда он вышел на прямое обращение к читателю – «поверьте». Он повернул стихотворение в эту сторону и справился, да он и не мог не справиться со своей задачей, потому что он со всем справлялся, не только со стихами и переводами.

Видели бы вы, как он грунтовал свои холсты. Мне даже казалось подчас, что ему загрунтовать холст было приятней, чем потом написать на нем какую-то картину.

Его холсты были как из полированного мрамора. Это большое искусство – так загрунтовать холст. И он знал все вещества, из которых слагал грунт, все их свойства и особенности, мог запросто прочитать лекцию о них.

Видели бы вы, как он вытачивал трубку – это же профессионал работал.

Я каждый день, поработав, ходил прогуляться к реке, на Смоленскую набережную. Там был мебельный комиссионный, где все тогда стоило, мягко говоря, недорого, там всякие диковины можно было купить за смешную цену. Прослышав как-то от Штейнберга, что он, будь его воля – и деньги, – купил бы фисгармонию, я, обнаружив в том магазине оную, позвонил ему. Оказалось, что она сломана, потому цена была совсем бросовой. Аркадий Акимович ее купил и сумел починить, привести в полный порядок, а потом еще вдобавок стал играть на ней.

Вот это его замечательное приложение рук – оно просто-напросто поражало.

И какие они, эти люди, были красивые! Я-то их видел, как говорится, «в возрасте», но в молодости Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг, съездив в какой-нибудь город

на выступление, обязательно привозили в столицу целую череду девиц, которые не хотели, не могли так вот сразу с ними расстаться.

Я даже некоторых из этих девиц знал, конечно, когда они уже давно стали дамами, славные были дамы…

Кстати, история из их тогдашней, начала тридцатых годов, жизни. Они очень любили ходить в «Национаь». Известно, там Олеша сиживал, и много других хороших людей бывало. И вот однажды Аркадий Акимович похвастался, что придет на их сборище с какой-то потрясающе красивой княжной. Денег у них особых не было, но по такому случаю собрали кое-как. Правда, и цены были вполне умеренные, скажем, черная икра тогда почти ничего не стоила. И официанты там были, я их еще застал, конечно, уже «на излете», служившие с нэповских и даже царских времен, они прекрасно обслуживали, раскланиваясь. И вот сидят эти молодые поэты, ждут, и появляется Акимыч с каким-то небесным созданием. И все начинают трещать крыльями вокруг нее. И кто-то спрашивает: «Вам положить икры? Вы любите икру?» – «Э-а!»…

И еще непременно надо вспомнить о переводческих «средах» в ЦДЛ. Они были в шестидесятых-семидесятых замечательнейшим мероприятием, и всегдашнее присутствие-участие Штейнберга придавало этому действу какой-то, если можно так назвать, энергетический шарм. Там впервые читали – до первых публикаций – Кафку, Лорку, польских поэтов, которые теперь у всех на слуху, – Галчиньскиго, Тувима, Стаффа. Каждый раз кто-нибудь из молодых начинающих – и немолодых, не начинающих – приносил туда нечто необыкновенное, чего до этого – по-русски – не было. И там однажды целый вечер Бродский читал стихи. Это было *намоленное* место. Руководство ЦДЛ смотрело на все на это с опаской и в конце концов не выдержало, наложило свою лапу, прикрыло.

На «средах» Штейнберг нам читал и Тувима, и Мильтона, и Ван Вэя. О нем говорили: он открыл нам великих поэтов.

А мне страшно жалко, что он потерял такую кучу времени, применив все свое *рукоделье*, все свое искусство для того, чтобы… Что такое чужой текст, который мы даже вроде бы понимаем?

Это, в принципе, сломанная фисгармония, которую пытаемся починить. Ведь мы все равно этот текст до конца не понимаем, как бы язык ни знали. Мы только можем его как-то истолковать, а потом перевоплотить, пользуясь, так сказать, «сокровищницей русского языка». Что он и делал…

Хотя он-то, думаю, относился к этому делу не совсем так, как я. Помню, когда он переводил Мильтона, чувствовалось, что человек сейчас не с нами, его позвали на пир «всеблагие». Вот это была его работа. Хотя я подозреваю, что Аркадий Акимович не *весь английский* знал. Это я цитирую Евтушенко, который однажды спросил у Райт-Ковалевой: «Рита Яковлевна, вы весь английский язык знаете?». Известно, что Штейнберг пользовался старым, середины девятнадцатого века, «академическим» – прозаическим – переводом университетского профессора Зиновьева. И консультантом у него в годы, когда он готовил перевод для «Библиотеки всемирной литературы», была отлично знавшая старую английскую литературу – и очень красивая – молодая женщина, она как-то комментировала выступление Аркадия Акимовича на одной из «сред». Мне рассказал Вадим Перельмутер, что теперь она живет в Нью-Йорке. И он попросил отправлявшегося туда знакомого, тот намеревался с нею встретиться, поинтересоваться ее мнением об Акимыче и работе с ним, быть может, напишет про то, хоть немного. А она в ответ разразилась тирадой, смысл коей сводился к тому, что Штейнберг ее не слушался, своевольничал вовсю и наискажал Мильтона так, что у ней от этого просто кружилась голова.

Вадим упомянул о том в телефонном разговоре с Романом Дубровкиным. И тот ответил, что она, мягко говоря, неправа. И пояснил, что, переводя «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, столкнулся с некоторыми проблемами, подобные которым решал его учитель в переводе «Потерянного Рая», потому читает-перечитывает штейнберговский перевод, то и дело сверяя с оригиналом, и просто-таки ошеломлен – насколько там все точно…

И все-таки мне очень жаль, что у этого замечательнейшего из людей перевод отнимал так много времени. Лучше бы

он порыбачил бы и подумал бы о чем-нибудь, и что-то надумал, и, может быть, додумался бы до чего-то такого, до чего додумываются великие поэты, и зафиксировал бы нам это, и из анонимных мастеров вышел бы во властители дум…

Я бы хотел, чтобы Акимыч жил снова. Я бы хотел, чтобы он больше не перевел ни одной строчки. Я бы купил ему где-нибудь самый превосходный спиннинг, хотя спиннинг он мог бы сделать и без меня, и еще лучше сделать. И чтобы он жил, и чтобы он писал свои стихи…

Публикация Вадима Перельмутера

Мюнхен

Сокровища из сокровищницы

342 Татьяна Щурова
«Готов я петь куплеты…»

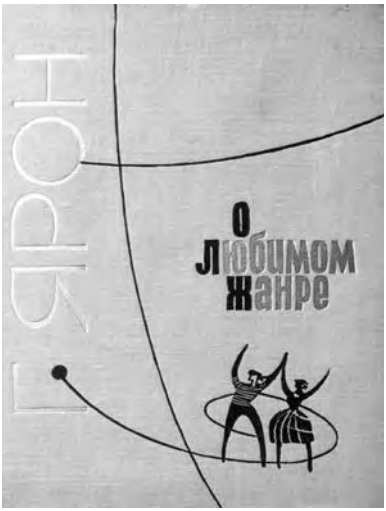
Татьяна Щурова

«Готов я петь куплеты...»

Не отвергая техническое «оснащение» в современных библиотеках, как то электронный каталог, накопление баз данных и т. п., все же люблю работать с традиционными каталогами нашей ОННБ, где в карточном «репертуаре» непременно каждый раз встречаются любопытные забытые издания. Вот так недавно обнаружилась небольшая книжка «Одесса в стихах»: стихотворения Марка Ярона (Одесса, 1875).

Шарж Бориса Ефимова

Конечно, эта фамилия ассоциируется, прежде всего, с Григорием Марковичем Яроном (1893-1963), выдающимся артистом, навсегда запомнившимся в старом фильме «Мистер Икс» в роли Пеликана. Его называли «рыцарем оперетты». Любители этого жанра музыкального театра помнят, что Г. Ярон был одним из основателей Московского театра оперетты, его первым художественным руководителем, а также режиссером и блистательным актером, виртуозно владевшим приемами буффонады, эксцентрики, гротеска. Кто-то читал мемуары артиста «О любимом жанре» (М., 1963) и знает, что его предки были из Одессы.



Да, книга «Одесса в стихах» принадлежит перу отца Ярона Марку Григорьевичу, начинавшему в Одессе репортером, попробовавшему затем себя здесь в качестве антрепренера, а потом ставшему известным столичным переводчиком и либреттистом оперетт. К сожалению, о нем не писали исследователи одесской журналистики конца XIX века (он печатался в «Одесском листке»), и почти нет сведений о его дальнейшей деятельности в театрах Москвы и Петербурга.

Пожалуй, лишь публикации историка театра Валерия Семеновского (кстати, одессита по рождению) о семье Яронов на материалах, тщательно собранных им в архивах, дают представление об этих людях. Уверены, вы получите удовольствие, прочитав его статьи «Семейный портрет» («Театр», 1983, № 4) и «Ваши проблемы уже не ваши» («Всемирные одесские новости», 2000, № 1).

Харизматичным был дед великого артиста, одесский ветеринарный доктор Григорий Ярон, познавший, что театр – «волшебный край», но, тем не менее, запрещавший своим сыновьям-отрокам посещать галерку оперного. Кончилось это тем, что все четверо после окончания гимназии тайно крестились и бежали из отчего дома. Каждый из них так или иначе связал свою жизнь с театром. Нас в данном случае интересует Марк, отец Г.М. Ярона и автор найденной книжки. Читаем у В. Семеновского: «Четвертый брат, Марк, едва ли не с младенчества сотрудничал в одесских газетах. Поставляя заметки в несколько строк, относился к ним с таким трепетом, словно это были произведения искусства. Он свято верил, что не одной, так другой заметкой сделает себе имя, завладеет умами либеральной интеллигенции и заодно перестанет быть бедным родственником на празднике жизни. Он писал рецензии, очерки, репортажи, вел театральную и уголовную хронику, а в особенности

Марк Ярон

преуспел как автор стихотворных фельетонов, составив конкуренцию такому зубру, как Дорошевич. Конечно, Дорошевич тоже писал неплохо, но все-таки не в рифму, а прозой. Поэтому среди подписчиков «Одесского листка» разгорались дебаты: сторонники Дорошевича утверждали, что главное – это смысл, а сторонники Марка Ярона, что прозой – может каждый дурак. У этого фонтанирующего человека были и другие замечательные таланты. К примеру, он на спор проделывал следующее. Читая французскую газету, вслух переводил ее на английский и тут же с английского – на немецкий, постепенно увеличивая скорость чтения и перевода, пока наконец три языка не сливались в один…».

Однако при всех своих талантах он не умел сосредоточиться на выбранном деле. Попробовал себя в Одессе в антрепризе – не получилось, затем поступил в Москве в университет на историко-филологический факультет, но «в результате одесские редакции сменились на московские», пошли публикации в популярных юмористических изданиях – «Будильнике», «Осколках» и др. (там же печатался и А.П. Чехов, который, правда, в письме советовал своему брату «держаться подальше от людей, подобных Марку Ярону…»).

Многое было намешано в этом человеке. У него были интересные знакомства. Свою книжку «Одесса в стихах» он посвятил Виктору Людвиговичу Форкатти, антрепренеру провинциальных театров, а сначала популярному провинциальному актеру. В Москве он сотрудничал с Михаилом Валентиновичем Лентовским, «отцом русского опереточного театра», бывшим куплетистом, водевильным и опереточным актером провинции, сумевшим в театре «Эрмитаж» раскрыть и утвердить оперетту как жанр музыкального театра. В этом театре Марк Ярон был переводчиком и текстовиком, перевел на русский язык буквально все либретто венских оперетт. Здесь же он познакомился со своей будущей женой известной певицей Элеонорой Мелодист, которая уже в Петербурге родила ему сына Гришу, с детства проявлявшего «ненормальную страсть к публичности». К счастью, родители не сумели отговорить мальчика от поступления в театральную школу, за что зрители нескольких поколений были им благодарны…

Марк Ярон вдохновенно сочинял стихи и куплеты для эстрады. Они вошли в книжку «Одесса в стихах» и в сборники «Живая струна», печатавшиеся в Петербурге (видимо, эти книжки имели успех, ибо неоднократно переиздавались). Будем откровенны: стихотворные опусы М. Ярона остались в своем времени, далеко не всегда понятно, кто из его современников подвергался критике в куплетах:

Ахъ, времена ужасныя какія.

«Ахъ, времена ужасныя какія!
Принявшись за дѣла, твердитъ банкиръ:
Убытки отъ банкротствъ терплю большіе,
Отъ безденежья бѣдствуетъ весь міръ.
Банкирамъ всѣмъ грозитъ и разоренье.
Нѣтъ! Осталось банкирамъ лишь одно:
Оставить всѣ дѣла безъ замедленья
И… банкиръ принялся за вино.

«Ахъ, времена ужасныя какія!
Отправясь въ магазинъ, купецъ твердитъ:
Торговля не идетъ, все барыши плохіе,

И потеряли мы и деньги и кредитъ.
Оставимъ лучше мы торговлю-то въ покоѣ,
И, потрудясь всѣ счеты свесть,
Мы примемся за ремесло другое
И... купецъ велѣлъ очищенной принесть.

«Ахъ, времена ужасныя какія!
Твердитъ чиновникъ, сѣвши за дѣла:
Прошли тѣ времена благія,
Когда чиновнику жизнь рай была.
Теперь какая за труды награда,
Когда нельзя намъ больше взятки брать?
Нѣтъ, эту службу скоро бросить надо
И... чиновникъ водочки велѣлъ подать.

«Ахъ, времена ужасныя какія!
Прінявшись за труды, твердитъ мужикъ:
Неурожаи, у меня долги большіе,
А дома у меня семья, отецъ – старикъ.
Нѣтъ, лучше брошу я работу въ полѣ,
Хоть у другаго буду я батракъ,
Все-жь зарабатывать я буду болѣ
И... мужикъ отправился въ кабакъ.

Съ новымъ годомъ.

Всюду къ новому страсть велика,
Всѣмъ утѣху оно доставляетъ;
Тѣшитъ новое домъ бѣдняка,
Всѣхъ богатыхъ оно занимаетъ.
Посему первый день января
Всѣ встрѣчаютъ особеннымъ родомъ:
Всюду праздникъ, веселье съ утра,
Поздравляютъ вездѣ съ новымъ годомъ.

Всѣ съ визитами ѣдутъ съ утра,
(Ужь таковъ нашъ обычай потѣшный)
Всѣ желаютъ другъ другу добра, –
А какъ всѣ, такъ и я многогрѣшный
Чту китайскій обычай отцовъ
И приверженъ, какъ женщины, къ модамъ,
Такъ поздравить и я всѣхъ готовъ
Съ новымъ годомъ.

Ты, старикъ, съ капиталомъ большимъ,
На любовницу тратя имѣнье,
Полагаешь, что ею любимъ,
Что вѣрна такъ тебѣ безъ сомнѣнья.
А она, оставаясь съ другимъ,
Вѣдь тебя-жь величаетъ уродомъ.
Пей, довольный блаженствомъ своимъ.
Съ новымъ годомъ!

Ты, кутила, совсѣмъ не къ добру
Получивъ капиталъ отъ отца,
Все на женщинъ, вино и игру
Ты бросаешь теперь безъ конца.
Но пройдутъ года три, ты умрешь
Гдѣ-нибудь подъ загрязненнымъ сводомъ.
Пей, пока есть въ карманѣ хоть грошъ.
Съ новымъ годомъ!

Ты, кассиръ, обирая казну
Въ той конторѣ, гдѣ служишь кассиромъ,
Взявъ съ богатымъ приданным жену,
Сталъ вращаться межъ знатнымъ лишь міромъ.
Но откроютъ грабежъ твой, сошлютъ
По Владимирской къ мѣднымъ заводамъ.
Пей, пока не попалъ ты подъ судъ.
Съ новымъ годомъ!

Ты, служащій по земству затѣмъ,
Чтобъ достигнуть скорѣй капитала,
О народѣ не мыслишь совсѣмъ,
Обираешь его какъ попало.
Но узнаютъ тебя и тотчасъ
Между цѣлымъ проклянутъ народомъ.
Пей, пока не ударилъ твой часъ.
Съ новымъ годомъ!

Всѣхъ, хотящихъ супругами стать
Изъ-за денегъ, не изъ-за невѣсты;
Всѣхъ, кому суждено попадать
За грабежъ въ остроги, подъ аресты;
Всѣхъ, кто тратитъ всѣ мужа гроши,
Разъѣзжая по лавкамъ и модамъ; –
Поздравляю теперь отъ души
Съ новымъ годомъ!

Одесскіе типы.

I.

Недуренъ, хоть и толстъ; у него борода
Во французскомъ иль англійскомъ родѣ;
Ужь не молодъ, однако и нынѣ всегда
Одѣвается только по модѣ.
Онъ на улицу выйдетъ едва,
У него ужь pince-nez на жилетѣ, –
А на лбу роковыя слова:
«Я подлецъ, какихъ мало на свѣтѣ.»
Онъ жену всѣмъ готовъ передать:
Вѣдь и самъ онъ купилъ ее тоже,
Отчегожь и другимъ не продать,
Но, понятно, гораздо дороже.
Онъ былъ шулеромъ, плутомъ весь вѣкъ,
Во всѣхъ клубахъ картежныхъ извѣстный,
Вотъ предъ вами, друзья, человѣкъ,
Всѣмъ знакомый: Я ... прелестный.

II.

Рисовать его портрета
Я не буду вамъ,
Такъ какъ разузнать, кто это,
Можно по дѣламъ.
Былъ прикащикомъ. Женился,
Сдѣлался богатъ,
Въ нашемъ банкѣ пріютился,
Сталъ аристократъ.
Всѣ купцы предъ нимъ снимаютъ
Шапки. Отдаютъ
Все, чего ни пожелаетъ.
Въ домъ къ себѣ зовутъ.
Славно всѣ дѣла устроилъ,
Какъ при банкѣ былъ.
Нѣсколько домовъ построилъ,
Дачу вдругъ купилъ.
Пропасть денегъ взялъ онъ въ банкѣ
Именемъ купцовъ;
Векселя поддѣлалъ, бланки,
Надувалъ глупцовъ.
Въ банкѣ нашемъ ловко правилъ,
Какъ извѣстный магъ Эпштейнъ;
И Одессу вдругъ оставилъ.
Вотъ вамъ Яковъ Г.....

Загадки Одесситамъ.

Кто отъ города (ну, кто-же)
Взялъ заботу о печати
И беретъ въ пять разъ дороже?
Кто? А....

Кто, имѣя здѣсь значенье,
Правитъ кассой, какъ Заблоцкій,

Хоть и геній, безъ сомнѣнья?
Кто? Б.....

Кто относится въ газетѣ
Ко всему всегда злорадски
И ругаетъ все на свѣтѣ?
Кто? В....

Кто, громадную контору
Здѣсь имѣя, (просто *жалко*)
Подражаетъ вѣчно вору?
Кто? Г....

Кто у насъ, бюро имѣя
Съ деньгами различныхъ видовъ,
Сталъ банкротомъ, не краснѣя?
Кто? Д....

Кто изъ богачей (всякъ знаетъ,
Что онъ человѣкъ не свѣтскій),
Всѣмъ свинью напоминаетъ?
Кто? Е.....

Кто у насъ такъ нравомъ кротокъ,
Что плоды своей земли
Тратитъ только на кокотокъ?
Кто? М.....

Кто у насъ всѣхъ забавляетъ?
(Онъ не воинъ и не флотскій,
А газету составляетъ).
Кто? Н.....

Кто, въ газетѣ смысля мало,
Изъ какихъ-то странныхъ видовъ,
Сталъ издателемъ журнала ?
Кто? О.....

Кто сотрудницъ обижаетъ,
Дамъ третируетъ канальски,
Всѣхъ въ любовницъ приглашаетъ ?
Кто? С.....

Кто изъ думскихъ измѣняетъ
Убѣжденія частенько,
А другихъ въ томъ упрекаетъ?
Кто? Я.....

Прибавленіе къ «святой истинѣ»

«Говорятъ, что людямъ съ головою
Всегда отлично межь людьми;
Но быть въ Одесской думѣ головою
Гораздо лучше, чортъ возьми!
Ей-Богу, я-бъ, совсѣмъ не разсуждая,
Мѣстечко это для себя избралъ.
– Ваша рѣчь истина святая,
Я ничего умнѣе не слыхалъ.

Говорятъ, народа просвѣщенье
Для государства есть доходъ.
Но людямъ газовое освѣщенье
Гораздо болѣе даетъ.
И въ газовое общество вступая,
Ты богачомъ немедленно ужь сталъ.
– Ваша рѣчь истина святая,
Я ничего умнѣе не слыхалъ.

Говорятъ, торговлей занимаясь,
Богатство можно накопить,
Но этимъ ремесломъ не увлекаясь,
Концесію лучше захватить.
Ей-Богу, это штука ужь такая,
Что наживаешь живо капиталъ.

– Ваша рѣчь истина святая,
Я ничего умнѣе не слыхалъ.

Говорятъ, печатное молъ слово
Отлично учитъ нашъ народъ.
Но не видалъ я дурака такого,
Что слово даромъ раздаетъ.
Что-бъ кто-нибудь, газету издавая,
Былъ не богатъ, я право не видалъ.
– Ваша рѣчь истина святая,
Я ничего умнѣе не слыхалъ.

Говорятъ, что деньги трудовыя
Всегда въ почетѣ у людей.
Но въ городѣ построить мостовыя
Гораздо прибыльнѣй, ей-ей!
Одна готова только мостовая,
А въ думѣ ты ужь тысячи набралъ.
– Ваша рѣчь истина святая,
Я ничего умнѣе не слыхалъ.

Четверостишія, посвященныя труппѣ 1875/6 года.

Милославскому

Талантъ огромнѣйшій имѣетъ безъ сомнѣнья,
Артистовъ эдакихъ у насъ вѣдь много нѣтъ,
Межь тѣмъ въ дирекціи онъ терпитъ притѣсненья,
«Легко-ли въ шестьдесятъ пятъ лѣтъ?»

Киселевскому

Талантъ имѣете, но васъ ругаютъ въ прессѣ
За то, что любите кричать необычайно.
Когда я видѣлъ васъ на дняхъ въ какой-то пьесѣ,
«Перепугалъ меня вашъ голосъ чрезвычайно».

А. Ленскому

Играете всегда обдуманно, умно,
Артиста всякій въ васъ хорошаго найдетъ.
Но вамъ недостаетъ на сценѣ лишь одно:
«Вы, сударь, камень! Сударь, ледъ!»

Однако стихотворение «Там…» из сборника «Живая струна» (1900) звучит и сегодня актуально, несмотря на свою доверчивую наивность:

М. Ярон

Там…

Где немыслимы интриги,
И живется чудно всем,
Где в громадном спросе книги,
И не знают карт совсем.
Где прекрасны все условья,
И не ведает народ
Сплетен, лжи, клевет, злословья,
Грусти, горя и невзгод,
Где любовь на первом плане,
Не царит над всем расчет,
И за лишний грош в кармане
Брат на брата не встает,
Помощь ближнему громадна,
Быть в нужде никто б не мог,
И не смотрят люди жадно
На общественный пирог,
Где никто не может даже
Тунеядцем быть весь век,
И понятия о краже
Не имеет человек,
Неизвестны протоколы,
Не бранится муж с женой,
Процветают всюду школы,
И тюрьмы нет ни одной,

Нет борьбы из-за наживы,
Презираются «дела»,
Люди кротки, не спесивы
И совсем не знают зла,
Дорожат чужою честью
И своей не лишены,
Не берут позорной лестью,
Никогда не гнут спины,
Где подставить ближним ногу
Нет желания ни в ком,
И выходят на дорогу
Добросовестным трудом,
Не находит для «панамы»
Почвы нравственный урод,
Нет влияния рекламы
И губительных нет мод,
Где живут все по бюджету,
Прибегать боясь к долгам,
Там (скажу вам по секрету,
... было бы всем нам).

Живая струна: Сборник стихотворений и куплетов.
Изд. 8, вновь исправл. и дополн. СПб., 1900

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Путешествие

366 **Феликс Кохрихт**
Метеоры: между небом и землей

Феликс Кохрихт

Метеоры: между небом и землей

«Итак, Олимп мы повидали. Насладились красотой и негой Эгейского моря. Наступило время осуществить еще один пункт нашего путешествия: направиться в Фессалию и побывать в Метеорах – уникальном духовном центре, сооруженном много веков назад на неприступных скалах».

См. альманах № 71, «Греческие календы на Олимпийской Ривьере».

Монастырь Русана (Св. Варвары)
Эскиз В. Барского. 1745 г.

Этим абзацем завершалась первая часть наших путевых заметок о пребывании в нескольких знаковых регионах Греции, где за один день можно побывать в местах, с которыми связана история человечества. Здесь зарождалась эллинская цивилизация – базовая территория Ойкумены древних, охватывавшая бассейны Средиземного и прилегающих к нему морей и завершавшаяся в наших местах, на берегах Понта Эвксинского, Черного моря. Эллины считали, что внутри периметра Ойкумены жили разумные люди, за ним – не просто варвары, но и люди с песьими головами.

Здесь, в частности, в греческой Македонии и Фессалии, расположены и Олимп с его небожителями во главе с Зевсом, и Парнас – пристанище муз, опекаемых Зевесовым сыном Аполлоном. Эти места – родина великих ученых, философов, историков, драматургов. Более половины личностей, входящих в золотой список, которым гордятся нынешние греки, составляют уроженцы этих мест. Достаточно сказать, что на нашем пути – от моря в горы – встретился город, где недавно была обнаружена гробница македонского царя Филиппа – отца Александра, покорившего полмира и во многом определившего пути развития и народов, и стран…

Раз уж о полководцах, то наш автобус проносился мимо мирных полей, виноградников и оливковых рощ, где когда-то гремели войны, приводившие к тому, что одни государства исчезали, другие расцветали. Не только правители сменяли здесь друг друга, но и верования.

Нынче Олимп – не очень-то высокая вершина местной горной гряды. Она – «персонаж» мифов Эллады наряду с теми из свиты Громовержца, кто ее населял и пугал людей громом и молниями. Это популярный, почти обязательный туристический объект – и не более.

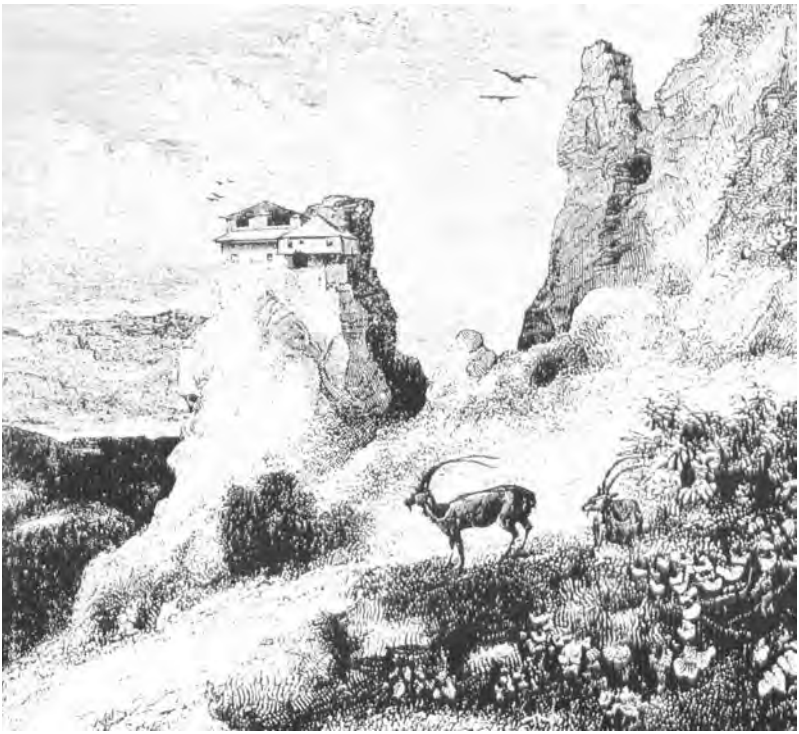
Греция одной из первых восприняла новое учение, пришедшее из Иерусалима, христианство, и именно сюда держали путь апостолы, пророки и проповедники… Их имена звучали, сменяя друг друга, из уст гида – нашего бывшего соотечественника из мариупольских греков, обладающего дипломом истфака МГУ. За час-другой он подошел к XI веку нашей эры, когда местными монахами овладело стремление к полному уединению там, где никакие земные соблазны не отвлекали бы их от молитв и полной аскезы. Летописи и церковные хроники полагают, что начало отшельничеству положили иноки, уединявшиеся в пещерах, расположенных на склонах холмов, но вскоре и туда добрались крестьяне, и аскетам пришлось забираться все выше и выше, пока монах по имени Афанасий, пришедший с Афона, не заложил на горе Платилитос (высота 619 метров) фундамент первого монастыря. Он получил имя Метеоры, которое и в наши дни является символом единства и противоположности – возвышенного и земного, ибо означает «*между небом и землей*».

Рукописи, хранящиеся в монастырских библиотеках, содержат весьма скупые сведения о том, как первопроходцам удалось вскарабкаться на голые вершины скал высотой в несколько сот метров, а затем умудриться прожить там несколько дней со скудным запасом еды и питья. Отдохнув час-другой, они отмотали веревки со своих чресел и с их помощью подняли с земли корзины с землей и семенами, которые посадили здесь, положив начало огородам, садикам, рощицам олив, пасекам, питающим пусть не многочисленную, но братию и сестрию нынешних насельников, да еще пополняющим лавки при монастырях…

Автобус то и дело тормозит на серпантине, пропуская встречные, а я все думаю: как же им все это удалось… Как, как нескольким сотням (ну пусть – тысячам) монахов, не отягощенным техникой, удалось в исторически короткий срок, с XI по XIII век, создать здесь, на гряде скал, огромный по площади внушающий восхищение и оторопь комплекс зданий – жилых и культовых, и при этом не приземистых, а внушительных зданий из кирпича, увенчанных черепичными крышами и медными куполами?

Мы просили гида объяснить нам этот феномен. И он горячо заговорил о силе истинной веры, о том, что монахам сопутствовал Святой Дух, что люди, осененные великой и чистой идеей, способны творить чудеса… Никто не перечил ему, но все же мы еще раз попытались получить сведения о технологии подвига, о том, как были организованы работы, какие приспособления применялись. Ведь даже о строительстве египетских пирамид кое-что известно, хотя споры продолжаются и сегодня. Но наш гид все возвращался к сакральным сюжетам, и мы, наконец, поняли, что он вовсе не религиозный фанатик, а просто не знает ответа на наши вопросы, как, в общем, многие нынешние историки, изучающие *те* времена.

Так или иначе, к XIV веку со скал долины Метеоры на всю округу разносился звон колоколов почти 20 монастырей – мужских и женских, и у каждого был свой голос. Стены обителей – церквей и келий – были расписаны лучшими мастерами не только Греции, но и других православных стран. Фрески и сегодня сохранили свежесть, и что тому причина – особый климат и условия содержания или вера – кто знает… Да и какая разница?



Монастырь Святого Николая Успокоителя. Гравюра на меди

История Метеор увлекательна и драматична: годы взлета и торжества, но и потрясений, и даже упадка. Монастыри подвергались гонениям и в столетия турецкого владычества, и в годы второй мировой войны.

Сегодня многие из обителей не имеют насельников. Действующих всего шесть – четыре мужских и две женских. В отличие от близкого Афона, Метеоры живут по куда более свободному уставу. Если в грандиозный и пафосный Афон доступ открыт лишь мужчинам-паломникам, то Метеоры принимают и туристов-женщин, и при этом правила посещения здесь не строгие, сравнимые с теми, что действуют в Украине и других странах.

Мы посетили женскую обитель Святой Варвары, именуемую с еще и Священный монастырь Русана. Сохранились старинные рисунки, на которых эта обитель еще практически не доступна: в нее добирались в корзинах, которые монахини поднимали с земли при помощи ворота, и по веревочным лестницам, одну из которых (действующую!) нам показали. Только лишь лет сто назад в монастырь перебросили мостик с соседней тропы: вот по нему мы и поднялись на вершину скалы. Первым делом оглянулись и поразились величественному пейзажу, который не менялся уже несколько столетий, а то и дольше.

До соседних монастырей, кажется, рукой подать, но впечатление это обманчиво. Поражаешься чувству не только прекрасного, но и величественного, тех, кто задумал этот грандиозный проект и осуществил его. Сегодня есть культурологи, историки и богословы, полагающие Метеоры одним из чудес света, дошедшим до наших дней.

Мы прошли по длинному затемненному коридору, освещаемому лишь лампадками у икон и витрин с церковной утварью. В храм пускают по несколько человек – не только потому, что он невелик, но и для защиты фресок от прикосновений, и даже – от людского дыхания. Как и во всех греческих церквах, здесь во время службы прихожане размещаются на деревянных креслах, соединенных в ряды. Они не очень-то удобны, но и предназначены не для комфортного отдыха, а для того чтобы внимать священникам и дьякону – при этом прихожане охотно подпеваю хору.

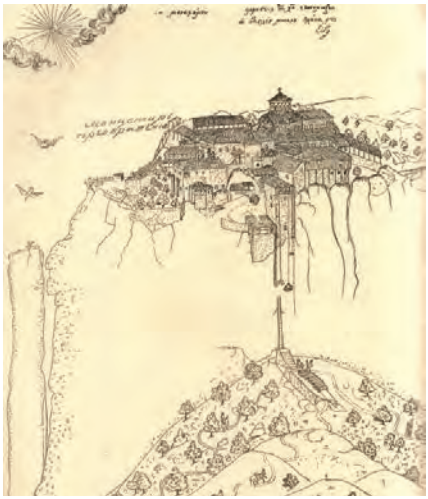
Среди чудотворных икон выделяется образ Святой Варвары – покровительницы монастыря. Она, как и другие, а также фрески, создавались на пожертвования, и в первую очередь – от монаха Арсения, с которого и началось становление Метеор. Первоначальное название этой обители – Русину – одни исследователи связывают с именем одного из ее основателей, другие – с фессалийской деревней Росан, откуда он был родом. Все сходятся на том, что монастырь принял первых насельников не позднее 1288 года, и ему в день нашего посещения летом 2017 года было 729 лет, а когда эти заметки увидят свет, исполнится на год больше.

За многовековую историю монастыря здесь многое менялось: его перестраивали в XIV веке после пожара, появлялись

Рукописное Евангелие
из монастыря Великий Метеор

Звонок из XXI века

В соседние монастыри путь неблизок...



Монастырь Преображения Христа
Старинный рисунок

Святой Филипп – покровитель литераторов
и книжников

В монастырь Св. Варвары и сегодня можно
взобраться по веревочной лестнице

новые фрески – зачастую на месте прежних, а главное, минуло уже два столетия с тех дней, когда в кельи на место мужчин пришли женщины, которые сегодня здесь предаются молитвам и ведут небольшое хозяйство: выращивают овощи, снимают урожаи с нескольких оливковых деревьев и делают из плодов масло, ухаживают за пчелами. И масло, и мед, и вышивки, и поделки из дерева, и образки святых можно приобрести в монастырской лавке. Ее управительница да настоятельница монастыря были единственными, с кем мы познакомились. Других монахинь увидеть не пришлось.

Фотографировать здесь запрещено, но я все же исхитрился заснять при свете лампад мать-настоятельницу в ее конторке, где она говорила по белому айфону. С кем и о чем – сие тайна есть. Пусть маленькая, но строгая.

В этом монастыре Таня наконец нашла и приобрела иконку своей покровительницы, в честь которой и была наречена. Дело в том, что Татьян среди туристок много – вот они и раскупают изображение святой. Меня же, хотя я и не принадлежу к конфессии насельников Метеор, на обратном пути ждал неожиданный подарок, скорее – дар. В том самом придорожном комплексе, куда нас в начале пути возили на обед, и где мы лихо отплясывали сиртаки, есть и большой сувенирный магазин. Наш гид вручил каждому картонный номерок с указанием турфирмы и цифрами, обозначающими принадлежность к пассажиром его автобуса. Мы побродили по магазину, я купил пару магнитов друзьям и получил от продавца вместе с ними ответный картонный номерок, на который не обратил особого внимания и намеревался выбросить, да замешкался, опаздывая в автобус, где гид уже произносил номера, свидетельствующие о том, что каждый из нас получил от магазина подарок.

Автобус тронулся, сувениры один за другим находили владельцев: все те же магниты, значки, календарики. И вдруг я услышал свой номер – он был последним: поэтому я и взглянул на цифры. Гид как-то по особенному посмотрел на меня и передал по рядам картонную коробку, в которой оказалась икона отменного письма, созданная на старинной доске современным иконописцем. О ее ценности говорилось в специальном сертификате, заверенном

печатями экспертов. Только с этим документом я имел право вывезти ее из Греции.

Самым удивительным оказалось то, что на иконе изображен образ святого Филиппа – покровителя книжной премудрости, иными словами – писателей, журналистов, издателей, к которым, так уж случилось, принадлежу и я. Более того, в юности мое несколько претенциозное имя – Феликс – одесские друзья переиначили на современный, на то время – американский лад: Фил. Первым меня так назвал Женя Голубовский. И я и сегодня откликаюсь.

Когда величественная панорама скал, увенчанных монастырями, начала отдаляться от нашего автобуса…

Проезжая Метеоры, я взглянул на небеса
А там – божьи разговоры, а там – дивная краса…

Олимпийская Ривьера – Фессалийская долина – Метеоры

Фото Татьяны Вербицкой, автора и из фондов турагентства

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Ах, Одесса

364 Леонид Авербух
На свете есть женщины…

366 Игорь Геращенко
Только в Одессе…

Леонид Авербух

На свете есть женщины…

* * *

Я думаю, что знаете вы сами,
Пусть этого я даже б не сказал,
Что женщины не старятся с годами,
Лишь качество снижается зеркал…

* * *

На свете есть женщины, словно мечта,
И должное им воздаем мы по чину,
Но все ж настоящая женщина – та,
С которою ты – настоящий мужчина…

* * *

Проблема полов в этой сфере подлунной
Такая больная и вечная тема…
Пора бы понять, что для женщины умной
Мужчина – решение, а не проблема…

* * *

Вот вывод, в котором не вижу подвоха,
К нему почти каждый мужчина пришел:
Он женщину ищет, когда ему плохо,
И ищет другую – когда хорошо…

* * *

Определенье нынче стало знаковым,
Хоть в очень давние оно возникло дни:
Все женщины, конечно, одинаковы,
Но одинаковы по-разному они…

* * *

В красавицу влюблен. Ну что за диво?
Красивых стар и млад готовы полюбить.
Чтоб быть любимой – нужно быть красивой,
Но чтоб красивой стать – любимой нужно быть…

Игорь Геращенко

Только в Одессе…

…дураки смеются над умным, а он на них обижается… дурак.

…когда я чувствую, что не могу больше ничего делать, мне сразу хочется преподавать.

…если вам кто-нибудь мешает, значит, вы на правильном пути.

…за всю жизнь удается довести до конца единственное дело – угробить здоровье.

…прошлое мстит настоящим за поруганное себя.

…грешен не тот, кто грешит, а тот, кто сомневается в содеянном.

…когда завхоз и комендант хлопают ушами, в учреждении отвратительно хлопают двери.

…главное в жизни – главное.

…любое неумение предваряется *пожеланием*.

…самое почетное звание – «здоровый человек».

…проблемы войны связываются с миром.

…приобщаются к терапии, дабы избежать хирургии.

…мгновения хватает, чтобы почувствовать себя гениальным, но недостаточно всей жизни, чтобы доказать это окружающим.

…умеют двигаться вверх по наклонной и вниз по восходящей.

…дело случая боится.

…пенсия – вечный больничный.

…жизнь не дает ничего раз и навсегда, но зато дает всегда на один раз.

…день, как правило, оканчивается победой ночи.

…книга может быть *на выданье*.

…красота действует на поражение.

…театр – узаконенное безденежье.

…можно любить *только своих* детей, которых у тебя нет.

…существует *великая ограниченность абсолюта.*

…долг нагишом платен.

…счастье безусловно.

…все вокруг как-то доживают свою жизнь, а я никак не могу ее начать жить.

…должно быть так, как есть.

…мужчина может быть нездоров по-женски.

…место встречи *извинить* нельзя.

…вокальное искусство – умение петь по-трезвому.

…кондом – друг человека.

…«все есть для начала», – говорят в конце.

…можно услышать: «какая вы умная женщина, с таким дивным черепом!»

…вас спросят: «ты в армии *чем* был?»

…опоздавшему человеку, громко хлопнувшему дверью, скажут с улыбкой: «вы пришли *вогремя*!»

…на вопрос «кто такой Демосфен?» вам ответят: «это фен общего пользования».

…объявление водителя «трамвай идет в депо» может вызвать у пассажира вопрос: «скажіть, шановний, а *де* у нього *по*?»

…«облучить» означает – заправить луком.

…журналиста оппозиции заклеймят несмываемой печатью «политический *оборзеватель*».

…вам скажут: «тарелку не разбей! нам такого счастья не надо».

…кашель такой душевный, слов нет!

…можно нарваться на диалог:

– молодой человек, не кажется ли вам, что…

– извините, я не верующий!

…спишь и чувствуешь, что за ужином ты пил настоящий цейлонский чай.

…интернационалист – националист-международник.

…вас поддержат: «вы все правильно говорите, поэтому помолчите!»

…«опупел» – значит родился.

…в серьезных делах применяют *наушный* подход.

…если вам скучно – включите свет.

…на просьбу любовницы «можно я в тебе покопаюсь?» любовник ответит: «можно, но потом зарой все обратно».

…драматург – пьесатель.

…жена подбодрит мужа: «отстань, *колючище*!»

…на вопрос продавца «у вас есть мелочь?» покупатель ответит: «я не мелочный».

…вам скажут: «эта песня меня ушибла!»

…на возглас «они же могли вас покалечить!» вы услышите спокойное: «пускай рискнут здоровьем».

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

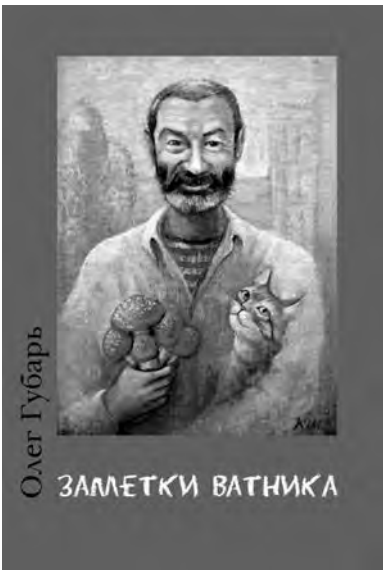
Издано...

370 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Олег Губарь
Заметки ватника
Одесса, Плутон, 2017

Все, кто знает Олега Иосифовича Губаря как выдающегося знатока Одессы, автора книг о театре, Пушкине, Воронцове и Воронцовой и т. д., ничего не знают об Олеге Иосифовиче Губаре. Притворяясь короедом (или краеведом) много лет, Олег так и не смог задушить в себе писателя-романтика. Кто-то вспомнит его книгу «Человек с улицы Тираспольской», кто-то «Second-Hand», но не будем раскрывать все тайны нашего друга, члена редколлегии альманаха. И вот новая книга – вроде бы шутка, для подарков друзьям в свой день рождения. Это по форме. А по сути – сборник микроновелл. Житейских, ностальгических, дурашливых, эпатажных. Но всегда с чувством юмора и собственного достоинства.

Позволю себе привести всего одну новеллу Олега Губаря. И потому, что очень короткая, и потому, что люблю ее.

«Пиджак.

У меня есть пиджак. В нем я обычно женюсь. Женился четыре раза. И все время удачно. Главное – начать жениться, а там – втягиваешься».

Будем считать, что это ответ Олега Губаря тем, по чьей вине население Украины сократилось в 2017 году на 150 000 человек. Как разница между смертностью и рождаемостью.

Ирина Беньковская
Четвертая стража
Одесса, Плутон, 2017

Замечательный поэт и переводчик Ирина Беньковская редко радует читателя новыми стихами. Поэтому событием должен стать выход этого ее поэтического сборника.

История и современность, прошлое и будущее – тема ее размышлений. Но стихи – это стихи, а не трактаты. Здесь все подчинено мощному потоку лирического чувства. Я бы сказал, что это философская лирика во всех ее проявлениях. В одном из стихотворений Ирина Беньковская пишет: «не отдышавшись толком, в пропасти между волком и беспородным псом, все растолкать по полкам, не хлопоча лицом».

Это высокое искусство – писать стихи, «не хлопоча лицом». И автор с такой задачей справляется.

Майя Димерли
Смерти нет! (Но есть Бармалей)
Детские рассказы для взрослых
Издание студии «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов
Меценат проекта Евгений Деменок
Художник Викторя Грозивчак
Одесса, 2018

Взрослый человек вспоминает свое детство. И вот тут выяснилось, что у поэта Майи Димерли, когда она взялась за прозу, открылось двойное зрение. Она видит и то, что было так, как оно было в ее жизни от 3 до 7 лет. Но она и иронична сама к себе, главной героине, и к окружающим.

Мир становится объемным, веселым и страшным, бесконечным и тесным, но всегда обещающим. Оказывается, именно в те семидесятые годы XX века ребенок познал главное – что такое хорошо и что такое плохо, что делать стыдно, а что – никогда, никогда, никогда.

Мне бы очень хотелось, чтобы эту книгу, прекрасно иллюстрированную Викой Грозивчак, прочло как можно больше людей, думающих, что они уже взрослые.

Спешите! Ибо в ближайшее время выйдет (когда издадут очередной альманах, ее уже отпечатают) новую книгу Майи Димерли, где она – переводчик с японского. Она не зря учила японский язык, не зря ездила в Японию. Майя Димерли перевела на русский язык классика современной литературы Японии Нацумэ Сосэки «Десять ночей грез», а ее перевод поддержала Ганна Костенко, переведя эти десять ночей на украинский язык. В Харькове в издательстве «Фолио» выходит в год культурных связей Украины и Японии эта волшебная книга.

А пока читайте «Бармалея». Это не Корней Чуковский, это не Африка. Это про нас. И поверьте Майе Димерли – «Смерти нет!».

Книгоноша «Менделе»
Проза Менделе Мойхер-Сфорима
Воспоминания и статьи о нем
Составители Анна Мисюк
и Алена Яворская
Одесса, Экология, 2017

В 2017 году широко отмечалось 100-летие со дня смерти классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима. В Одессе по инициативе академика Михаила Пойзнера на Втором интернациональном кладбище было установлено надгробие писателю взамен того, что украли румыны в 1941 году.

Проведена конференция, вышли журналы и книги. Эта одна из них. Здесь не только тексты «дедушки еврейской литературы», но и воспоминания о нем. По сути, воспоминания Шолом-Алейхема и сами являются художественной литературой, но приведены документы, газетные сообщения, свидетельства современников. С интересом прочитал очерк Инны Рикун-Штейн «Смерть Дедушки», который убеждает, как много значил этот человек в жизни дореволюционной Одессы.

Издано в Киеве

Ганна Костенко
Цурки-гілки
Джазові імпровізації та оповідання
Киев, Саммит-Книга, 2017

Продолжаю утверждать, что литературной Одессе есть чем гордиться, здесь появилась новая проза и на украинском, и на русском языке.

Это и Анна Костенко, и Майя Димерли, и Анна Михалевская, и Виктория Коритнянская, и Елена Андрейчикова… Но сейчас речь веду не о всей этой группе молодых писателей, а о новом романе, уже втором в ее биографии, Анны Костенко.

Задача та же, что когда-то поставил перед собой Аркадий Львов, – через один двор, судьбы его людей показать жизнь Одессы. У Львова это стало исторической эпопеей в четырех томах. У Ани маленьким современным романом в сотню страниц. Но с каким чувством любви, нежности, порой сарказма описывает Костенко двор своего отца на Молдаванке!

И оживают не только люди, но и антураж двора. И понимаешь, что в этой жизни столько же радости, сколько и горя.

Я мог бы сказать – лирический роман. Но не это главное. Жизнеутверждающий. И для каждого читателя, и для города. Это роман во славу Одессы, признание ей в дочерних чувствах.

Наиль Муратов
Сиртаки. Психопат
Киев, Бренд-Бук Паблишинг, 2017

В этот сборник вошли четыре произведения: роман «Психопат», уже публиковавшийся в Москве, рассказы и новая повесть «Сиртаки».

Наиль Муратов получил Первую премию на конкурсе, объявленном Всемирным клубом одесситов, «Одесса-2056» за повесть «Сиртаки». Нет, он не предрекал, как изменится техника, транспортные развязки, сколько новых появится уродищ «с божьим благословением» в центре города, он проанализировал отношения девушки еврейки и юноши грека.

Любовь? Нет, не только. Выяснение, можно ли жить дальше, убив других, неповинных людей, отомстив, дав своей правде стать важнее правды других людей.

Не собираюсь пересказывать содержание повести. Но подтверждаю, что премия ей досталась заслуженно. Сейчас эта тема стала злободневной как никогда. И, к сожалению, и через 40 лет она останется злободневной.

Рад, что киевские издательства уже открыли для себя новую одесскую литературу. И надеюсь, что 2018 год лишь подтвердит это.

Издано в Харькове

Георгий Голубенко
Одесский Декамерон
Харьков, Фолио, 2017

Это собрание сочинений Георгия Андреевича Голубенко, куда вошли не только «Рыжий город», не только театральные работы,

но и начатый роман о Борисе Литваке. Кроме того, составитель Татьяна Голубенко включила в этот том воспоминания друзей о своем муже.

Замечательно проиллюстрировал книгу скульптор Михаил Рева, друг Гарика. Он создал книгу, которая сама по себе – высокое произведение книгопечатания и памятник писателю.

Одной фразой – «Одесса – это улыбка Бога» – Георгий Голубенко на десятилетия создал формулу души нашего города для многих и многих, любящих Одессу.

И не будем стесняться, когда говорим – классик. Да, наряду с Михаилом Жванецким, вслед за ним, Георгий Голубенко учит город улыбаться, учит город стойкости и мужеству, учит одесситов оставаться самими собой, какие бы ветры не дули в паруса истории.

Издано в Иерусалиме

Петр Межурицкий
Послание сверчку
Иерусалим, Bridze, 2017

Пятая книга стихов вышла у одного из студийцев Юрия Михайлика (давно это было) – Петра Межурицкого.

В ней серьезное авторское предисловие, где объясняется диапазон его взаимоотношений с классической поэзией – от Бродского до Пушкина. Но мне, признаюсь, интереснее были

сами стихи. Они ироничные. Они мудрые. Они не злые. Нет, это не трагедия. Нет, это не комедия. Это трагикомедия. И я узнаю в Петре Межурицком одесского поэта, хоть давно живет он в Иерусалиме.

Открывает книгу стихотворение «Девичник».

Афродита и Афина
Пили водку из графина,
Будто обе не богини,
Но обычные графини.
Будто мыслимое мнимо,
И все выдержит скрижаль.
Будто жизнь проходит мимо,
Будто молодости жаль.

Пожелаем Петру новых книг и новых встреч с античными героями.

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
Дар 6

Юрий Михайлик
Только новое 9

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 14

Олег Сивирин
Кисёлова гора и Лузановка 46

Евгений Деменок
Одесские годы Михаила Васнецова 73

Александр Дорошенко
Фонтанский трамвай 91

Рубен Ашрафиан
Батюшка 112

Одесский календарь

Олег Губарь
Первичное формирование Еврейской улицы 116

Проза

Анна Бердичевская
Сарабанда 124

Ганна Костенко
Дід Лукич 140

Ирина Озерная
Метаморфозия 143

Виктория Коритнянская
Апперкот 146

Анна Михалевская
Закрытый маршрут 149

Татьяна Мартынова
Увидимся в Одессе 153

Валентина Силантьева
Вадим Смеляков и Валерия 156

Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук
Отмычка Соломона 165

192 слова

Ася Зиневич
О, женщины! 178

Ирина Фингерова
Про Анечку 179

Янина Желток
Через щелочку гляжу на Варанаси 180

Анна Михалевская
Обманщик 181

Елена Боришполец
Снег 182

Поэзия

Анна Маліцька
Моя надія 184

Эвелина Шац
Da lingua a lingua. От языка к языку 189

Анна-Виктория Ануфриева
Крапка та кома 195

Маргарита Геворгян
Краток вечер. Долог век 199

Ольга Юшковская
И снова пишутся стихи 204

Галина Верд
Горненский 207

Елена Палашек
В государстве рифм 213

Первые шаги

Одесское «Море талантов» 218

Искусство – жизнь – искусство

Анатолий Горбатюк
Трубач с Садовой 228

Евгений Голубовский
Звездные часы Евгения Лукашова 249

Семен Яуза
Дворец труда у бывшей Хитровки 253

Феликс Кохрихт
МСИО. Я поведу себя в музей?.. 264

Леонид Авербух
Одесские музы поэтов 275

Григорий Палатников
Кремона 291

Публикации

Алена Яворская
«Какой-то поэт однажды сказал…» 302

Евгений Голубовский. Евгений Деменок
Михаил Кольцов 314
Михаил Кольцов
Красный Китеж
Троцкий 316

Аркадий Штейнберг – знакомый и незнакомый 322
Публикация Вадима Перельмутера

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«Готов я петь куплеты…» 342

Путешествие

Феликс Кохрихт
Метеоры: между небом и землей. 356

Ах, Одесса

Леонид Авербух
На свете есть женщины. 364

Игорь Геращенко
Только в Одессе… 366

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал. 370

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 72

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 72

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 31.01.2018
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncil®A.C.
FCS-AOC-015

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»
65023 Украина Одесса, Нежинская, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ПОДПИСНОЙ КУПОН-ЗАЯВКА

Настоящим подтверждаю свое намерение оформить подписку:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Адрес доставки:	
Телефон:	
E-mail:	

Стоимость подписки*	12 месяцев	4 выпуска	200,00 грн.

** В стоимость подписки не включаются затраты на доставку изданий.*

Оплата:

❑ безналичный расчет ❑ наличными

❑ кредитная карта ❑ необходим договор

Оплату согласно выставленного счета гарантирую

Дата _____ Подпись _____

Отправьте подписной купон-заявку почтой или факсом по адресу:
Украина, 65001, г. Одесса, а/я 229,
Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

PLASKE
ПЛАСКЕ

Факс: +380 (48) 7-385-375; 7-287-221;
тел. редакции: +380 (48) 7-385-385, 7-288-288;
0-800-300-30-80 (бесплатно со стационарных телефонов)